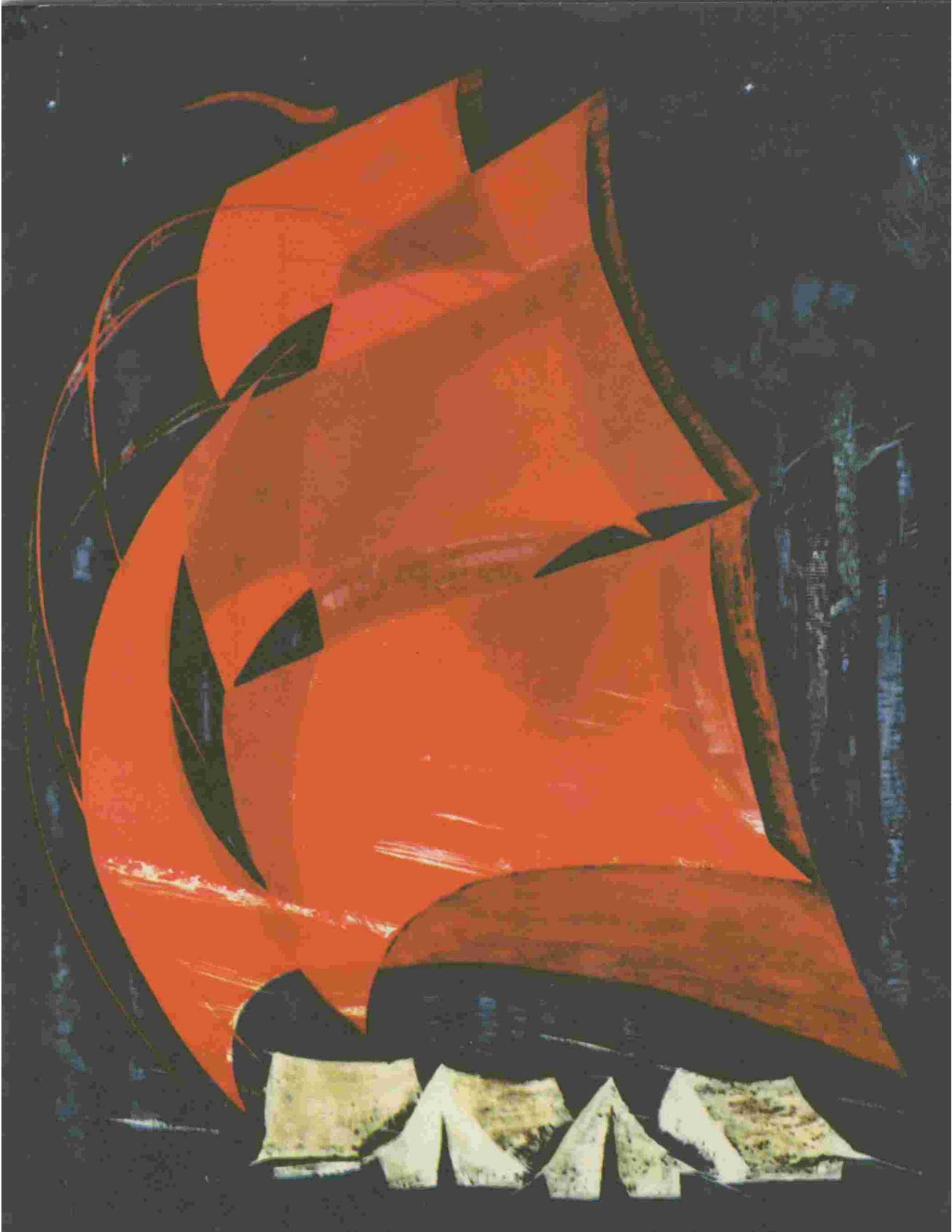




ЮНОСТЬ

10

1966



**ПУСТЬ И ШТОРМЫ, И ПЛАМЯ, ПУСТЬ ДОРОГИ КРУТЫ.
РЕЙ, КАК ЗНАМЯ, НАД НАМИ, АЛЫЙ ПАРУС МЕЧТЫ!**



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЮНОСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

ОКТЯБРЬ

1966

10

(137)

ГОД ИЗДАНИЯ
ДВЕНАДЦАТЫЙ

В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ

● ПРОЗА

- Анатолий КУЗНЕЦОВ. Бабий Яр. Роман-документ (окончание) 23
- Аркадий АДАМОВ. Стая. Повесть (продолжение) 66

● ПОЭЗИЯ

- Станислав КУНЯЕВ. Ожидание. Золотые квадраты. «Как жарко трепещут дрова...». «В магазине живые цветы...» 4
- Леонид ЗАВАЛЬНЮК. «Приносит новый день свои слова...». Две встречи. «Ранимость — благо для поэта...». Весенняя прогулка с записной книжкой. Разговор с молодым человеком о доброте 5
- Сергей ДАВЫДОВ. Пискаревское кладбище. Набережная Грина в Кирове. Зачем волшебнику штаны?.. 7
- Леонид ПОПОВ. Зимний путь. Такая белая зима. Прощание. Талантом и удачей отмечен. Сомнения. Якутский стих 8
- Евгений ВИНУКОВ. «Когда нацизма вырвалась машина...». Природа. Дон-Кихот. «Страшные нужны усилья...». «Когда вода была уже по пояс...» 22
- Инна ЛИСНЯНСКАЯ. Подростки. «...И возникают города...». «Тому, кто в небе не витал...». Химки. «Покаянной иду, покаянно...» 52

● ПУБЛИЦИСТИКА

- «Вступаюсь за униженных...». К 350-летию со дня смерти Мигеля Сервантеса 3
- А. И. МИКОЯН. Из воспоминаний о Серго Орджоникидзе (к 80-летию со дня рождения) 9

- Д. ДАНИН. Начало было так далеко... 53
- Н. ЖУКОВ. Праздник искусства книги 93

● ТЕАТР

- В. ФРОЛОВ. Открытия и надежды 86

● К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

- Виктор НЕКРАСОВ. Глаз, рука, сердце 64

● СРЕДИ КНИГ

- Маленькие рецензии и аннотации 91

● НАУКА И ТЕХНИКА

- Роман ПОДОЛЬНЫЙ. Человек: вчера, сегодня, завтра 95

● ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

- * Ал. МИЛЬЧАКОВ. Тридцать восемь лет назад * Где? Что? * Игорь ГУДКОВ. «Ничто не забыто...» 101

● СПОРТ

- * Альберт ШЕСТЕРНЕВ. Счастье — союзник сильных. * Лев ФИЛАТОВ. Чемпионы среди нас. * В. КАДЖАЯ. Кто же финишировал первым? 104

● ПЫЛЕСОС

- * Евг. МИН. Слон и Моська. * Вл. ПАНКОВ. Жираф, который мог петь по радио. * Вл. ГАБЕЛКО. Где Худяков? * Г. ЖАМИТДИН. Штрихи. 109

На 1—4-й страницах обложки рисунок Е. СОКОЛОВОЙ и А. МАКСИМОВА.
На 2-й странице обложки плакат Н. ЧАРУХИНА.

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

К нам обращаются с просьбами — разъяснить условия подписки на журнал «Юность» на 1967 год.

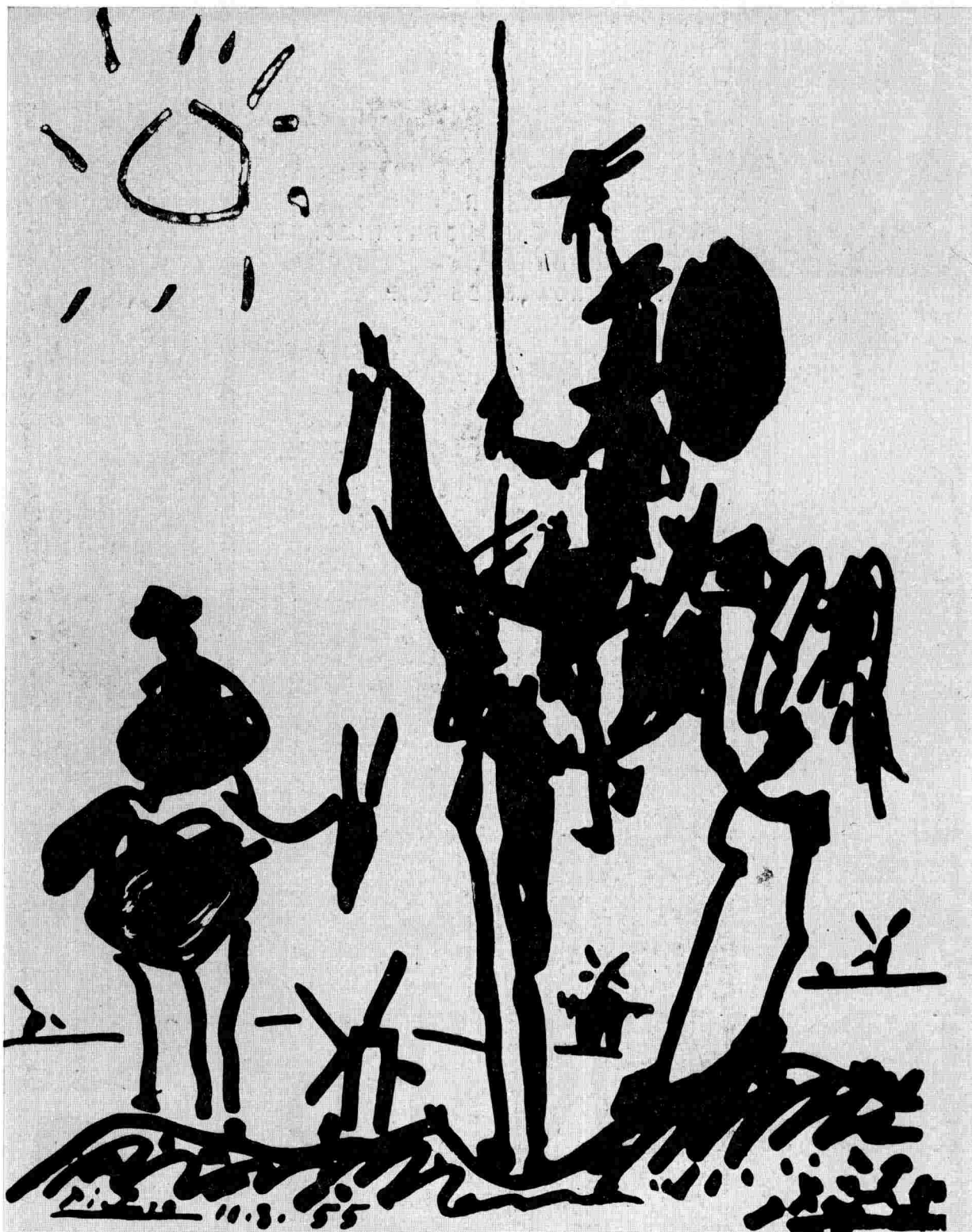
Нам сообщили в дирекции «Союзпечати», что подписка на журнал «Юность», как и в прошлом году, производится во всех почтовых отделениях, в местных отделениях «Союзпечати», а также у общественных распространителей печати без всяких ограничений.

О всех фактах нарушения этого установленного порядка подписки просим немедленно сообщать нам.

Редакция журнала «Юность».

И. о. художественного редактора Г. Решетин. Технический редактор Л. Зябкина.
Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.
А 17502. Подп. и печ. 29/IX — 1966 г. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Объем 7,25 физ. печ. л. — 12,18 усл. п. л.
Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 1801. Заказ № 2323.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина,
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



Дон Кихот и Санчо Панса.

Рисунок Пабло Пикассо.

«ВСТУПАЮСЬ ЗА УНИЖЕННЫХ...»

К 350-летию со дня смерти
Мигеля Сервантеса

«Полно, сеньоры,— молвил Дон Кихот,— новым птицам на старые гнезда не садиться! Я был сумасшедшим, а теперь я здоров, я был Дон Кихотом Ламанчским, а ныне, повторяю, я — Алонсо Кихано Добрый». И через три дня после этих слов Дон Кихот, утомленный необычайными своими подвигами, «испустил дух, попросту говоря—умер». Но меж тем как плакали Санчо, племянница и ключница Дон Кихота, дух доблестнейшего из рыцарей уже отправился в вечное странствие, и с тех пор, знаем мы, повсюду, где люди, с ними и в них — Дон Кихот, и везде, где Дон Кихот, над смертной тенью смеются и плачут люди. «...И если бы кончилась земля, и спросили там, где-нибудь, людей: «Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?» — то человек мог бы молча подать Дон Кихота: «Вот мое заключение о жизни и — можете ли вы за него осудить меня?» (Достоевский).

Удивительно ли, что «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», этот, по слову Горького, якобы «дурак» фольклора, преображенный гением, призван к жизни в стенах отвратнейшей тюрьмы в Севилье, в 1603 году, когда Мигель де Сервантес Сааведра, пятидесятишестилетний испанец из обнищавших дворян, писатель, бывший солдат, а ныне сборщик налогов, сам бедняк и скиталец, был под арестом за какую-то там мифическую недостачу... И в этих стенах, посреди отчаяния и беды, собрался в бесконечный свой путь Дон Кихот, впервые заржал знаменитый Росинант, и ему преданно отозвался осел Санчо Пансы.

То была эпоха, когда черные, фанатические огни католицизма и деспотического феодально-абсолютистского строя в Испании, близкого к «азиатским формам правления» (Маркс), из всех сил стремились держать разум в состоянии «святого страха». Менее чем за столетие до «Дон Кихота» на всю Европу раздался смех Эразма Роттердамского, прозвучала его дерзкая «Похвала глупости». Гаргантюа и Пантагрюэль, гоня прочь химеры средневековья, утверждали раблезианскую полноту бытия. Но уже король Лир и Гамлет на пороге новых, буржуазных порядков скорбят о крушении высоких человеческих идеалов: «Распалась связь времен». Является Рыцарь Печального Образа.

Его рождение было предуготовано 29 сентября 1547 года рождением маленького Мигеля; и Дон Кихот и его будущий творец были на волоске от гибели, когда 24-летний Сервантес получил в морском сражении две огнестрельных раны в грудь и одну — в предплечье, в результате чего левая рука писателя на всю жизнь осталась неподвижной, «к великой славе правой»; чудо сохранило Сервантесу дыхание в пятилетнем плену у алжирских пиратов; величие «Хитроумного идальго», воплотившего сокровенную душу народа, затмило славу многих других творений Сервантеса; неотвратимая смерть, пришедшая к Сервантесу 23 апреля 1616 года, ничего не смогла поделаться с Дон Кихотом. И по-прежнему, вот уже столько веков, он восклицает: «В таком случае... мне надлежит исполнить свой долг: искоренить насилие и оказать помощь и покровительство несчастным». Его безумие мудро, его мудрость утопична, и один лишь Санчо Панса, кажется, он один, трезвый и ироничный, готов делить с Дон Кихотом все превратности странствующего рыцаря, который так смешон в своем благородстве.



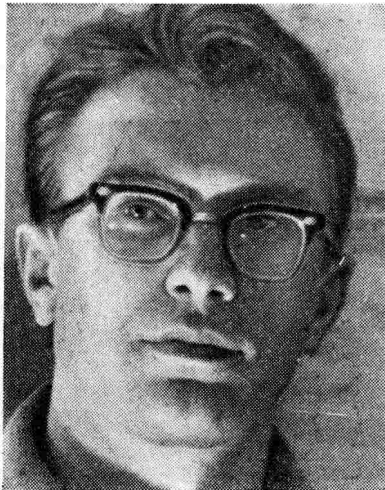
ве. «Если даже такое простое слово, как «совесть», оказывается слишком тяжеловесным для современных диалогов, то какое же значение могут иметь слова более мудреные, как, например: любовь, самоотверженность и проч.? Очевидно, что единственная оценка, на которую можно рассчитывать, это — хохот» (Щедрин). Так понимали трагикомедию Дон Кихота передовые умы человечества.

Драматург, поэт, прозаик, автор «Галатеи», «Назидательных новелл», «Путешествия на Парнас» и, конечно, «Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского», Сервантес вошел в вечность как один из гениев человеческой культуры.

В 1937 году на родине Сервантеса, в осажденном фашистами Мадриде, была поставлена героическая трагедия великого испанца — «Нумансия». Ее монологи вторили всечеловеческой битве, которая продолжается и сегодня. Дульсинея Тобосская — будь она Прекрасная Дама или деревенская женщина — это, если понимать образ символически, ныне сама Жизнь рода человеческого, которая зависит от исхода мирового поединка света и тьмы, реакции и прогресса. Вот наша возлюбленная, и мы ее рыцари. 350-летие со дня смерти Сервантеса мы отмечаем в борьбе за его наследие, за нетленные ценности гуманизма, против современных варваров.

О, ты не прав, Санчо Панса! Разве это ветряные мельницы? Это поистине чудовища. Вглядишься! Они дожили до XX века и усовершенствовались. Они по-прежнему наносят толпы циников, смеющихся над Дон Кихотом. «Стойте, трусливые и подлые твари! Ведь на вас нападает только один рыцарь». И через несколько веков мы, строители нового общества, говорим: разве только один?

Вперед, славный Росинант! Побеждает Человек!



Станислав
Куныев

Ожидание

Одну и другую неделю
не видно воздушных путей,
и ты предаешься безделью
среди работающих людей.
В часы предрассветных прогулок
идешь поглядеть на прилив,
покуришь и бросишь окурочек
в холодный Курильский залив.
Ну что ж, ты дошел до предела,
а значит, приблизился срок —
душа для работы созрела,
пора раздуть огонь, огонек,
разжечь из печальных раздумий,
из сырости, из ничего
высокое пламя иллюзий —
и выживешь возле него.
Слепить из морского тумана
частицу земного тепла...
А после, как это ни странно,
смеяться и делать дела.

Золотые квадраты

Невозможно и неумоготу
оставаться в больничной постели,
потому что березы в саду
так отчаянно ночью шумели,
говорили, что жизнь хороша,
что ее чудеса несказанны...
Но больница жила не спеша
по законам армейской казармы.
Умывалась, питалась, спала,
экономя ослабшие силы,
и в бреду бормотала слова,
что так дороги нам до могилы.
В темноте вдруг припомнилось мне,
как в далекое время когда-то
от проезжих машин по стене
плыли в ночь золотые квадраты.
Заплывали, как рыбы, в окно,
уплывали в пространства ночные...
Что-то я вас не видел давно,
что вы скрылись, мои золотые!
Гул машин и березовый шум

то сплетались, то вновь расплетались,
западали в рассеянный ум
и о землю дождем разбивались.
Я прислушался к дальней грозе,
ощутил освежительный холод.
За углом рокотало шоссе,
чтобы утром насытился город.
Самосвалы построились в ряд,
надрываясь, режут на подьеме,
а березы — березы шумят
в невеселом оконном проеме.
Так шумят, погружившись во мрак,
с горькой нежностью и трепетаньем,
словно скрасить хотят кое-как
наше равенство перед страданьем.



Как жарко трепещут дрова,
как воет метель за стеною,
и кругом идет голова,
и этому — песня виною...
Пустые заботы забудь,
оставь, ради бога, посуду
и выдохни в полную грудь
слова, равноценные чуду...
А я так стараюсь, тянусь,
сбиваюсь и снова фальшивлю,
но что б ни случилось — клянусь
поэзией, честью и жизнью,
что я не забуду вовек,
как выюга в трубе завывала,
как рушился на землю снег,
как ты не спеша запедала...
Земля забывала о нас,
прислушавшись к снежному вою,
и русский старинный романс
кружил над твоей головою.
А утром проснешься — бело.
Гуляет мороз по квартире...
О, сколько вокруг намело!
Как чисто, как холодно в мире...



В магазине живые цветы.
Их названия так элегантны.
Повторите за мной: о-ле-ан-дры.
Сколько в этих словах красоты!
Порожденье воды и земли.
Уголок настоящего леса.
Уголок настоящего лета
посреди настоящей зимы.
Снег стряхну. Забегу. Пошучу.
Дескать, нужно растительность
в спальню.

Заверните, пожалуйста, пальму.
Сколько стоит! Сейчас заплачу.
Извините мне шутку мою.
У меня ни столовой, ни спальни.
Мне не нужно, пожалуйста, пальмы.
Разрешите, я так постою.
На цветах указания цен.
Продается прекрасный оазис.
Обратите внимание — кактус
в окружение мимоз и драцен.
Приглядитесь — похож на ежа.
Полюбуйтесь!
А рядом с уродом —
продавщица.
Мила и свежа!
Ей на пользу дышать кислородом.



**Леонид
Завальнюк**



Приносит новый день свои слова.
Так было, есть и будет неизменно.
Бездумная приподнятость мертва.
Гражданственно лишь то,

что современно.
И сколько звонких фраз ни напиши,
От звонкости ума не прибывает.

В эпоху становления души
Гражданственно лишь то, что
задевает,

что будит силы сердца и ума,
Готовя нас к невиданному взлету.
Гражданственно любить свою работу
И знать, что ограниченность —

тюрьма.
Гражданственно, живя своим трудом,
Знать цену суеты и суесловья.

Гражданственно, любя свой отчий
дом,
Желать соседям счастья и здоровья.

Гражданственно стремленье
к доброте,
К замене злых иллюзий чувством

меры.
Гражданственно разоблачать химеры,
Храня любовь и верность высоте.

Гражданственно ценить и понимать
Все то, чем мир наш прочен
и прекрасен.

Гражданственно плечами пожимать,
Когда твой путь тебе еще неясен.

Гражданственно внимать, когда юнец
Дает тебе разумные советы.

Гражданственна несуетность
сердец,

Ответственных за каждый шаг
планеты.

Гражданственно спускаться, как
в забой,

В живые недра боли и страдания.

Гражданственно смеяться над собой,
Коль мнишь себя ты центром
мироздания.

Гражданственно волнением пустым
Пренебрегать, волну не поднимая.
Гражданственно быть мудрым

и простым,
Как данность, век свой скорый
принимая.

Да, скорый век. И чтоб за ним
поспеть

И в гонке той стальной
не оступиться,

Гражданственно влюбляться, плакать,
петь —

Спешить вперед,
Но жить не торопиться!

Приносит каждый день свои слова,
В словарь страны входящие активно.
Бездушная риторика мертва.

Гражданственно лишь то, что
конструктивно.

Идет разведка боем и трудом.

И для поэта, если подытожить,
Быть гражданином — значит петь

о том,

Что без него
Быть понято не может.

Две встречи

В дремотной тишине, на самом
на краю

Земли моей, войною опаленной,
Увидел я ее в последний раз —
В опорках и в косынке запыленной.

Она ни есть, ни пить уж не могла.
Она сошла с дороги и легла
Нескладно, как роженицы ложатся...

Я был тогда мальчишка, малышня,
Но больно сжалось сердце у меня
И долго-долго не могло разжаться.

Подросток лет двенадцати,
не больше,

Не то от Умани, не то от самой
Польши,

Она бежала через всю Россию,
От голода и страха становясь

Все призрачней, и тише,
И красивей...

В селе Капустин Яр на берегу реки
Сидит смешная рыжая девчонка —

Лицо в веснушках, на нос лезет
челка,

В ручонках спиннинг, на ногах
чулки,

Должно быть, материны, тонкие,
без шва.

Как снежная пыльца, струится синева,
И взгляд ее струится синий-синий,

Безгрешный и пронзительный, как
иней...

Она права. Она во всем права —
Ей надо щуку толстую поймать,

Схватить за жабры цепкою рукой —
На пальцах цыпки, под ногтями

черное —
И, ощутив таинственный покой,

Вдруг крикнуть радостно над сонною
рекой,
Как древние охотники кричали,
Когда в ловушку зверя залучали...
Она красива.
Да, она красива
В тот краткий миг успеха своего,
Как этот берег,
Как сама Россия,
Забывшая и все и ничего!



А. В.

Ранимость — благо для поэта.
Душа разверстая его —
Волшебный луч, источник света.
Ему для дела нужно это.
Ну, а тебе-то для чего!
Сам захопотан,
И друзей
В тоску вгоняешь и в уныние.
Как жить! А как живут иные!
Вот твой приятель. То ли дело!
Он веселится околтело,
А огорчается слегка.
Упал — беда не велика.
Ничто мозги ему не гложет.
Он плакать, в сущности, не может.
Он только плачется в жилет
Да иногда противно стонет
И говорит, что жить не стоит,
Но проживет немало лет.
А ты умрешь.
Весь свой заряд
Отдав немислимым исканьям,
Блеснешь коротким замыканием,
И пробки вдруг перегорят.
Придет электрик или нет,
Уже не загорится свет.
Забутый всеми,
Долгий век
Лежать ты будешь на погосте.
И всем довольный человек
Придет к тебе однажды в гости.
Он вспомнит о твоей судьбе,
Окинет пройденное поле...
И вдруг заплачет мимо воли
Не то от непривычки к боли,
Не то от зависти к тебе.

Весенняя прогулка с записной книжкой

О, как свободен я и как высок!
Прекрасный воздух в ноздри
набивается,
И вдохновенно кровь стучит в висок,
Подобно азбуке, что Морзе
называется.
И день звенит, и продается сок,
И множество нагурций открывается,
И каждый пестик, словно маленький
носок,
На ножку солнца самонадевается!
(Проанализировать. Извлечь урок.)

Вот птички две на ветке на одной,
Сверх меры опьяненные весной,
Друг друга то и дело прерывая,
Но все ж глубины сердца открывая,
Беседуют над всплывками трамвая.

Как это можно, рта не закрывая,
Так долго, так приятно говорить!

(Проанализировать и дома повторить.)

Вот Бобика ведут на поводу.
А он доволен, горд и независим.
Пока хозяин занят опусканием писем,
Он нюхает цветы.

(Иметь в виду.)

Вот девушка, как бабочка, летит.
Вот бабочка, как бабушка, сидит
И что-то вяжет усиками черными.
Вот женщина идет с двумя учеными,
Друг дружку настолько увлеченными,
Что женщины как будто вовсе нет.
Вот хамы!

(Сформулировать причину
И всем своим знакомым дать совет:
Не брать весной в попутчики мужчину,
Коль он, чудак, нисколько не поэт!)

О жажда знаний!
Сок прохладный пью,
Пускаю дыма сладкую струю...
Ликует май — синют неба своды,
Везет машина дождик навесной...
Как хорошо учиться у природы,
Особенно же летом и весной!..

(Запомнить все и обсудить с женой
В связи с вопросом счастья и свободы!)

Разговор с молодым человеком о доброте

Люблю я эту «милую» привычку
Переключать внимание с предмета
на себя,
Когда уж все равно, с чего затеял
стычку,
Что применяешь: ключ или
отмычку —
Лишь бы с вниманьем слушали тебя,
Как ты витийствуешь, по темен
долбя.
Любовь к предмету — ценное
явление.
Она, как правило, богатства
проявление.
Тогда лишь о предмете судишь ты
с умом,
Когда предмет как бы в тебе самом,
Когда переключать внимание
не надо:
Ему хвала — твоей душе отрада,
Ему хула — и ты страдаешь сам.
Любовь к предмету — высочайший
сан,
И чем тебе заслуженней он дан,
Тем реже ты кого-нибудь ругаешь!
Коль хочешь жить на свете честно,
благородно,
Так где-нибудь себе и запиши,
Что доброта — свидетельство чего
угодно,
Но злоба — признак бедности души.



**Сергей
Давыдов**

Пискаревское кладбище

Продувная пора — в зените,
дачный лес почернел и гол.
Стынет памятник.
На граните —
горевые слова Берггольца.
По аллеям листва бегом...
Память в камне,
печаль в металле,
машет вечным крылом огонь...

Ленинградец душой и родом,
болен я Сорок первым годом,
Пискаревка во мне живет.
Здесь лежит половина города
и не знает, что дождь идет.

Память к ним пролегла сквозная,
словно просека через жизнь.
Больше всех на свете,
я знаю,
город мой ненавидел фашизм.
Наши матери, наши дети
превратились в эти холмы.
Больше всех,
больше всех на свете
мы фашизм ненавидим,
мы!

Ленинградец душой и родом,
болен я Сорок первым годом.
Пискаревка во мне живет.
Здесь лежит половина города
и не знает, что дождь идет...

Набережная Грина в Кирове

Александр Степанович Грин,
я сегодня к Вам.
Пилигрим.
Замираю на Вашей набережной,

замеряю прищуром берег.
Я, романтик весьма ненабожный,
Вам навеки остался верен.
Это Вятка, а ветер невиский
пароходы легко покачивает.
Где Вы бегали здесь, Гриневский,
где фамилию укорачивали!..
Жизнь была ненадежным делом,
в сказку Вы от нее ушли,
а над нами она свистела
пулевою судьбой земли.
Лагеря, душегубки, танки,
ленинградских детей глаза...
Вы простите, мы на портянки
рвали алые паруса.
Мы не сказкою душу грели —
лишь тоской о земле босой.
Не могла нам помочь в то время
Ваша солнечная Ассоль...
Сдернув шапку, седой, вихрастый,
Ваше имя шепчу сейчас...
Как ты выжило в нас,
прекрасное!
Как сумело остаться в нас!..

Зачем волшебнику штаны!

Встают былого тени,
лишь память шевельни.
Мне вспомнился волшебник
из маленькой Шарьи.
На рынок каждым утром
он гордо приходил.
На нем из плюша куртка,
на нем штаны из дыр.
Зато важнее града
ступал он на базар
и на прилавок карты
таинственно бросал.
Гадал голодной тетке,
что карточки вернут
и с ног ее отеки
немедленно сойдут.
Он был такой кудесник,
он в самый черный день
пел на базаре песни
и веселил людей.
Не брал за песни денег
и никаких даров.
Он был большой волшебник,
но не имел штанов.
Гадал толпе угрюмой,
не верящей всерьез
тому, что Гитлер умер,
подох давно, как пес...
Однажды бабы хлопцу
среди полной тишины
последние червонцы
вручили на штаны.
Он деньги взял с поклоном
и хлеба накупил,
и в тупичке вагонном
мальчишек накормил.
Глядел, как липким хлебом
давились пацаны.
Вздохнул:
— Ведь я волшебник!
Зачем же мне штаны!..



Леонид
Попов

Зимний путь

Закружился темный снег.
Месяц — в облачных потехах.
Лает свора псов в потемках.
Конь мой убыстряет бег.
Злятся псы, грызут со зла
ускользающие сани.
На мерцающей поляне
раскололась полумгла.
Там березы смотрят в ночь
белыми, как лед, глазами,
крепко обнялись ветвями,
чтобы стужу превозмочь.
Млечный Путь, как санный путь,
вызвездился в высях грозных.
На путях земных и звездных
встречу ли
кого-нибудь!
Там — восток, а запад — там,
я — их встреча, средоточье.
Еду, еду зимней ночью,
и собаки — по пятам.
Вейся, снежная пыльца!
Мчись, мой конь, забыв усталость!
Мы преодолели малость,
а дороге нет конца.

Такая белая зима

Такая белая зима,
такая долгая разлука.
До крыш занесены дома.
Пойди найди в снегах друг друга.
Но легче зиму повернуть
назад по временному кругу,
чем нам друг другу протянуть
просящую прощенья руку.



Прощание

Прощай, любовь!
Дорога — в два конца,
поездка без обратного билета.
И не вернуть потерянного лета,
как друг на друга не поднять лица.
Я снова выбрал свой негладкий путь.
Я громко жил —
бесшумно собираюсь:
как можно незаметней постараюсь
уйти. А ты — прощай, счастливой
будь!

Но все-таки, как следует живым,
над мертвою любовью встанем оба.
Последний долг ей отдадим —
у гроба,
как родственники, молча постоим.
Последний поцелуй.
Холодный поб.
И в этом доме холодно и сиро.
Нарушь обычай — приberi квартиру
и даже память вымети в сугроб.

Талантом и удачею отмечен

Талантом и удачею отмечен,
готовься и к иному, милый друг:
не мудрено, что кто-нибудь вокруг
сочтет, что ты и подл и бессердечен.
Той бездари, унылой и смятенной,
с чего, как не от пустоты в груди,
кричать, что встал ты на ее пути
или похитил дар ее бесценный!

Сомнения

Сомнения! Товарищи мои!
За то, что вы меня не покидали
ни в радости, ни в счастье, ни в
печали,
спасибо вам, товарищи мои.
Что стоит жизнь,
любовь или успех,
доставшиеся просто, без мучений!!
Не отступайтесь, демоны сомнений!
Без вас и боль не боль,
и смех не смех,
и стих не стих —
ни мук, ни откровений.

Якутский стих

Всю жизнь я жил стихом,
и ничего
мне не было его дороже с детства.
Когда умру, то сыновьям в
наследство
я не рубли оставляю, а его.
Пусть разберутся сами сыновья
в моем богатстве, золотом иль
медном.
Я жил стихом. Богатым или бедным
я был!
Не знаю! Был счастливым я.

Перевел Анатолий ПРЕЛОВСКИЙ.

Из воспоминаний о Серго Орджоникидзе

(К 80-летию
со дня
рождения)

К юбилейной «Юности»

Жизнь каждого из нас озабочена
особыми вещами, когда мы встречаем
человека, о котором можно сказать:
вот как надо жить! Среди нас тогда
людей был замечательный бакинский
Серго Орджоникидзе. Мы его потеряли
в феврале 1937 года. В октябре этого
года ему исполнилось бы 80 лет.

Мне посчастливилось много лет
работать рядом с Серго. И если эти
странички воспоминаний хоть в какой-
то мере помогут дать представление
о прошедшем облике Орджоникидзе,
то моя цель будет достигнута.

Путь не всегда озабоченный делами
примерно сиюминутными баричи за
бакинские дела Ленина! А. Микоян
октябрь 1966 г.

ВСТРЕЧА В БАКИНСКОМ ПОДПОЛЬЕ

Впервые о Серго Орджоникидзе я услышал в Ба-
ку весной 1917 года от Степана Шаумяна и
Алеши Джапаридзе — руководителей бакинского
пролетариата, впоследствии погибших в числе
26 бакинских комиссаров. Они работали с Серго в
партийных организациях Закавказья еще до револю-

ции, в нелегальных условиях. Товарищи говорили о
нем как о принципиальном и мужественном борце
за идеи Маркса — Ленина, неутомимом организато-
ре масс. Уже тогда, из их рассказов, в моем пред-
ставлении сложился яркий образ Серго, овеянный
революционной романтикой.

Семнадцатилетним юношей в 1903 году, в год Вто-
рого съезда РСДРП, вступил он в партию и отдал ее
делу всю жизнь. Самоотверженную подпольную
работу Серго вел в Баку. Особенно большое значе-

ние в формировании Орджоникидзе как профессионального революционера имели его встречи с В. И. Лениным в 1911 году и лекции Владимира Ильича в школе партийных работников, организованной в местечке Лонжюмо, под Парижем. В своих воспоминаниях Н. К. Крупская говорит об Орджоникидзе: «С тех пор он стал одним из самых близких товарищей».

Серго сыграл выдающуюся роль на общепартийной арене в период подготовки Пражской партийной конференции 1912 года. В качестве уполномоченного по созыву конференции он посещает Петербург, Москву, Киев, Ростов, Екатеринослав, Тбилиси, Баку и другие промышленные центры страны. В этих поездках, в условиях острейшей борьбы с меньшевиками, троцкистами и примиренцами, он проявляет огромное умение, сплачивая местные партийные организации вокруг ленинской идеи общепартийной конференции. Конференция избрала Орджоникидзе в состав ЦК и Русского бюро ЦК. Возвратившись в Россию, он ведет большую работу по реализации решений конференции.

Однако вскоре царская охранка выследила его; он был осужден на каторгу и вечное поселение.

Из пятнадцати лет подпольной деятельности восемь лет провел Орджоникидзе в тюрьмах, на каторге и в ссылке. Тюремь Тбилиси, Сухуми и Баку, Шлиссельбургская крепость, сибирская и якутская ссылки не сломили железную натуру Серго, а явились университетами борьбы, еще более закалили его идейную убежденность. Ни разу он не отступил и не согнулся. Таким он был и в годы революции, и в годы гражданской войны — в Петрограде, на Украине, в Белоруссии, на Северном Кавказе, в Закавказье, — и в годы социалистического строительства.

В мае 1919 года нами, бакинскими коммунистами, работавшими в подполье, было получено сообщение из Тбилиси, от Закавказского краевого комитета партии, что находящийся там Орджоникидзе намерен пробираться в Москву. Путь в Москву тогда был единственный — через Баку и дальше морем на Астрахань, где держалась Советская власть и где руководство — политическое и военное — осуществлял Сергей Миронович Киров.

В Тбилиси Серго оказался после того, как наша 11-я армия в январе 1919 года, ведя ожесточенные бои на Северном Кавказе с превосходящими силами деникинской «добровольческой» армии, вынуждена была отступить. Некоторые красноармейские части ушли в калмыцкие степи и Астрахань. Другие, во главе с Орджоникидзе, героически сражались до последнего патрона в предгорьях Кавказа и отошли в горы. В горных аулах Серго сколачивал партизанские отряды из ингушей и осетин, а в начале мая через Кавказский хребет, труднодоступные Хевсурские горы перебрался в Тбилиси.

В Баку Серго прибыл в начале июня 1919 года. Здесь я его и встретил впервые. Это было тяжелое время для Советской власти. Украина, Северный Кавказ, Дон находились под пятой деникинской контрреволюции. На востоке страны свирепствовал Колчак. На западе хозяйничала белогвардейщина. Англичане высадились в Мурманске и Архангельске, оккупировали Закавказье: Азербайджан, Грузию, Армению. В Баку были введены оккупационные войска; в центре города расположилась бригада английской морской пехоты. У власти в Азербайджане стояло буржуазно-помещичье мусаватское правительство, выполнявшее волю и указания английского командования. Наша партийная организация находилась на нелегальном положении. Она имела глубо-

кие корни в рабочем классе, оказывала сильное влияние на массы и вела активную подпольную, а также легальную работу в постоянно действовавшей Рабочей конференции, в профсоюзах, рабочих клубах, в рабочих кооперативах.

В Баку Серго приехал с женой, неразлучной своей подругой на фронтах гражданской войны и в дальнейшей жизни, Зинаидой Гавриловной. Поженились они еще в якутской ссылке, как и он сам, так и близкие друзья называли ее Зиной.

С ними также приехала, направляясь в Москву, жена погибшего бакинского комиссара Алеши Джапаридзе — большевичка Варвара Михайловна. Более полугода она с группой бакинских товарищей томилась в закаспийских тюрьмах. Она ехала в Москву, где находились две ее дочери — Елена и Люся, эвакуированные из Баку вместе с женой и младшими детьми Степана Шаумяна незадолго до падения Советской власти в 1918 году.

Приехал с ними и легендарный Камо, который собирался в Москву, к Ленину. У него была масса планов боевых действий, которые он хотел доложить Ленину, чтобы получить его одобрение. Он мечтал, например, с группой товарищей пробраться в расположение деникинского штаба и взорвать его. Орджоникидзе любил Камо и три года спустя тяжело переживал его гибель. Выступая 18 июля 1922 года от имени ЦК РКП(б) на похоронах Камо, Серго так разволновался, что едва мог говорить, и мало что удалось записать. «Дорогой Камо! — говорил Серго. — Встретился я с тобой 18 лет назад. Я был молод. Ты считал своим долгом разъяснить мне, как стать большевиком, как бороться за интересы пролетариата»¹.

В Баку Орджоникидзе, как и многие из нас, пребывал нелегально. На конспиративной квартире состоялись его встречи с узким кругом партийных работников. Мы информировали его о положении дел и своих планах — ко всему этому он проявил живой интерес. К тому же он хотел собрать побольше информации, чтобы рассказать в ЦК, Ленину о положении в Баку и во всем Азербайджане. Хотя за две недели до этого мною была послана Ленину обширная информация, но события развивались быстро, и мы сообщили Серго более свежие и подробные сведения.

За месяц до приезда Серго в Баку была проведена всеобщая забастовка, которой руководили коммунисты с участием персонально привлеченных нами отдельных левых деятелей из других партий. Лозунгами забастовки были: заключение промышленниками коллективного договора с рабочими-нефтяниками и вывоз нефти из Баку в Россию. Оба лозунга с виду были чисто экономическими, но по существу своему, в условиях того времени, носили острополитический характер. Это требует некоторого пояснения. Дело в том, что добыча нефти резко тормозилась невозможностью ее транспортировки и сбыта. Оккупированный англичанами Баку был отрезан от Советской России. Оставался нефтепровод Баку — Батуми, но он обладал малой пропускной способностью. Нефть скапливалась на бакинских промыслах в резервуарах и открытых ямах. Единственным выходом мог стать вывоз нефти в Астрахань морским путем. Это было в интересах как рабочих, так и промышленников, которые разорялись, не находя возможности сбыта нефти. Английское же командование не позволяло вывозить нефть в Астра-

¹ Г. К. Орджоникидзе. Статьи и речи. Госполитиздат, М., 1956, т. 1, стр. 241.

хань. Находясь в союзе с русской белогвардейщиной, оно осуществляло общую жесткую блокаду Советской России и непосредственную военную интервенцию. Таким образом, бакинские капиталисты, как и мусаватское правительство, подчиненное английскому командованию, сами попали в трудное положение и, если бы даже хотели, не могли удовлетворить экономические требования рабочего класса.

Майская забастовка продолжалась пять дней. Поднялся весь Баку. Мы отдавали себе отчет в том, что добиться согласия на выставленные требования было невозможно. Забастовка являлась прежде всего политической проверкой боеспособности рабочего класса, умения Бакинской партийной организации руководить рабочим движением в активной борьбе. Закончилась забастовка организовано, по решению запасного стачечного комитета, после выхода из тюрьмы первого состава стачкома. В тяжелейших условиях английской оккупации и власти мусаватистов она еще больше сплотила бакинский пролетариат в организованную силу, показала, что он способен решать крупные задачи, которые перед ним вставали.

Обо всем этом и о планах дальнейшей работы мы и рассказали подробно Серго.

Для нас важно было узнать мнение Орджоникидзе по крупному политическому спору между бакинскими и тбилискими коммунистами. Мы, бакинцы, на основе опыта работы в Азербайджане пришли к выводу, что было бы ошибочно отвергать форму государственного устройства Азербайджана как национального государства, так как это означало бы оставаться на старых позициях областной автономии. Нам было ясно, что привлечь на сторону Советской власти широкие рабочие массы, крестьянство, демократическую интеллигенцию невозможно, если мы будем отрицать необходимость национального азербайджанского государства.

Мы выступали за признание Азербайджана как национального государства с тем, чтобы он стал государством советским, находящимся в тесной связи и дружественных отношениях с Советской Россией. Бакинские коммунисты выдвинули лозунг: «Да здравствует Советский Азербайджан, долой мусаватское правительство!»

Мы рекомендовали тбилиским товарищам занять аналогичную позицию в отношении меньшевистской Грузии и дашнакской Армении — двух других буржуазных государств Закавказья. Однако тбилиские члены крайкома, представлявшие парторганизации



Г. К. Орджоникидзе
(1886—1937).

Грузии и Армении, не согласились с нами — они были против признания необходимости национальных государств Закавказья. Спор окончился договоренностью о том, что мы остаемся на своих позициях в отношении Азербайджана, но не поднимаем вопроса в отношении Грузии и Армении. Тбилисцы же не меняют своего мнения, но и не выступают против лозунга Советского Азербайджана как национального государства.

Орджоникидзе отнесся к этому вопросу с большим вниманием и одобрил нашу позицию. Мы были рады этому, особенно в связи с тем, что он направлялся в Москву и мог там защитить нашу точку зрения.

Серго, в свою очередь, информировал нас о положении в Грузии, где он находился почти месяц, рассказал о своих беседах с товарищами из краевого комитета партии, о планах большевиков Грузии. Он ввел нас в курс событий, имевших место на Северном Кавказе перед падением Советской вла-

сти, и о тех причинах, которые привели к этим событиям. Все это представляло для нас большой интерес, поскольку мы имели лишь отрывочную информацию по этому вопросу.

Я спросил Серго, знали ли грузинские меньшевики, стоявшие в то время у власти, о его пребывании в Тбилиси и не пытались ли его арестовать. Он ответил, улыбаясь, что им, конечно, было известно о его приезде. Курьезным было то, что лидер меньшевиков Ной Жордания, которого Орджоникидзе хорошо знал еще во времена царизма, счел нужным кружным путем передать Серго, чтобы он не появлялся на улицах, так как его могут арестовать англичане. Это надо было понять так, что сами меньшевики его арестовывать не будут, но и препятствовать аресту тоже не собираются.

Серго смеялся над жалким положением меньшевистских лидеров «независимого и демократического государства», каким они объявили Грузию. Нам ясно было, что меньшевики, конечно, не из любви к Серго предупреждали его об опасности. Они знали, что Орджоникидзе являлся чрезвычайным комиссаром Советского правительства на юге страны. Они не смели его арестовать, понимая, к каким последствиям это могло привести, и даже стремились подчеркнуть свою «непричастность» к возможному аресту Серго англичанами.

Наши встречи с Серго и другими партийными товарищами происходили главным образом по ночам, с соблюдением больших предосторожностей, на мо-

ей нелегальной квартире, где я укрывался после недавно совершенного побега из тюрьмы.

В один из вечеров я пригласил на встречу с Серго группу азербайджанских деятелей, которые входили в состав буржуазного парламента от социалистов. Фактически они в последнее время примкнули к нам, большевикам, что сохранялось в строгом секрете. На встрече были Али Гей Караев, Муза Давуд Гусейнов, С. Агамалиоглы. Эти товарищи оказывали нам очень большую помощь. Мы ее ценили. К тому же тогда наша партийная организация испытывала нехватку руководящих кадров — азербайджанцев по национальности. Наиболее видные большевистские деятели из азербайджанцев находились в то время в Советской России. Это Нариман Нариманов, Дадаш Буниат-заде, Газанфар Мусабегов, Султан Меджид Эфендиев, Гамид Султанов, Габиб Джабиев, Мовсум Исрафилбеков, Бунят Сардаров, Мусеиб Шахбазов и другие. Мешади Азизбеков пал жертвой английских оккупантов.

Товарищи ознакомили Орджоникидзе с обстановкой в парламенте, в мусаватском правительстве, в районах Азербайджана, рассказали о работе, которую они вели по плану, разработанному совместно с Бакинским бюро краевого комитета партии. Серго был очень доволен этой встречей.

Обсуждали мы с Серго и положение в Ленкорани, где при необычных обстоятельствах установилась Советская власть. Выше упоминалось, что тысячи безоружных красноармейцев из потерпевшей поражение 11-й армии всякими путями пробирались в Тбилиси через горный хребет или по Черноморскому побережью через Абхазию. Но устроиться в Тбилиси на работу было невозможно, в профсоюзах хозяйничали меньшевики. В поисках работы и хлеба несколько тысяч красноармейцев в течение апреля и мая 1919 года прибыли в Баку.

Мы всячески старались помочь им в устройстве на работу, делали все, чтобы они могли продержаться. Возможности у нас были: целиком под нашим влиянием находилась имевшая в Баку большую силу постоянная Рабочая конференция — своего рода Совет рабочих депутатов, или, как называл ее позже С. М. Киров, «рабочий парламента». Легальную работу здесь возглавлял один из руководящих большевистских деятелей Закавказья, Леван Гогоберидзе. К этому времени мы начали получать из Астрахани деньги и всякую другую помощь.

Значительную часть красноармейцев мы направляли в район Ленкорани, где наряду с азербайджанцами жило много русских крестьян. Там нашим товарищам удалось завоевать большинство в Совете рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Была провозглашена Ленкоранская Советская Республика. Руководили ленкоранскими большевиками Тимофей Ульянов (Отраднев), Коломийцев, Самсон Канделаки, Роза Корнеева и другие наши товарищи. Положение маленькой советской республики в окружении врагов было трудным, она остро нуждалась в помощи опытных бойцов. На подмогу ее Красной гвардии и было послано несколько тысяч красноармейцев. По нашим планам эта республика, имевшая выход к Каспийскому морю, могла при благоприятных условиях стать базой для высадки частей Красной Армии.

Информировали мы Серго и о наших транспортных возможностях для связи с Астраханью. Нами были приобретены моторные лодки, баркасы, рыбацкие парусные лодки. Они числились собственностью частных лиц, наших законспирированных товарищей. Внешне все выглядело так, будто они покупают бензин в Баку и доставляют его морем в Пер-

сию, в Энзели (теперь Пехлеви), против чего власти не возражали. На самом же деле они возили бензин в Астрахань. Уже удалось направить таким образом много лодок, появился опыт, хорошие кадры. Самым опытным был Рогов — каспийский моряк, коммунист. Он уже до этого сделал две поездки в Астрахань, откуда благополучно возвращался с информацией, деньгами и оружием. Судьбу Серго мы решили доверить Рогову.

Надо сказать, что к тому времени мы уже меньше опасались провалов таких перевозок. «Морская экспедиция» была поставлена хорошо, общим ее организатором был проверенный и опытный в этих делах член Бакинского и краевого комитетов партии Исая Довлатов. Он, в частности, руководил покупкой лодок и бензина.

Опасность провалов уменьшилась и по другой причине. По заданиям нашей партии действовали не только названные выше социалисты — члены парламента, но и два крупных работника контрразведки мусаватского правительства — Мир Фаттах Мусеви и Ашум Алиев. Они тайно вступили в нашу партию. Благодаря их помощи нам удавалось предупреждать провалы в Баку, а если уж случалась такая беда, то была возможность тем или другим способом выручить своих товарищей¹.

Серго пробыл в Баку четыре дня. 13 июня днем он с группой товарищей отплыл на рыбацком баркасе. Прошло более трех недель, пока мы узнали, что поездка прошла благополучно. Добирались они до Астрахани около двух недель при штормовой погоде. Такая погода была, с точки зрения безопасности, наиболее подходящей: денкинские корабли, базировавшиеся в Махачкале, при штормах укрывались в порту, и плыть можно было безбоязненно. Наоборот, в тихую погоду нашим лодкам приходилось прятаться от денкинцев в глухих заливах берегов Закаспия.

Рогов позже рассказывал, что Серго, подверженный морской болезни, очень тяжело переносил шторм. Это плавание настолько его измотало, что в какой-то момент он даже требовал высадить его на берег. Но товарищи убедили его, что это невозможно, так как на берегу хозяйничали белогвардейцы.

Прибыв в Астрахань, Серго впервые встретился с Кировым. Здесь завязалась их крепкая дружба, длившаяся пятнадцать лет. Из Астрахани Серго вскоре отправился в Москву, где получил направление в Белоруссию, на Западный фронт, в качестве члена Военного Совета армии.

Осенью 1919 года мне пришлось проделать тот же путь через Астрахань в Москву, где я пробыл более двух месяцев. Однако встретиться с Серго мне тогда не довелось. Военные действия не позволяли ему отрываться от фронта. Даже на съезде Советов в декабре 1919 года он не присутствовал.

ПЕРВОМАЙ В СВОБОДНОМ БАКУ

Второй раз я встретился с Серго в 1920 году 22 апреля. Произошло это при следующих обстоятельствах.

В январе 1920 года с группой товарищей — Михаилом Хахиани, Владимиром Ивановым-Кавказским, Ольгой Шатуновской — я выехал из Москвы, возвращаясь на нелегальную работу в Баку через Краснодарск. Путь через Астрахань тогда был закрыт из-за льда. От Самары до Ташкента мы ехали больше ме-

¹ Вскоре мусаватское правительство узнало о настоящей роли Мусеви и Алиева и организовало их убийство.

сяца поездом с М. В. Фрунзе. Затем через Ашхабад я добрался до Красноводска, где готовился баркас, пригнанный из Баку нашими товарищами. Так как в Каспийском море орудовали денкинские военно-морские суда, баркас вооружили пушкой, пулеметом. Здесь к нам присоединился прибывший из Баку Леван Гогоберидзе.

Еще в Красноводске мы слышали, что Красная Армия заняла Грозный и приближается к Дагестану, но точных данных, насколько она продвинулась, у нас не было. Направлялись мы к побережью Азербайджана, чтобы нелегально пробраться в Баку для подготовки восстания. Однако наш компас испортился, и когда мы пересекли море, то увидели, что находимся вблизи Петровска (ныне Махачкала). Соблюдая осторожность, встали на рейде. Выяснили обстановку. В порту денкинских судов не оказалось — они, видимо, успели удрать в Энзели.

Причалив к берегу, с радостью узнали, что сюда уже подошла Красная Армия. Здесь были член Реввоенсовета фронта Орджоникидзе, командарм Левандовский, члены Реввоенсовета армии Киров и Механошин. С Серго и Кировым мы встретились в их штабном вагоне. Познакомили они меня с военачальниками, рассказали о дальнейшем плане действий 11-й армии.

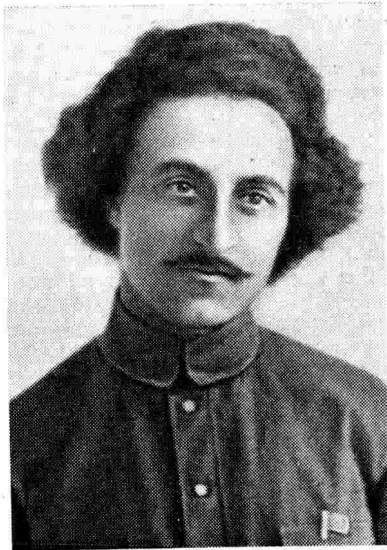
Серго бурно радовался успешному походу 11-й армии. Еще более воодушевляло всех нас, что близилось освобождение Азербайджана — освобождение, во имя которого в тяжелейших условиях провел большую боевую работу и понес много жертв бакинский пролетариат. Мы мечтали о том, что за этим последует освобождение Грузии, Армении и все Закавказье станет советским. Такая перспектива была вполне реальной. Советская власть одерживала победы на всех фронтах.

Через день сюда же, в Махачкалу, пробрался из Баку нелегальным путем Виссарион (Бесо) Ломинадзе, член Бакинского комитета партии. Он доложил о полной готовности бакинских большевиков к вооруженному восстанию. Хотя многие товарищи из бакинского партийного руководства сидели в тюрьме, в городе имелось достаточно наших руководящих кадров. Большие надежды, естественно, возлагались на помощь Красной Армии. Было принято решение о том, чтобы Ломинадзе вернулся нелегально в Баку и информировал бакинских товарищей о планах предстоящих совместных действий.

Орджоникидзе проявлял особую озабоченность, чтобы не допустить взрыва бакинских нефтяных промыслов, если мусаватисты прибегнут к этому. Мы поставили перед бакинской Красной гвардией в качестве одной из важнейших задач предотвращение такого взрыва.

Условились также о создании Азербайджанского революционного комитета и о его составе и просили передать азербайджанским товарищам нашу рекомендацию: объявить председателем ревкома Нариманова, который в то время находился в Москве, с тем чтобы до его приезда руководство мог осуществлять Гусейнов.

Разработан был и план действий войск: четыре



Г. К. Орджоникидзе
1920 год.

бронепоезда под общим командованием Ефремова¹ должны были прорваться в Баку, кавалерия — действовать на правом фланге, стрелковые части — следовать поездами и пешим ходом. Комиссаром кавалерийской дивизии был назначен Гогоберидзе.

Командарм Левандовский подробно рассказал мне о намеченном движении воинских частей. Он пояснил, что отряд бронепоездов имеет задание прорваться в Баку, в район нефтепромыслов, чтобы помочь бакинским рабочим обеспечить их охрану. По моей просьбе меня назначили комиссаром бронепоездов.

На третий день я выехал в Дербент, где находились бронепоезда и их командир Ефремов. Здесь же, на втором бронепоезде, были прибывшие из Астрахани видные азербайджанские деятели нашей партии Мусабеков и Джабиев.

На пути в Баку мы имели несколько боевых стычек с отрядами мусаватских войск, перестрелку с их бронепоездом. В районе

Сумгаита нас встретил огонь артиллерии. Жертв у нас было немного, их понес дважды высаживавшийся десантный отряд латышей.

27 апреля, часам к 11 вечера, первый бронепоезд под огнем занял станцию Баладжары на подступах к Баку. Тем самым выход из Баку железной дорогой в сторону Тбилиси был закрыт.

В ту ночь наши товарищи из ЦК Компартии Азербайджана под угрозой восстания предъявили буржуазному правительству Азербайджана требование мирно сдать власть в руки коммунистов. Правительство, видя организованность и боевое настроение рабочих Баку, узнав о занятии Баладжар красным бронепоездом и о подходе Красной Армии на помощь азербайджанским революционерам в соответствии с их просьбой, в ночь на 28 апреля освободило из тюрьмы арестованных большевиков и сдало власть. Мусаватские министры разбежались.

В 5 часов утра 28 апреля бронепоезд «III Интернационал», на котором находились командир отряда бронепоездов Ефремов и я в качестве комиссара, прибыл на бакинский вокзал. Нас встречал Камо. На автомашине сразу поехали к зданию азербайджанского парламента, где уже заседали члены ЦК Компартии Азербайджана.

Мы появились в Баку, когда буржуазной власти уже не стало, а новая, Советская, еще не установилась. На улицах нам встречались мусаватские полицейские, которые продолжали нести свою службу, не зная, что власть переменялась. На рассвете открывались лавки, жизнь шла своим чередом.

Красная гвардия взяла на себя охрану нефтепромыслов и нефтескладов, заботу о соблюдении порядка. Она располагала оружием, нелегально накопленным ранее, а также винтовками, присланными Фрунзе с Туркестанского фронта. В Баку эти винтовки доставил на моторке коммунист моряк Сторожук.

¹ Михаил Григорьевич Ефремов (1897—1942) погиб в Великую Отечественную войну. Будучи командующим армией, в тяжелых боях он попал в окружение под Вязьмой. Сражался до последней возможности, а оказавшись перед опасностью плена, застрелился. В Вязьме ему поставлен памятник.

В ночь на 28 апреля состоялось провозглашение Советской власти в Азербайджане с временным правительством — Революционным комитетом и его председателем — Наримановым. Новое правительство Азербайджана немедленно обратилось по радио к правительству Российской Федерации с заявлением о том, что оно порывает все связи с империалистическими государствами Антанты, хочет установить дружественные отношения с Советской Россией и просит оказать помощь революционному правительству путем присылки отрядов Красной Армии.

Постепенно население стало узнавать, что Советская власть победила в Баку мирно, без кровопролития. В городе стихийно начались народные торжества. Царил революционный подъем, особенно в рабочих районах. Группы демонстрантов шли к зданию азербайджанского парламента, где заседал Революционный комитет и ЦК Компартии Азербайджана.

30 апреля в Баку начали входить советские войска. До этого, в течение двух дней, единственной нашей воинской частью в городе был бронепоезд «III Интернационал». Остальные войска были на подходе.

В город прибыли Орджоникидзе, Киров, Левандовский, Механошин. Они посетили стоянку бронепоезда «III Интернационал», чтобы поздравить красноармейцев с успешным рейдом и вручить Ефремову орден Красного Знамени. Я попросил Орджоникидзе наградить орденом Красного Знамени за успешную тайную доставку оружия с Туркестанского фронта в Баку Сторожука, который к тому же играл большую роль в нелегальных перевозках бензина в Астрахань. Орден ему был вручен.

Наступило Первое мая. Основная масса пехоты в это время входила в город. С раннего утра по улицам шли красноармейские колонны — утомленные, все в пыли, но радостные, воодушевленные. Со всех районов, с промыслов, с заводов рабочие с семьями заполнили улицы города. Началось настоящее братание населения с красноармейцами. Объятия, всеобщее ликование. Это был замечательный, радостный Первомай в Баку. Повсюду — на перекрестках и площадях — возникали митинги.

Состоялась Рабочая конференция. В этом представительном органе рабочего класса участвовали делегаты от каждого промысла, каждого предприятия. Горячие поздравления раздавались в честь Ленина, Красной Армии, Советской России. С приветствием от имени правительства Российской Федерации и от Красной Армии выступил Серго Орджоникидзе. Он поздравил бакинский пролетариат, весь азербайджанский народ с победой Советской власти, с водружением знамени социализма на азербайджанской земле.

В течение нескольких дней во всех центрах Азербайджана уже расквартировывались красноармейские части. Красная Армия дошла до границ меньшевистской Грузии и дашнакской Армении.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Однако мирная обстановка в Азербайджане продержалась недолго. Уже в 20-х числах мая азербайджанские феодалы, которые собрались в губернском городе Гянджа (нынешний Кировабад) вместе с бежавшими из Баку министрами, контрреволюционным офицерством и чиновничеством, подняли там опасное вооруженное восстание. Завязались уличные бои, в результате которых мятеж был подавлен. Но не прошло и двух недель, как разбитые части мятежников перебрались в Карабах и под-

няли там новое восстание. Оно было также подавлено. Через некоторое время начались контрреволюционные волнения в некоторых других уездах. Скоро и с ними было покончено.

В то время в Азербайджане, за исключением Баку, местные революционные кадры не имели опыта, не было укрепившихся органов власти. Закаляясь в борьбе с контрреволюционными силами, они повели за собой трудящиеся слои населения. Заговоры и восстания феодалов раскрыли глаза народным массам. Борьбу с контрреволюцией возглавили ЦК АКП(б) и Азербайджанский ревком. Большая работа в этой области была проделана Кавказским бюро ЦК РКП(б), являвшимся общекавказским руководящим партийным органом. Секретарем Кавбюро был Орджоникидзе.

Серго придавал важное значение скорейшему осуществлению политических и экономических мероприятий, направленных на то, чтобы выбить почву из-под ног помещиков и капиталистов. Вскоре был издан декрет Азербайджанского ревкома о конфискации помещичьей земли, ее национализации и передаче в пользование трудовому крестьянству. Это экономически подрывало корни помещиков и поворачивало крестьян на сторону Советской власти.

В 20-х числах мая 1920 года была вторично (первый раз еще в 1918 году, до поражения Советской власти в Баку) национализирована бакинская нефтяная промышленность — более 250 предприятий частных фирм. На их базе было организовано государственное объединение «Азнефть». Надо было как можно быстрее наладить вывоз огромной массы накопившихся запасов нефти морем в Россию, где свирепствовал топливный голод. Путь через Астрахань уже был открыт, началась навигация. Одновременно надо было увеличить добычу нефти.

Для выполнения этих важных задач Орджоникидзе сумел организовать местных товарищей. Большую помощь оказал прибывший из Москвы А. П. Серебровский. Старый большевик, опытный инженер и талантливый организатор, Серебровский возглавил «Азнефть». Опираясь на профсоюз рабочих нефтяной промышленности, на союз моряков и ту часть технической интеллигенции, которая и раньше поддерживала с нами деловые связи, он наладил добычу нефти и вывоз ее в Астрахань. Позже Орджоникидзе в речи в «День нефтяной промышленности» 14 января 1921 года в Баку упомянул о том, что если первым боевым орденом Советская власть наградила Блюхера, то первым орденом Трудового Красного Знамени был награжден Серебровский за успехи в организации добычи и вывоза нефти.

13 июня 1920 года состоялось первое торжественное заседание Бакинского Совета рабочих, красноармейских и матросских депутатов. Орджоникидзе выступил с приветственной речью и был избран постоянным председателем Бакинского Совета. На этом же заседании Серго было поручено передать от имени бакинского пролетариата братский привет 1-й Конной Армии в связи с ее первой блестящей победой над белополяками и вручить командарму Буденному и члену РВС 1-й Конной Ворошилову подарки бакинских рабочих — золотые кинжалы.

У Серго была уйма дел, трудно было справиться со всем. Но он был крепок, здоров, молод — ему было тогда 34 года. Всегда он был жизнерадостен, подтянут, как будто и не знал утомления. Работали мы тогда без отдыха, о выходных днях даже и не помышляли. Серго любил верховую езду. Но лишь дважды нам удалось вместе выбраться верхом на прогулку в окрестности Баку, и мы радовались возможности побеседовать в спокойной обстановке.

На Серго лежала не только забота об XI Армии и Азербайджане. Возглавляя Кавбюро ЦК РКП(б), он осуществлял руководство партийными организациями всего Закавказья и Северного Кавказа, часто выезжал в Ставрополь, Ростов, Грозный, Краснодар, Владикавказ (ныне Орджоникидзе), выступал там на съездах, собраниях, совещаниях с активом. Кипела работа по укреплению Советской власти на местах. Надо было разрешать сложные вопросы, возникавшие у горских народов, впервые получивших возможность свободного национального развития, налаживать хозяйственную жизнь. Особые усилия требовались для ускорения доставки хлеба и другого продовольствия в Москву — запасы его на Северном Кавказе тогда были большие, а города Центральной России переживали значительные трудности с обеспечением населения продуктами питания.

Изумляли неиссякаемая энергия и подвижность Орджоникидзе. Он успевал в короткий срок побывать во многих отдаленных районах, и это при невероятных трудностях с транспортом. Из Дагестана, где он подготовил продвижение частей XI Армии в Азербайджан, Серго мчит в Пятигорск, выступает там 27 апреля на совещании по земельному вопросу, а 30 апреля он уже в Баку.

Красная Армия одерживала крупные победы, дело шло к концу гражданской войны. Разъезжая по городам и селам, Серго ставил перед советскими и партийными организациями задачи восстановления хозяйства, перевода работы на рельсы мирного строительства.

Однако в августе 1920 года стало ясно, что Антанта решила еще раз попытаться спасти разгромленную контрреволюцию, подбив панскую Польшу к нападению на Советскую Россию. Несмотря на ряд попыток Ленина и Советского правительства урегулировать мирным путем отношения с Польшей, идя даже на большие уступки, разгорелась польско-советская война. Антанта одновременно помогала вооружением Врангелю, которому удалось, закрепившись в Крыму, высадить десант Улагая на Кубани и поднять там восстание.

20 августа Серго получает телеграмму Ленина с поручением Политбюро ЦК РКП(б) срочно выехать для участия в ликвидации врангелевского десанта. Он тут же выезжает и уже 4 сентября телеграфирует Ленину о разгроме десанта в районе Ахтырки. Однако Врангель был еще силен и нацелил наступление из Крыма на север. Войска Врангеля были хорошо вооружены: Англия, Франция и Америка обеспечили их всем необходимым.

Вновь пришлось ЦК нашей партии призывать страну к обороне. По примеру других партийных организаций, ЦК Компартии Азербайджана решил мобилизовать на фронт десять процентов всего числа коммунистов. Совет профессиональных союзов республики постановил мобилизовать два процента членов профсоюзов для пополнения рядов Красной Армии на фронтах борьбы с белополяками и врангелевцами. Бакинский Совет рабочих, красноармейских и матросских депутатов принял постановление мобилизовать пять процентов своих депутатов на фронт.

СЪЕЗД НАРОДОВ ВОСТОКА

В конце июня 1920 года Исполком Коминтерна и ЦК РКП(б) решили создать в Баку съезд народов Востока. Было создано Организационное бюро. Основную работу по подготовке съезда вел Серго Орджоникидзе вместе с Еленой Стасовой. Я



С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе, А. И. Микоян и М. Г. Ефремов у бронепоезда на ст. Баку, 1920 год.

это хорошо знал, потому что также входил в состав Организационного бюро.

По предложению Орджоникидзе на первом заседании Оргбюро были рассмотрены вопросы о целях и задачах съезда, сроках его проведения и распределены обязанности между членами бюро.

На съезд ожидалось прибытие делегатов от Закавказских республик, от Дагестана и других горских народов Северного Кавказа, от Туркестана, Бухары, Хорезма, Башкирии, Татарии, Киргизии, от калмыков, монголов, Китайского Туркестана, Персии, Турции и других.

Необходимо было установить связь со всеми этими делегациями. Особенно трудно было наладить контакты с персами и турками. Поскольку тогда уже в Баку находилось Бюро турецких коммунистов (Субхи, Сулейман Нури), а также Персидское бюро, работа велась через них. Они нам помогали установить необходимые связи с Индией и другими странами Азии.

Предполагалось привлечь к этому съезду самые широкие круги. Это был съезд не только коммунистов, но и беспартийных антиимпериалистически настроенных национальных деятелей, представителей широких масс трудящихся и их организаций.

Съезд народов Востока начал свою работу 1 сентября. Накануне собрался Бакинский Совет, на котором были обсуждены вопросы подготовки к съезду народов Востока, а также вопрос о военном положении и задачах бакинского пролетариата.

К вечеру заседание Совета подходило к концу, но так как ожидалось прибытие поезда с представите-

лами Коминтерна (Зиновьев, Радек), а также делегациями западных стран (Бела Кун — Венгрия, Джон Рид — Америка, Квелч — Англия, Росмер — Франция и другие), то депутаты решили не расходиться и организованно встретить гостей. Ночью прибыл поезд. Все депутаты Совета, многочисленные рабочие делегации, несмотря на поздний час, торжественно встречали гостей. Прямо с вокзала их привезли в театр, где возобновилось заседание Совета. Закончилось оно в пятом часу утра. Слушали приветственные выступления представителей Коминтерна. Собрание проходило на большом подъеме, говорили вдохновенно. Мы, бакинцы, гордились тем, что у нас, в пролетарской цитадели — Баку, будет заседать съезд народов Востока. Все это сливалось с патристическим стремлением пойти на фронт, воевать за Советскую власть, против белополяков, против Врангеля.

К сожалению, Серго Орджоникидзе — один из главных организаторов съезда — на нем не присутствовал, так как в это время участвовал в ликвидации врангелевского десанта на Кубани. Он прислал телеграмму съезду народов Востока с теплым приветствием от IX Кубанской армии. В приветствии говорилось:

«От имени нанесшей смертельный удар врангелевскому десанту на Кубани и окончательно уничтожившей его IX-й Кубанской армии приветствуем Первый съезд народов Востока. Будучи отвлечены от непосредственного участия в работе съезда, мы с восхищением следим за поднимающимся против ига западноевропейского империализма Востоком. Мы гордимся, что наша победоносная Красная Армия в братском единении с азербайджанским крестьянством и рабочими, свергнув правительство беков и ханов, создала красный Азербайджан, в столице которого вы ныне заседаете. Недалек момент, когда над всем Востоком загорится красная заря освобождения...»

На съезде был создан постоянный орган «Совет пропаганды и действия народов Востока» при Исполкоме Коминтерна; в состав этого Совета вошел и Орджоникидзе.

ЛЕНИН ЗАЩИЩАЕТ КАНДИДАТУРУ СЕРГО

В сентябре 1920 года состоялась IX Всероссийская конференция РКП(б). Встретиться на ней с Серго мне не пришлось: он на эту конференцию приехать не смог. В ряде районов Северного Кавказа в это время вспыхнули кулацкие восстания, и он руководил их подавлением. Наряду с этим шла упорная борьба за упрочение Советской власти на местах, за восстановление хозяйства, и прежде всего нефтяной промышленности в Грозном и Баку. Все это не позволяло Серго оторваться от дел.

В ноябре 1920 года началось организованное коммунистами Армении восстание, свергнувшее буржуазное дашнакское правительство. На поддержку армянским большевикам были направлены некоторые части Красной Армии. Борьба за победу Советской власти в Армении, руководство которой также приходилось осуществлять Серго, была нелегкой. Видя слабость

новой власти, дашнаки с помощью меньшевистского правительства Грузии предприняли контрреволюционное выступление и снова временно захватили власть. Но вскоре революционные рабочие и крестьяне при поддержке подошедшей Красной Армии восстановили в Армении Советскую власть.

Орджоникидзе принимал также участие в революционных событиях в Грузии. Меньшевистские правители Грузии помогали как контрреволюционным дашнакам, так и сбежавшим с Северного Кавказа реакционным деятелям горских народов. Кроме Грузии, все Закавказье было уже советским. Грузинские рабочие, широкие слои крестьянства все активнее стали выступать за Советскую власть. Коммунисты готовились к открытой борьбе за победу революции. По просьбе грузинских революционеров части Красной Армии пришли на поддержку начавшегося народного восстания, и 25 февраля 1921 года над Тбилиси было поднято красное знамя Советской власти.

Серго по горло был занят этими событиями. То, что все Закавказье встало под знамя Советов, явилось великой победой. Но нелегко было закрепить Советскую власть, особенно в Грузии, где шла упорная борьба, требовавшая неослабного внимания Кавбюро ЦК во главе с Орджоникидзе.

И на этот раз обстановка не позволила Серго выехать в Москву на X съезд партии, который состоялся в марте 1921 года. Накануне съезда в течение более трех месяцев нашу партию лихорадила дискуссия о роли профсоюзов. Образовались фракционные группировки со своими платформами, угрожавшие ее единству. Орджоникидзе занял в этой дискуссии четкую ленинскую позицию, был целиком на стороне Ленина. В феврале, выступая на III съезде Компартии Азербайджана с докладом о профсоюзной дискуссии, он блестяще разъяснил суть этой дискуссии, вскрыл антипартийность позиций Троцкого и Шляпникова. Съезд большевиков Азербайджана подавляющим большинством поддержал платформу Ленина.

Хотя Орджоникидзе на X съезде РКП(б) не присутствовал, речь о нем зашла в связи с обсуждением кандидатур в состав Центрального Комитета партии. Несколько военных делегатов с Северного Кавказа неожиданно выступили с отводом кандидатуры Орджоникидзе. Сидели эти делегаты в последних рядах и шумели на весь зал о том, что, мол, Орджоникидзе кричит на всех, командует, не считается с местными работниками, а потому не может быть в составе ЦК.

В защиту Орджоникидзе выступил Сталин. Говорил он в спокойном тоне, тихим голосом. Привел биографические данные, рассказал о работе Серго в подполье, на фронтах гражданской войны и рекомендовал избрать его в ЦК. Было видно, однако, что он не убедил северокавказских товарищей, которые продолжали шуметь.

Тогда выступил Ленин. Он сделал примерно следующее заявление: я знаю товарища Серго давно, еще со времени подполья как преданного, активного, бесстрашного революционера. В гражданской войне он показал себя храбрым, способным организатором. Но в критике выступавших товарищей есть одно правильное замечание по адресу товарища Серго. Это то, что он кричит на всех. Это верно. Он громко говорит, но вы, наверное, не знаете, в чем дело. Он и со мной, когда разговаривает, так же кричит. Потому что он глуховат на левое ухо. Поэтому и кричит — думает, что другие его не слышат. Но нельзя этот недостаток принимать во внимание...

И Ленин поддержал кандидатуру Орджоникидзе.

Выступление Ленина вызвало добрые улыбки собравшихся. Он сбил атаки на Орджоникидзе. А ведь были серьезные опасения, что окажется много голосов против. После выступления Ленина при тайном голосовании Орджоникидзе получил подавляющее большинство голосов. По числу голосов он шел сразу вслед за Дзержинским и получил больше, чем ряд других тогдашних видных членов ЦК.

Помню, как поразила меня тогда наблюдательность Владимира Ильича. Я тоже замечал, что Серго слышит хуже других, но не знал, что он глуховат на левое ухо.

Работая в Нижнем Новгороде, я встречался с Серго в Москве на всероссийских партконференциях, на съездах Советов. В марте 1922 года мы встретились с ним на XI съезде РКП(б). В работе этого съезда участвовал Владимир Ильич, но здоровье его к тому времени уже пошатнулось, врачи требовали лечения и отдыха. Да Ленин и сам чувствовал необходимость этого. Близко принимая к сердцу состояние здоровья Ленина, Серго убеждал его поехать на Кавказ, чтобы там отдохнуть и подлечиться. И даже уговорил. Они условились с Ильичем о плане предстоящей поездки. По этому поводу сохранилось несколько записок Ленина к Орджоникидзе, в одной из которых он писал: «...черкните мне, пожалуйста, пару слов, чтобы я знал, что мы договорились вполне и что «недоразумений» не будет.

Нервы у меня все еще болят, и головные боли не проходят. Чтобы испробовать лечение всерьез, надо сделать отдых отдыхом.

Вам, при Вашей занятости, вероятно, никак не удастся самому выполнить то, о чем вчера говорили, да и не рационально, конечно, Вам за это браться. Найдите человека исполнительного и внимательного к мелочам и поручите ему (тогда и ругать мне будет приятнее НЕ ВАС, к стати сказать)»¹.

Ленин сообщал также, что через месяц будет ждать присылки «и подробной карты и сведений о пригодном месте (или пригодных местах) — высота над уровнем моря, ИЗОЛИРОВАННОСТЬ и пр. и т. д.; также описания этих мест и тех уездов и губерний, где они находятся»². В других записках к Серго по этому поводу он сообщает, что с ним просится поехать Камо и что он с этим согласен³, проявляет заботу о том, чтобы выбранное место подошло не только для него, но и для Надежды Константиновны, и что с этой точки зрения «Боржом очень годится»⁴. Однако поездку на юг осуществить Владимиру Ильичу так и не удалось.



Серго Орджоникидзе, А. Н. Микоян, А. Беленький и Сережа Шаумян — сын Степана Шаумяна. 1927 год.

БОРЕЦ ЗА ДРУЖБУ НАРОДОВ

В начале двадцатых годов, естественно, возникал вопрос о государственных отношениях между существовавшими тогда суверенными советскими республиками. К середине 1922 года у республик уже сложилось тесное сотрудничество в военной области, внешней политике, железнодорожном транспорте и некоторых других областях.

Такое сотрудничество устанавливалось с первых же дней победы Советской власти. М. И. Калинин имел все основания характеризовать фактически сложившиеся тогда отношения между суверенными советскими республиками как «военно-политический союз». Главным в этом союзе было партийное единство. Все компартии республик считали себя частью РКП(б) и директивы ЦК РКП(б) считали для себя обязательными. В свою очередь, и эти директивы отражали интересы республик, они принимались с участием деятелей республиканских компартий.

В деле сближения закавказских советских республик с Советской Россией и между собой, упрочения их отношений Серго Орджоникидзе сыграл выдающуюся роль как представитель ЦК РКП(б) на Кавказе.

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 54, стр. 229.

² Там же.

³ Там же, стр. 230.

⁴ Там же, стр. 241—242.

В ходе развития взаимоотношений республик все более назревала необходимость государственного оформления их сотрудничества. Вопрос этот рассматривался на октябрьском (1922 г.) Пленуме ЦК РКП(б), в работе которого участвовали также Орджоникидзе и я. Пленум поддержал ленинский план образования Союза ССР.

Ленин на этом Пленуме не присутствовал по состоянию здоровья, но Пленум работал при его, как он сам несколько позже писал, «косвенном участии»¹. Мы все знали, что принимаем предложения Ленина, творца национальной политики нашей партии. Эти предложения были пронизаны ясной мыслью о равенстве советских республик.

Сердцевина ленинского плана — добровольное объединение суверенных республик в Союз, а не вступление в РСФСР других независимых республик на правах автономных, как это предусматривалось так называемой идеей, или, как называл ее Ленин, затеей, «автономизации».

В соответствии с ленинским планом и проводилась дальнейшая работа по объединению республик. В декабре 1922 года съезды Советов Украины, Белоруссии, республик Закавказья, X Всероссийский съезд Советов приняли решения об объединении советских республик в единое союзное государство на принципах добровольности, равноправия и суверенности. 29 декабря конференция полномочных делегаций советских республик приняла проекты Декларации и Договора об образовании СССР и передала их на рассмотрение I съезда Советов СССР, который обсудил и утвердил их 30 декабря 1922 года. В работе этого съезда активно участвовал С. Орджоникидзе.

Встречи мои с Орджоникидзе стали более частыми после моего переезда в мае 1922 года в Ростов, в связи с назначением секретарем Югостбюро ЦК РКП(б). Я, естественно, интересовался тогда работой Серго Орджоникидзе и делами закавказских компартий, поскольку мы «жили» рядом: многие северокавказские проблемы перекликались и были родственны аналогичным проблемам Закавказья. Для практического решения многих проблем Северного Кавказа мне важно было изучить опыт работы Закавказских республик. Встречи и беседы с Серго были особенно полезны для меня, потому что он лучше меня знал Северный Кавказ, Дагестан. Обычно, когда приходилось ехать в Москву на Пленумы ЦК партии, на съезды Советов, мы с Ворошиловым (который также работал тогда в Ростове) присоединялись к Орджоникидзе и Кирову, проезжавшим через Ростов. Ехали мы в одном вагоне и обратно возвращались вместе. В этих поездках всегда шел оживленный обмен мнениями, информацией, как это бывает между близкими товарищами по революционной работе.

На Северном Кавказе возникало тогда много сложных национальных, сословных и других проблем, вызывавших трения и острые конфликты. В этих вопросах было довольно трудно сразу правильно ориентироваться, особенно в начале моей работы на Северном Кавказе. Между тем Серго почти все годы гражданской войны и непосредственно после победы вел большую работу в этом крае, накопил богатый опыт разрешения многих проблем, хорошо знал местные кадры, в частности товарищей, которые зачастую между собой конфликтовали. Авторитет Серго среди северокавказских партийных и советских работников был высок, они внимательно и с доверием прислушивались к его голосу. Поэтому

я пользовался всякой возможностью встречи и связи с Серго, чтобы обменяться мнениями по тому или другому сложному вопросу.

Мне недавно встретилась сохранившаяся в архиве Орджоникидзе моя телеграмма на его имя, посланная из Ростова в Тбилиси 26 сентября 1922 года: «Югостбюро ЦК следующий номер «Известий» посвящает истории Октябрьской революции Юго-Востоке. Поэтому прошу Вас как руководителя революционной борьбы за Советскую власть Юго-Востоке, Кавказе прислать адрес Югостбюро ЦК десятому октябрю статью — воспоминания революционных событиях годы гражданской войны Юго-Востоке, Северокавказе».

Чтобы Серго был в курсе наших дел, я посылал ему из Ростова в течение 1922 и начале 1923 года копии своих писем в ЦК партии о положении в крае.

В 1924 году стал острым вопрос о судьбе Горской республики. Первоначально в эту республику входили все горские народы Северного Кавказа, кроме автономного Дагестана. Затем из нее на правах автономии выделились Кабардино-Балкария и Карачай.

Тяжелое положение создалось в Чечне, тогда еще входившей в Горскую республику. Республиканские власти, имевшие слабые связи с чеченским населением, не справлялись с введением там советских порядков, приобретением чеченцев к мирному строительству, поднятием культуры, здравоохранения, развитием торговли. Среди чеченцев было сильно влияние реакционных вождей племен и духовенства. Нельзя было дальше терпеть организуемые этими «вождями» бандитские нападения на районы Грозного, на железнодорожные станции. Встал вопрос о выделении Чечни в самостоятельную автономию. Поскольку руководство Горской республики было против этого, возникли споры среди местных работников. Мы не могли на месте найти согласованное решение. Пришлось внести вопрос в ЦК партии, который образовал комиссию во главе с Орджоникидзе для обследования положения на месте и подготовки предложения. В комиссии мы все пришли к единому мнению, что будет правильным выделить Чечню в особую автономию. Такое решение и было одобрено ЦК партии, а затем принято на народном съезде Чечни, созванном вскоре после этого в селе Урус-Мартан.

Через некоторое время благодаря успешной работе Чеченского ревкома во главе с Эльдархановым удалось восстановить нормальное положение вокруг Грозного и в других районах Чечни.

Со временем стало ясно, что объединение осетин и ингушей в Горской республике не обеспечивает там укрепления нового, советского строя. С мест стали поступать предложения о том, чтобы разделить на отдельные автономии также Осетию и Ингушетию, но вокруг этого возникало много споров. Были и определенные трудности практического порядка. ЦК РКП(б) создал по Горской республике комиссию во главе с Орджоникидзе, я был членом комиссии. И по этому вопросу мы с ним были единого мнения, а именно считали целесообразным выделить Осетию и Ингушетию в особые автономии. Комиссия подготовила в соответствии с этим предложение о разделении Горской республики, которое было одобрено ЦК партии.

Серго был страстным поборником дружбы народов. Он был глубоким, настоящим, ленинским интернационалистом по духу, по сознанию. Он хорошо понимал национальный вопрос, умел завоевывать доверие представителей различных наций и народностей, с которыми ему приходилось встречаться в революционные годы. Всюду он пользовался искрен-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 54, стр. 300.

ней поддержкой и уважением: среди ростовских рабочих, организованных в Красную гвардию в период гражданской войны, инородного крестьянства, которое стало на сторону Советской власти, среди революционной части казачества, у осетин и ингушей, кабардинцев и дагестанцев, азербайджанцев, армян и грузин. Ко всем он умел находить правильный подход, достигал взаимопонимания. И это при наличии клубков противоречий — национальных, территориальных, религиозных, политических и иных. Серго находил общий язык с людьми, привлекал их на сторону Советской власти и Коммунистической партии.

Ко времени отъезда Орджоникидзе с Закавказья в 1926 году там установились отношения братской дружбы, разностороннего сотрудничества и взаимопонимания между закавказскими республиками, между всеми национальностями. Это была большая победа, которая далась нелегко. Она была одержана в тяжелой борьбе, проходившей под непосредственным руководством Серго Орджоникидзе. Перед ним возникало много трудностей, бывали у него и ошибки, которые он, однако, умел осознавать и делать из них правильные выводы.

Все кавказские народы хорошо помнят Серго, его большие дела по ликвидации национальных трений и вражды, унаследованных от царизма и культивировавшихся меньшевиками, дашнаками и мусаватами.

Ту же ленинскую линию дружбы и интернационализма проводил Серго и на Северном Кавказе, и в Украине, и в Белоруссии — везде, куда направляла его партия. В это он вкладывал весь свой труд и всю свою душу. Вот почему Серго по праву считается пламенным, неутомимым борцом за подлинную дружбу и братство между народами.

СОВЕСТЬ ПАРТИИ

А о середины 1926 года Серго работал в Закавказье. Он много сделал для достижения единства рядов коммунистических организаций, в том числе и в Компартии Грузии, где это на первых порах было делом особенно трудным.

Серго уделял большое внимание вопросам восстановления экономики Закавказья, особенно бакинской нефтяной промышленности, которая была так важна для подъема народного хозяйства всей страны. Он приобрел большой хозяйственный опыт, стал хорошо понимать задачи и пути развития экономики.

В июле 1926 года на Пленуме ЦК ВКП(б) были избраны кандидатами в члены Политбюро Орджоникидзе, Киров и я. Все мы работали тогда на Кавказе. Киров сразу после Пленума был направлен в Ленинград секретарем обкома партии. Нельзя было больше терпеть во главе ленинградской организации Зиновьева, который превращал этот один из основных отрядов партии в оплот оппозиции.

Кандидатура Кирова была вполне подходящей. И, как показали последующие годы, он полностью справился с возложенными на него задачами. Он сумел повернуть там партийную жизнь на правиль-



Серго Орджоникидзе, 1933 год.

Фото Л. С. Шаумяна.

ный путь и сохранить для партии многие тысячи коммунистов, которые были сбиты с толку Зиновьевым. Ленинградская организация снова стала верной опорой ЦК партии, носителем ленинских идей.

В борьбе с влиянием зиновьевской оппозиции в Ленинграде сыграл свою роль также Орджоникидзе. Во время XIV съезда партии группа членов ЦК, в том числе Серго и я, выезжали в Ленинград, где выступали на собраниях партийных активистов в защиту линии ЦК, против оппозиции.

Вскоре после июльского (1926 г.) Пленума ЦК было принято решение — назначить меня наркомом внешней и внутренней торговли, освободив от обязанностей секретаря Северокавказского крайкома партии. Мне тогда шел 31-й год. Не имея опыта руководящей работы в центре, я опасался, что не справлюсь с таким большим делом, и поэтому категорически отказывался. В течение трех недель шла переписка, споры. Но после окончательного решения ЦК я приступил к этой новой для меня работе.

Некоторое время спустя ЦК принял решение перевести Орджоникидзе из Закавказья на Северный Кавказ, на пост секретаря Северокавказского крайкома партии. Против его перевода в Ростов в Центральный Комитет поступил протест от членов Закавказского крайкома партии, настаивавших на оставлении его в Закавказье. Сталин, однако, настоял на своем, и ЦК оставил в силе прежнее решение. Орджоникидзе, как я узнал, также считал, что ему следует продолжать работу в Закавказье, но протеста не подавал и выехал в Ростов.

Уже тогда было ясно, что если и переводить Серго из Тбилиси, то на всесоюзную руководящую работу, к чему он был вполне подготовлен. Так оно и получилось. Не прошло и двух месяцев, как Политбюро приняло новое решение — выдвинуть Орджоникидзе на пост народного комиссара Рабоче-Крестьянской Инспекции (РКИ) и председателя Центральной Контрольной Комиссии партии (ЦКК). Этот пост был фактически свободен в течение трех месяцев, поскольку после смерти Ф. Э. Дзержинского (в июле 1926 года) нарком РКИ В. В. Куйбышев был назначен председателем Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ).

Кандидатура Орджоникидзе на пост председателя ЦКК утверждалась на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК в ноябре 1926 года. Несмотря на наличие в составе ЦК и ЦКК многих оппозиционеров, в том числе и их лидеров, он был избран лишь при одном голо-

се «против» и шести воздержавшихся. Никто против него не выступал.

Это новое назначение было очень удачным и полезным для партии. Дело в том, что Серго, будучи всегда последовательным сторонником ленинской политики и решительно борясь с оппозицией, проявлял терпимость по отношению к заблуждавшимся, не любил «с кондачка» отсекал членов партии. Он всегда стремился обеспечить единство рядов партии на принципиальной основе, путем обсуждения и убеждения. Выступая на съездах и конференциях партии, на совещаниях, Пленумах, Орджоникидзе, исходя из духа идей Ленина, из его указаний о единстве, всегда старался объективно подойти к рассмотрению того или иного вопроса, не обострять разногласий без нужды, найти способ их разрешения, не давать разногласиям перерасти во фракционную борьбу, не допускать образования различных платформ, не допускать раскола.

У всей партии было мнение об Орджоникидзе как об искреннем стороннике единства партии. И оппозиция видела, что он стремится не оттолкнуть ее от партии, а пытается сплотить с партией. И оппозиционеры не могли не признать честности, принципиальности, правдивости Серго.

Широкие круги членов партии были довольны, что такой человек, как Орджоникидзе, стал во главе ЦКК. В некоторых организациях в то время наспех исключали из рядов партии старых коммунистов, которые шли за оппозицией в результате заблуждения. Серго Орджоникидзе и вся ЦКК (президиум ЦКК состоял из старых, проверенных большевиков, преданных делу единства нашей партии) проводили часы и дни, чтобы убедить их, вывести с неправильных позиций, приобщить к общей партийной линии. В большинстве случаев это удавалось в отношении средних и низовых руководящих работников. Конечно, лидеров оппозиции «переделать» уже было нельзя.

Орджоникидзе страстно боролся с оппозицией. На XV партсъезде он говорил: «Революция, товарищи, не шуточное дело. Если только начать расшатывать партию, которая ведет революцию, то всякую революцию можно загубить. Об этом много раз говорил Владимир Ильич. И мы не имеем никакого права допустить, чтобы нашу партию и нашу революцию расшатывали. А действия оппозиции как раз к этому ведут»¹.

С начала своего революционного пути, до последних дней жизни Серго боролся за победу ленинских идей, за чистоту ленинской линии, за высокую честь коммуниста. Он был и остался для нас воплощением совести нашей партии.

КОМАНДАРМ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В 1929 году на V Всесоюзном съезде Советов был утвержден первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР. Встала задача мобилизовать все силы для осуществления этой программы индустриализации страны. Серго ждала новая работа. В ноябре 1930 года он был назначен председателем ВСНХ.

В ходе выполнения первого пятилетнего плана стали ясны сложности и трудности управления бур-

но растущей промышленностью в новых условиях. Было решено выделить из ВСНХ легкую промышленность, создав наркомат легкой промышленности, и пищевую промышленность, передав ее наркомату снабжения. В самостоятельный наркомат выделена была также и лесная промышленность. Остальная часть ВСНХ — все отрасли тяжелой промышленности — вошла в наркомат тяжелой промышленности. Наркомом стал Орджоникидзе.

В этот период страна приступила к строительству крупнейших предприятий — гигантов черной металлургии, мощных шахт, новых машиностроительных заводов. Важнейшей задачей было вырастить кадры производственно-технической интеллигенции, способной освоить передовую технику и эффективные формы хозяйственного руководства предприятиями.

Нужно сказать, что эти практические задачи социалистической индустриализации не были новыми для Серго, когда он стал у руля руководства промышленностью. Еще будучи наркомом РКИ, Орджоникидзе приобрел значительный опыт, связанный с руководством промышленностью. РКИ обязана была проверять деятельность хозяйственных организаций, использовать инициативу масс для исправления недостатков в хозяйственной работе, бороться с бюрократизмом, исправлять ошибки, одергивать зарвавшихся работников.

Орджоникидзе провел много обследований в различных отраслях промышленности. Участвуя лично в таких проверках, он глубоко вникал в суть вопросов промышленности. Серго особенно много сделал для вскрытия недостатков в тяжелой промышленности, которая находилась в центре внимания партии. Он не только выявлял те или иные болячки, но и находил способы их лечения.

Авторитет государственного и партийного деятеля, которым пользовался Серго у всей партии, его личное обаяние вызвали большой подъем у работников тяжелой промышленности, рождали желание сделать все возможное для выполнения и перевыполнения пятилетнего плана. Первая пятилетка была выполнена досрочно.

Работники тяжелой промышленности очень гордились своим наркомом. Вскоре в партии за Серго утвердился почетный титул командарма тяжелой промышленности. Право на это он доказал всей своей деятельностью.

С именем Серго неразрывно связано создание первых гигантов индустрии — Магнитки и Кузнецка, Балхаша и Уралмаша, Горьковского автозавода, Волгоградского тракторного завода. Эти стройки осуществлялись очень быстрыми темпами. Тогда не было ни экскаваторов, ни бульдозеров, ни самосвалов — лишь проворные грабари с кирками и лопатами приезжали на эти стройки с разных концов страны. Это был процесс не только создания крупнейших новостроек, но и выковывания армии строителей нашей индустрии.

Серго многое сделал для создания нового стиля хозяйственного руководства. Он не любил бумажных методов управления, не увлекался большими приказами, длинными докладами. Он предпочитал живое общение с простыми людьми, с местными руководителями, внимательно выслушивал их, быстро ориентировался в положении дел, подхватывал инициативу.

Он умел подбирать талантливых людей, особенно из молодежи, умел создавать им нужные условия, чтобы они все силы отдавали творческой работе, оказывал им поддержку, проверял и подтягивал, когда они ошибались.

¹ XV съезд ВКП(б), декабрь 1927 г. Стенографический отчет, Госполитиздат, М., 1961 г., том 1, стр. 436.

Серго выдвинул молодого инженера коммуниста Завенягина директором крупнейшего Магнитогорского металлургического комбината. Деятельность Завенягина сразу подняла работу комбината.

В одном из выступлений Орджоникидзе говорил о молодом инженере Тевосяне, который стал во главе треста «Спецсталь», что он хорошо вытягивает эту работу.

Серго выдвинул Лихачева, талантливого организатора, директором Московского автозавода.

Все трое они впоследствии были наркомками, двое из них — заместителями Председателя Совнаркома, а затем Совета Министров Союза ССР.

Орджоникидзе считал не только своей обязанностью, но и потребностью побывать в течение года на нескольких заводах в различных районах страны: в Донбассе, на Урале, в Москве, в Ленинграде. Его посещения оставляли глубокий след в сознании людей, с которыми он соприкасался. Он подтягивал отстающих, подхватывал местный почин, распространял успешный опыт одного предприятия на другие. Большое значение придавал он рационализаторам из рабочих и инженеров, интересную инициативу всегда выносил на всесоюзную арену. Особо активную роль сыграл Орджоникидзе в становлении и развитии стахановского движения. Он высоко оценил работу забойщиков Стаханова и Изотова. Движение, начавшееся в угольной промышленности, захватило все другие отрасли хозяйства. Серго умел поднимать энтузиазм народных масс, направляя его на решение практических задач.

Уделяя главное внимание первоочередному развитию тяжелой промышленности, Серго не упускал из поля зрения и нужды обеспечения оборудованием отраслей, производящих продукцию народного потребления. Пищевая промышленность в этот период становилась на путь коренного технического перевооружения, перехода от отсталого дореволюционного промысла на индустриальные рельсы. Она остро нуждалась в развитии отечественного пищевого машиностроения. Орджоникидзе оказывал неоценимую помощь в этом деле, и мне, руководившему в то время пищевой промышленностью, не раз приходилось пользоваться его энергичной поддержкой в практическом решении вопросов пищевого машиностроения.

Серго неустанно внушал, что повседневный труд на предприятиях — дело величественное, вдохновляющее, вовсе не обыденное. Он положил начало многому хорошему в производственной жизни — тому, что, принимая новые формы, развивается и сегодня. Он упорно боролся за культуру производства, за чистоту в заводских дворах и цехах, за лучшую организацию рабочего места, за внедрение и развитие хозрасчета, за повышение рентабельности производства. В замечательных починах современных новаторов живет начатое им дело, в которое он вложил свой ум, свою душу, свой организаторский талант. Выращенные им кадры тяжелой промышленности сыграли огромную роль перед войной, во время войны, да и в период послевоенный.

До последних дней своей жизни, в течение более шести лет, оставался Серго во главе армии работников советской тяжелой индустрии. За эти годы промышленность СССР, развитию которой партия и правительство уделяли неослабное внимание, выросла в мощную надежную базу индустриализации всего народного хозяйства, стала прочной основой обороноспособности страны. Во всем этом заложена

неустанная творческая энергия Орджоникидзе, отдававшего себя целиком служению партии и народу.

Серго был внимателен и терпелив в беседах с людьми, хотя бывал вспыльчив и терял спокойствие, физически не вынося лжи, фальши, интриганства. И те, кто с ним честно и преданно работал, становились его неразлучными друзьями. Серго умел проявить какую-то по-особенному любовную заботу о товарищах, часто забывая о себе.

Характерен для натуры Серго следующий пример. Недавно я познакомился с одним письмом, которое Орджоникидзе направил 13 февраля 1928 года Ворошилову, бывшему тогда наркомом обороны. В этом письме Серго просил в связи с предстоящим награждением участников гражданской войны представить к награде восемь участников борьбы на Кавказе, которые, по его мнению, заслужили награды, но не были в свое время ими отмечены.

В их числе был и Сергей Миронович Киров, которому Серго посвятил в этом письме такие строки: «...он тебе известен не меньше, чем мне. Тем не менее скажу несколько слов о нем. С. М. Киров, во время осады Астрахани, был тем лицом, которое вдохновляло отрезанных со всех сторон защитников Астрахани. В 1920 г. по приказу РВС Кавфронта тов. Киров на нашей старой галоше летит из Астрахани в Св. Крест и двигается с войсками на Сев. Кавказ. В 1921 г. т. Киров во время нашего движения на меньшевистскую Грузию сам сопровождал через Мамиссонский перевал, где войска расчищали себе дорогу в снегу 1 1/2 саж. глубиной. Только присутствие тов. Кирова могло вдохновить почти полураздетых и босых красноармейцев на такой подвиг»¹.

Из этого документа я впервые узнал, что именно Орджоникидзе в связи с 10-летием Красной Армии представил и меня в числе других товарищей к награждению боевым орденом Красного Знамени. Ни Серго, ни другие товарищи никогда мне об этом не рассказывали. Сам Орджоникидзе был награжден орденом боевого Красного Знамени весной 1921 года, когда были закончены бои гражданской войны и страна переходила к мирному социалистическому строительству.



Георгий Константинович Орджоникидзе, или просто Серго, как его называли еще в подполье, живет в памяти народа как выдающийся партийный и государственный деятель, как руководитель ленинского типа. Он оставил нам много хороших заветов, сохранивших всю свою силу и по сегодняшний день для нашей молодежи, да и не только для молодежи. До конца своей жизни он был глубоко принципиальным, правдивым и честным коммунистом-ленинцем. Это был преданный, поистине благородный рыцарь Революции, убежденный знаменосец большевистской правды. Он любил говорить: «Партийность — прежде всего и раньше всего». Обращаясь к молодым тогда командирам промышленности, он учил их: «Ни на секунду не успокаиваться на достигнутом, ни на секунду не зазнаваться, ибо зазнайство, товарищи, только выражение невежества».

Имя Серго всегда пользовалось огромным авторитетом и популярностью в партии и народе. Это — светлое имя в истории Коммунистической партии, в истории Советского государства.

¹ Из архива Г. К. Орджоникидзе. 1928 г., исх. № 51.





Евгений
Винокуров



Когда нацизма вырвалась машина
Впервой на стратегический простор,
То в ползунках лиловых из сатина
Я выполз в коммунальный коридор.
...Вопил Бриан. В Мадриде шла
коррида.
В Нью-Йорке ждали повышенья цен...
Я выползал. Соседские корыта
Поблескивали матово со стен...
Еще чуть-чуть — и ринуться армадам!
Смотри: забился кубик за комод!..

...Я подымусь на бруствер.
С автоматом.
И сразу мне землей глаза забьет.

Природа

Я мало отдаю внимания природе...
Ведь только заглядишь — и был таков!
Что скажешь в миг паденья о пилоте!
Он круглых не оценит облаков!

Что вспомнит он,
вернувшийся на базу,
Когда бензин машина дососет!..
Спасенному от смерти водолазу
Не до подводных радужных красот!

Хрипит солдат, из лужи муть глотая,
Макая в воду камень сухаря.
Что в том ему, что где-то золотая
Над ним стоит никчемная заря!!

А колокольчик все звенит
поддужный.
Сидит поэт, все степь пред ним
вдали!..
Природу зло и честно равнодушной
Еще в минувшем веке нарекли.

Дон Кихот

— Я против всемирного зла
негодую!
— А я твой печальный предвижу
исход!..
В трактире тщедушную шею худую
Из панциря вытянул Дон Кихот.
Сидим и беседуем: так, мол, и
так-то...
Мы друг против друга — вопрос
на вопрос:
— Да разве же можно идти против
факта!
— А что, против совести разве
попрешь!
— Неужто до старости бегать
в задирах!
— А что, если совесть вдруг станет
черна!..

...И Санчо, скребя, засмущавшись,
затылок,
Нам ставит, хихикнув, плетенку вина.



Страшные нужны усилья,
Подвиг злой и озорной,
Чтоб распластанные крылья
Приподнялись за спиной.

Сколько ж, сколько ж надо пыла!!
Смертным потом пропотеи!..
Надо, чтобы проступила
Нынче кровь из-под ногтей.

...На губах предстанет пена...

И тогда внизу, вдали
Вдруг растают постепенно
Очертания земли.



Когда вода была уже по пояс,
Когда фрегат, треща, пошел ко дну,
Скатал тетрадку в трубочку Камоэнс,
Ботфорты скинул и ушел в волну.

...Груз не тяжел, но с ним поди
поплавай!
Все без него бы пара пустяков:
Он левою гребет рукой, а в правой,
Нырняя, держит трубочку стихов...

...А где мой берег! И не видно
глазом!
Но предо мною берег бы возник,
Когда б стихи я бросил! Знают —
разом
Я б спас себя! Но я на что без них!!

Бабуин Яр

● Анатолий Кузнецов



Рисунки Саввы Бродского.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

ПОБЕГ ИЗ МОЛЧАНИЯ

Тысячу лет назад Вышгород был большим и славным городом, соперником самого Киева — «матери городов русских». Ныне это — самое обыкновенное село на высоком днепровском берегу.

У меня было с собой десять тысяч, и поэтому я решил избегать людных мест: теперь самые людные места стали и самыми опасными. Дегтярев сторго-

вал жеребчика у вышгородского мужика, моя задача была привести его, передав деньги; не раз так делал. Я пошел не по шоссе, а напрямик через луга, мимо речки Почайны, через рощу Дубки, и не пожалел, потому что не встретил ни души.

Вот странно, пройдя полсела, я уже издали увидел немецких солдат, почувствовал неладное и мог бы повернуть обратно и скрыться, но я продолжал идти прямо на них, пока голова панически и бестол-

ково что-то соображала и ничего не могла сообщить.

Они остановили меня деловито и обыкновенно. Один отечески взял меня за плечи, повернул и повел обратно, другой продолжал ходить по дворам.

Сразу я все понял, сразу подчинился и послушно протопал во двор избы, где на завалинке и просто на земле сидели десятка полтора мужиков, стариков и мальчишек со спокойными, безразлично-отсутствующими выражениями лиц. Я на всякий случай уточнил у мальчишки моих лет:

— В Германию облава?

— Угу,— шмыгнул тот носом,— всех забирают...

Прислонясь спиной к стене, я рассеянно подумал: теперь Дегтярев решит, что я его деньги украл. Правда, потом, когда придет мать, поднимет тревогу, он поймет, что со мной беда, но в это время я буду уже на пути в Европу. Пришло это и ко мне. Облава была спокойная. Солдаты ходили по ха-

там, брали всех мужчин, и все приходили спокойно, молча, как и я. Теперь уже никаких документов не смотрели, годы рождения не играли роли. Все чисто и благородно: попался так попался — и заткнись.

Выгнали всех на улицу, образовалось подобие колонны военнопленных, мы повалили серой массой, взбивая пыль, а конвоиры шли по сторонам с винтовками под мышкой. И я невольно поймал себя на том, что иду, уставясь в землю, что меня именно гонят. Соседи толкались, я почувствовал себя не столько человеком, сколько животным в стаде.

Нас пригнали на колхозный двор, окруженный постройками, и остановили среди остатков ржавых волокуш и сеялок. Конвоиров было немного, и они, видно, до того привыкли к людской покорности, что даже не вошли во двор, а двое остались у ворот, наблюдая за двором, другие же куда-то пошли.

Мужики уселись длинным рядом под стеной избы, похожей на сельсовет. В поисках местечка я дошел до угла ее, увидел булыжник и устроился на нем, правда, он был на солнце, но тень всю заняли. Хотя какой я был разнесчастный, но от деревенских немного отличался одеждой. Все они были какие-то серые, оборванные; сидели молча, тупо. Ощущение того, что и я частица стада, не оставляло меня, но внутренне я этому противился.

Когда солдаты увидели что-то на улице и стали смотреть, я встал с камня и зашел за угол. Помогился. Там были в кривые разные кирпичи и железяки. Натываясь на них и неосторожно зваяя, я добрался до плетня и с треском полез через него. Был уверен, что сейчас выйдут солдаты, пристрелят или вернут.

Налево вниз шел проулок, а справа он выходил на главную улицу, по которой я пришел, — выходил широко, целым плацем, посредине которого стояла неогороженная хата. И я по-идиотски пошел на главную улицу, обходя хату слева, потому что я по этой дороге пришел и ее знал. Право, я был какой-то невменяемый и надеялся только на свое счастье.

И все было хорошо, охрана у ворот не увидела меня, хотя могла бы увидеть. Но впереди показались

те солдаты, что уходили. Я поднял с земли прут, надвинул на лоб картузик, как можно больше сжался, уменьшился и, беззаботно пошмыгивая носом, прошел мимо солдат, которые между собой говорили. Когда я отошел уже метров двадцать, они, видно, передумали и окликнули:

— Эй, малёнки!

Я продолжал идти, будто не слышал.

— Эй! — заорали сзади.

Тут я побежал. Защелкали затворы, но улица была кривая, я долетел до поворота, вытаращив глаза, топоча, как мотоциклет. Раздался выстрел, лично МОЙ ВЫСТРЕЛ, за ним почти одновременно еще два МОИХ ВЫСТРЕЛА, но они, очевидно, палили по направлению моего пути, но видеть меня уже не могли.

Всем телом, особенно затылком, ощущая возможность пули, я бежал и петлял по улочке, она круто пошла вниз, там был какой-то мосточек, я еще хотел забиться под него, но, пока подумал, ноги сами перебежали, и я оказался среди огородов, а за ними узнал луг, по которому пришел сюда.

И опять — именно потому, что я пришел сюда именно этой дорогой, — я побежал по ровному лугу. На нем меня можно было пристрелить, как зайца, но я побежал, потому что мысли не успевали за ногами, чесал, не оглядываясь, в слепом ужасе, досадуя только, что медленно бегу.

Они за мной не погнались! Не знаю почему. Я бежал, пока не потемнело в глазах, до самых Дубков, упал в траву и корчился, заглатывая воздух... «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...»

Вышгород остался далеко позади, в голубоватой дымке. Я напился из болотца воды, намочил голову и понемногу пришел в себя. Живой! Ах, пертурбация-девальвация, живой! Взгляди, гады? У вас винтовки, у меня ноги, расчудесная жизнь, сколько раз уже меня спасали только ноги! Слава вам, ноги, сохраняющие жизнь! Она, жизнь, мне нужна. Нет, я теперь знаю, зачем я живу, околачиваюсь под рундуками, обгладываю кости — я расту, чтобы ненавидеть вас и бороться с вами, заразы, превращающие мир в тюрьму и камнедробилку. Слышите вы, заразы?

ГОРИТ ЗЕМЛЯ

Ночью меня разбудила мать:

— Скорее вставай, посмотри в окно!

Окна были кроваво-красными. Над железнодорожной насыпью летели искры, и гребень ее был в бледных языках пламени. Молниеносно я подумал: что же там может гореть? Рельсы, камни, земля, там еще закопаны наши патроны... Это было невероятно, как мутный сон, неправдоподобно, но горела земля.

— Завод горит, — сказала мать.

И все стало на свое место. Завод «Спорт» был за насыпью сейчас же, и его не было видно. До утра мы не спали, мама ходила, хрустя пальцами, думала, что теперь будет. Она там, на заводе, топила печи.

Это был обыкновенный механический завод, но перед войной специализировался в основном на кроватях и спортивных снарядах. Теперь рабочих на нем было мало, и работа шла поговорке «не бей лежачего»: все собирались себе где-нибудь в

углу, ляды точили, а один стучал по железу молотком, чтобы шеф слышал, что люди работают.

Чинили всякую дрянь: одно чинят, другое ломают; каждый делал себе и выносил для обмена зажигалки, совки, ведра. Говорят шефу: станок сломался, на свалку надо; он верит, волокут на свалку. Инженер давал дурацкие чертежи: строят, клепают, приваривают, потом оказывается, надо все наоборот, давай сначала. Это потому, что шефу самому до лампочки был этот завод. Он оборудовал себе в конторе отличную квартиру, закрывался с дочерью завхоза Любкой, а завхоз в честь этого воровал все, что хотел.

Мать убирала конторские помещения, носила бумаги, топила печи, и, так как ей нужно было приходить раньше всех, ее рабочий день продолжался пятнадцать часов.

Зимой мы вставали в три часа ночи, брали санки и шли к заводу, там я залезал в простенок и ждал.

Мать выносила связку поленьев, и я тащил их домой, отчаянно труся, как бы не попасться на глаза патрулю. А что же делать? Если бы не эти дрова, мы бы замерзли к чертям собачьим.

Наутро после пожара начались расследования и допросы. Накануне привезли сотню армейских саеней на оковку, затянули в цех, и вот ночью они-то и загорелись. Сгорели все главные цеха; завод, можно сказать, перестал существовать. Шеф бился в истерику, всех допрашивали много дней. В ту ночь на заводе вроде никого и не было, кроме сторожа, а когда он увидел пожар, то один уже ничего сделать не мог.

Случай был самый рядовой. Немцы сидели в переполненном ненавистью Киеве, как на вулкане. Каждую ночь что-то горело, взрывалось, кого-то из фашистов убивали... Горел комбикормовый завод за трамвайным парком, и наутро, говорили, на стене была надпись мелом: «Это вам за Бабий Яр. Партизаны».

Взорвался мост через Днепр на Дарницу, на станции взрывались паровозы, то и дело слышалось: там крушение, там эшелон взорвался на минах. На Печерске горел огромный эсэсовский гараж. В Театре музкомедии были заложены мины к офицерскому собранию с участием Эриха Коха, и лишь случайно немцы обнаружили их за пятнадцать минут до взрыва. То там, то здесь в городе появлялись листовки, и только и разговоров было, что о партизанах, как называли подпольщиков.

Прямо напротив нашей хаты произошло вот что. На насыпи тревожно, часто загудел паровоз. Остановился товарный состав, и горели вагоны. Среди них была платформа с сеном: с нее началось. На насыпь полезли полицейские, примчались, звеня колоколами, пожарные машины, но вагоны сгорели; поволокли их остовы.

Партизаны освобождали целые районы и устанавливали Советскую власть за Ирпелем и Дымером (это совершал свой рейд Ковпак). Из-за Дымера кубарем прилетали сельские полицейские и старосты, рассказывали, что идет партизан тьма-тьмушая и нет от них никакого спасения. Поднималась паника. Киевских полицейских формировали и отправляли на Иванков, и перед отъездом они напивались, плясали и плакали, что живыми им не вернуться.

Немцы и полицейские ходили теперь только группами и с винтовками.

Двор куруневской полиции изрыли траншеями, возле дома выстроили мощный дот с амбразурами на улицу.

В немецких сводках появились сплошь «оборонительные бои», «контрнаступления», «успешные отражения», «сокращения фронта» и «противнику удалось на незначительном...». Оставив город, они об этом не сообщали, но писали так: «Бои идут западнее Орла». Все понятно, завидуем Орлу.

Сколько раз я замечал, что, как бы газеты ни изворачивались, какую бы убедительную ложь ни представляли, народ всегда, непременно знал правду. Это только напрасный труд и самоутешение для тех, кто изворачивается. Научился советский народ читать между строк, слышать между слов, и есть телеграф народный. Например, ни слова не было объявлено о разгроме под Сталинградом, но решительно все стало известно. И что было под Москвой и что под Курском.

А когда 29 сентября 1941 года расстреливали подряд всех свидетелей Бабьего Яра, Куруневка знала подробности уже через какой-то час после первых выстрелов.

Они были везде, эти неуловимые партизаны, но как к ним попасть, что мне делать? У меня все внутри переворачивалось при одной мысли, что наступают наши, что они идут и эта тьма сгинет. На другой день после пожара состава на насыпи я сидел один в хате, полез искать тетрадку, развел чернила, обдумал и написал на листке следующее:

ТОВАРИЩИ!

Красная Армия наступает и бьет фашистов. Ждите ее прихода. Помагайте партизанам и бейте немцев. Скоро им уже капут. Они знают это и боятся. И полицейские, их собаки, тоже трясутся. Мы расплатимся с ними. Пусть ждут. Мы придем!

Да здравствуют славные партизаны!

Смерть немецким оккупантам!

Ура!

Партизаны.

На оставшемся свободном пространстве я нарисовал пятиконечную звезду, густо затушевывая ее чернилами, и воззвание приобрело, как мне казалось, очень героический вид. Особенно это мужественное «ура!», которое я сам придумал, остальное же я копировал с подлинных партизанских листовок, которых много перевидал за это время. Выдрал второй листок, готовый писать сто штук. Но у меня ноги сами прыгали: скорее бежать и клеить — на мосту: там все проходят и прочтут.

Едва дописал второй листок, положил его к печке, чтоб сохла густо залитая звезда, развел в рюмке клейстер, намазал, сложил листок вдвое и, сунув за пазуху, держа двумя пальцами, побежал.

Как назло, все шли прохожие, поэтому, когда я дождался момента, листовка подсохла и склеилась. Панически стал ее раздирать, слюнил языком, приплюснул косо-криво к цементной стене моста — и с отчаянием бьющимся сердцем быстрым шагом ушел. Вот и все. Очень просто.

Открыл дверь и остановился: в комнате стояли моя мать и Лена Гимпель и внимательно читали второй экземпляр моего труда, оставленный у печки. Я независимо прошел к вешалке и снял пальто.

— Вообще ничего, — сказала Лена. — Но раз ты решил писать листовки, не оставляй их на видном месте. Еще успеешь сложить голову. Слово «помогайте» пишется через «о», а «оккупанты» — через два «к», за что тебе только грамоты в школе давали? Звезда и «ура» — глупо, сразу видно, что мальчишка писал.

— Толик, — сказала бледная мама, — тебе в Бабий Яр захотелось?

Голову они мне мылили немного, но веско. Сказали, что такие дураки-одиночки, как я, годятся только, чтобы без толку погибнуть. Что мое — впереди. Что я должен расти и учиться.

Я учился.

И вот наконец весной начались бомбежки — эти праздники, это торжество, это великолепие.

Советские бомбардировщики прилетали по ночам. Сперва гулко громыхали зенитки, в небе вспыхивали искры разрывов, горохом взлетали вверх красные трассирующие пули. Черное небо дрожало от воя невидимых самолетов.

Окна дедовой комнаты выходили на север, поэтому он прибегал на нашу половину, мы открывали окна, вылезали на подоконники в ожидании налета, и он не задерживался.

Ярко вспыхивали сброшенные на парашютах осветительные ракеты. Они висели в небе, с них словно стекал сизый дымок, и в их призрачном свете лежал весь город — башни, трубы, крыши, купола Софии и Лавры... Самолеты гудели и кружили долго, выбирали, обстоятельно прицеливались, потом ухали бомбы, иногда близко. Одна ляпнула прямо на кожевенный завод Кобца.

Мы их не боялись: ни одна советская бомба никогда не падала на жилье, но только на заводы, мосты, казармы, станции. Всем было известно, что партизаны сперва сообщают объекты, а при налетах подают сигналы фонарями. Для этого нужно было сидеть рядом с объектом и мигать, вызывая бомбы на себя.

Так утверждали у нас на Куреневке, и похоже было, что это действительно так.

2 мая 1943 года в Оперном театре должен был состояться большой концерт. У входа толпились

празднично настроенные немцы; подкатывали машины, высаживались генералы, дамы; солдатня шла на балконы.

Налет начался, когда стемнело. Бомба попала прямо в Оперный театр, пробила потолок и врезалась в партер. Сплошное невезение с этими театрами: она не разорвалась, единственная советская бомба из сброшенных на Киев, которая не разорвалась, чтоб ее черт взял! Она только убила человек семь немцев в партере, так что кусочки их полетели даже на сцену, да вызвала страшную панику. Погас свет, все кинулись в двери, лезли по головам, обезумевшая толпа выкатывалась и разбегалась от театра, артисты в гриме и костюмах бежали по улицам.

Так продолжалось все лето. Казалось, сам воздух насыщен каким-то нервным напряжением, тревогой, ожиданием. Пожары и взрывы расширялись.

Произошло немаловажное событие для меня: 18 августа 1943 года мне исполнилось четырнадцать лет, я стал совершеннолетним — подлежащим официально угону в Германию и прочее.

ОТ АВТОРА

Прошло столько времени, что мне кажется, будто пишу я все это не о себе, а о другом юном человеке. Смотрю на этого мальчишку со стороны, изучаю его, пытаюсь понять, и если пишу «я», то только потому, что по странной случайности сам был им. Некоторые куски своей жизни я теперь просматриваю с интересом зрителя кино, такой же посторонний, как и вы, читатель.

Я не ставил перед собой задачу показать во всей полноте историю оккупации Киева и его борьбы. Об одной только борьбе его можно написать несколько романов, вдвое больше этого. Кроме известных фактов, есть еще много неизвестного: в фондах Киевского исторического музея хранятся удивительные материалы, еще ждущие открывателей, да и только ли в этих фондах!..

Но я пишу не историческую книгу, я пишу исследование характера, вполне современное. Потому что человеку всегда свойственно хотеть быть ЧЕЛОВЕКОМ, расти, мужать и бороться за право жить и мыслить.

Я думаю о том, какая все-таки потрясающая штука наша человеческая жизнь. Вот ее душат, гнут, узурпируют, втискивают в рамки, изобретенные мозгами идиотов, ни в грош не ценят ее. А она есть, жива, проявляется, сопротивляется злу и фашизму. Я пишу не об уникальном, не о выдающемся ге-

рое — о самом обыкновенном мальчишке. И когда Лена Гимпель сказала: «Еще успеешь сложить голову», — я понимал, что это вполне возможно, был готов на это и знал, за что.

В этом смысле мне хочется поглубже разобраться в моем герое, он мне кажется довольно характерным для своего времени и поколения.

Ведь именно это поколение сейчас приходит к управлению жизнью, явившись оттуда, с войны, до глубины потрясенное ею, и быть не может, чтобы это не отразилось на всей его деятельности. Верю, что было, рассказываемая мною, не только любопытна, но только заставит кого-то вспомнить себя, но и поможет себя понять.

Нам чрезвычайно нужно себя понять: откуда мы пришли, где мы и что мы есть. Хотя бы для того, чтобы не повторяться.

Внешне все судьбы различны. Пока мой герой спасался от облав и изобретал свою первую наивную листовку, другие уже отлично воевали на фронте, или в партизанских отрядах, или в подполье, третьи штамповали патроны, а четвертые мирно ходили в школу. Но для всех шел один двадцатый век, дымы Бабьих Яров стлались над миром, война колотила лучшую нашу пору — юность, и это было то общее, что наложило отпечаток на всю нашу жизнь.

БАБИЙ ЯР. ФИНАЛ

Всех заключенных концлагеря Бабий Яр 13 августа 1943 года выстроили на центральном плацу. Въехали военные грузовики, с них стали прыгивать эсэсовцы в касках, с собаками.

Все поняли, что это — начало конца. На днях лагерь бомбили советские самолеты. Бомбы легли точно по периметру — ясно, была цель

разрушить заграждения. Проволока была повреждена только в одном месте, ее быстро починили, но фашисты, видимо, поняли, что лагерь пора ликвидировать.

Вынесли стол, ведомости, картотеки, выстроили всех в очередь, которая стала двигаться мимо стола. Ридер смотрел в списки — и отправлял одних

заклоченных налево, других направо. Сперва отобрали ровно сто человек особо опасных политических. Эсэсовцы закричали: «Вперед! Бистро! Бистро!» — посыпались удары, залаяли собаки, и сотня вышла за ворота.

— У нас там в землянках вещи! — кричали они.

— Вам ничего не надо, — отвечали немцы.

За воротами приказали разуться. Обувь оставили и дальше пошли босиком вниз. Давыдов оказался в этой сотне, он шел в первых рядах и подумал: «Ну вот, пришло наконец...»

От обвалов в Яру образовались террасы, поросшие густой травой. По узкой тропинке сотня спустилась на первую террасу. Здесь была новая, только что выстроенная землянка.

В Яру было шумно и многолюдно, немцы буквально кишели вокруг, много эсэсовцев с бляхами, офицеры в орденах, заехали даже автомобили, лежали кучи разных инструментов.

Сотню остановили и спросили: «Есть здесь слесари, кузнецы?»

Кое-кто назвался, их отделили и увели за невысокий земляной вал. Сотню поделили на пятерки и тоже стали частями уводить за этот вал. Никакой стрельбы не было.

У Давыдова появилась надежда, что это еще не расстрел. Он смотрел вокруг во все глаза, но ничего не понимал.

Наконец повели и его за вал. Там стояли наковальни, лежали вороха цепей, и всех заковывали в цепи. Сидел у наковальни тучный, флегматичный немец среди кузнецов-заклоченных, тоже заклепывал. Давыдов попал к нему. Цепь была примерно такая, как в колодцах. Немец обернул ее вокруг щиколоток, надел хомутики и заклепал.

Давыдов пошел, делая маленькие шаги. Цепь причиняла боль. Потом она сильно разбивала ноги, и кто подкладывал под нее тряпки, кто подвязывал шлагом к поясу, чтоб не волочилась по земле.

Когда все были закованы, вдруг объявили обед и дали очень плотно поесть. Суп был настоящий, жирный, сытный.

Всем выдали лопаты. Звенящую цепями колонну привели в узкий отрог оврага и велели копать.

Копали долго, до самого вечера, выкопали большой неровный ров, точно не зная, зачем он, но было похоже, что немцы что-то ищут: все время следили, не докопались ли до чего-нибудь. Но ни до чего не докопались.

На ночь сотню загнали в землянку. Там была крошечная тьма, только снаружи слышались голоса очень сильной охраны. Перед входом в землянку фашисты соорудили вышку, установили дисковый пулемет и нацелили на вход.

Утром следующего дня опять вывели в овраг. Было так же многолюдно, стояли крик и ругань.

Высокий, стройный, элегантный офицер со стеклом истерически кричал. Ему было лет тридцать пять, его называли Топайде, и, прислушиваясь, Давыдов изумленно понял, что именно Топайде руководил первыми расстрелами в 1941 году.

Вчера Топайде не было, он только прислал план карьеров с захоронениями, но здешние немцы в нем не разобрались и напутали. Он истерически кричал, что все балбесы, не умеют разбираться в планах, не там начали копать. Он бегал и топал ногой:

— Здесь! Здесь!

Стали копать там, где он показывал. Уже через полчаса показались первые трупы.

К Топайде немцы обращались почтительно, а между собой то ли всерьез, то ли иронически называли его «инженер по расстрелам». Теперь он стал

инженером по раскопкам. Весь день он носился по оврагу, указывал, командовал, объяснял. Его лицо время от времени передергивала сильная и неприятная гримаса, какой-то нервный тик, и весь он казался сгустком сплошных нервов, пределом истеричности. Он не мог прожить минуты, чтобы не кричать, не метаться, не бить. Видно, его «инженерство» так просто не обошлось даже ему самому.

Работа закипела. Вокруг оврага немцы спешно строили щиты и маскировали их ветками, в других местах делали большие искусственные насаждения. Ясно было, что происходящее здесь — глубочайшая тайна.

Дорога из города к Яру была перекрыта. Приезжали грузовики с материалами, немецкие шоферы сходили далеко от оврага, за руль садились охранники и вводили машины в Яр. На грузовиках везли рельсы, каменные глыбы, дрова, бочки нефти.

Так начался заключительный этап Бабьего Яра, попытка вычеркнуть его из истории. Сначала дело не клеилось, Топайде метался, неистовствовал, и все немцы нервничали, заклоченых отчаянно били, несколько человек пристрелили.

Из лагеря поступали новые партии на подмогу; через несколько дней заклоченых стало триста, потом еще больше; они были разбиты на бригады, и их размеренная, продуктивная работа являла собой образец немецкого порядка и методичности.

Давыдов побывал в разных бригадах. Сначала от страшного запаха, от всей этой возни с трупами он чуть не терял сознание, потом привык.

ЗЕМЛЕКОПЫ раскапывали ямы, обнажая залежи трупов, которые были сизо-серого цвета, слезались, утрамбовались и переплелись. Вытаскивать их было сущее мучение. От смрада немцы зажимали носы, некоторым становилось дурно. Охранники сидели на склонах оврага, и между сапог у каждого из них стояла воткнутая в песок бутылка водки, время от времени они прикладывались к ней, поэтому все немцы в овраге были постоянно пьяны.

Землекопы водки не получали, им было трудно, но, как уже сказано, постепенно привыкли, работали, позвякивая цепями.

КРЮЧНИКИ вырывали трупы и волокли их к печам. Им выдали специально выкованные металлические стержни с рукояткой на одном конце и крюком на другом. Они были, кстати, сделаны по рисунку Топайде.

Топайде же после многих экспериментов разработал систему вытаскивания трупа, чтобы он не разрывался на части. Для этого следовало втыкать крюк под подбородок и тянуть за нижнюю челюсть, тогда шел он целиком, и так его волокли до места. Иногда трупы так крепко слипались, что на крюк налегали два-три человека. Нередко приходилось рубить топорами, а нижние пласты несколько раз подрывали.

ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ - «ГОЛЬДЗУХЕРЫ» имели клещи, которыми выдергивали золотые коронки; они осматривали каждый труп по дороге к печи, снимали кольца, серьги, у одетых искали в карманах монеты, ценности, и так за день эта бригада набирала одно-два ведра золота. Над каждым из них стоял часовой и присматривал, чтобы они золото не воровали или не выбрасывали в песок.

СТРОИТЕЛИ занимались сооружением печей. Под сильной охраной они ходили через весь овраг на противоположную сторону — на еврейское кладбище, где немцы указывали, какие гранитные памятники ломать.

Заклоченные разбирали памятники, несли в овраг. Плиты выкладывались рядами. На них, опять под руководством Топайде, строилась продуманная и

технически совершенная, полутораметровой высоты печь с трубами для тяги, сложными ходами, решетками. Она набивалась дровами, сверху на решетку клались тела головами наружу. Второй ряд укладывался для перевязки накрест, затем следовал слой дров и так далее, пока не вырастал штабель высотой в три метра и со стороны в шесть метров.

В штабель входило примерно две тысячи убитых. Чтобы их укладывать, ставили трапы, как на стройках, и носили по ним. Готовое сооружение обливалось из шланга нефтью, которую из бочек нагнетал специально поставленный компрессор.

КОЧЕГАРЫ разводили огонь снизу, а также подносили факелы к рядам торчавших наружу голов. Политые нефтью волосы сразу ярко воспламенялись — для этого и клали головами наружу. Штабель превращался в сплошной гигантский костер. Жар от него шел невыносимый; в овраге и далеко вокруг стоял сильный дух паленых волос и жареного мяса. Кочегары шуровали длинными кочергами, какие бывают у металлургов, потом сгребали жар и золу, а когда печь остывала, они ее чистили, заново перебирали, меняли прогоревшие решетки и снова подготавливали к загрузке.

ТРАМБОВЩИКИ имели дело уже с золой. На гранитных плитах с кладбища они обыкновенными трамбовками должны были размельчать недогоревшие кости, затем кучи золы просеивались сквозь сита, чтобы опять же таки найти золото.

ОГОРОДНИКИ назывались так потому, что, нагрузив золу на носилки, под конвоем разносили ее по окрестностям Бабьего Яра и рассеивали по огородам. Этим было лучше, чем другим: они могли нарвать на огородах картошки, приносили ее в Яр и пекли в костровых банках на жару, оставшемся после сожжения.

А обычные расстрелы в Бабьем Яру шли своим чередом, как и раньше, но убитых уже не закапывали, а сразу бросали в печь. Иного «доходягу» из заключенных, который уже не мог работать, тоже бросали. Живым.

Немцы очень торопились, только и слышно было: «Бисстро! Бисстро! Шнель!» Но трупов была тьма. Давыдову пришлось работать на разгрузке ямы, в которой было ровно четвереста тех самых заложников, которых расстреляли по приказу Эбергардта. Раскапывал он ямы с сотней, с тремя сотнями заложников. Все было в точности, и все знал Топайде, он показывал места, он абсолютно все помнил¹.

Из города часто приезжали газенвагены с живыми людьми, они подъезжали прямо к печам, и только здесь включался газ. Из кузова неслись глухие крики, потом бешеный стук в дверь, затем все затихало, немцы открывали дверь, и заключенные принимались разгружать. Люди были теплые, мокрые от пота, может, полуживые. Их клали в костер. Давыдов помнит, как некоторых в огне корчило, они вскидывались, как живые.

Однажды прибыла душегубка с женщинами. После обычной процедуры, когда утихли крики и стуки, от-

крыли дверь, из нее вышел легкий дымок, и оказалось, что машина битком набита голыми молодыми девушками. Их было больше ста, буквально спрессованных, сидящих на коленях друг у друга. У всех волосы были завязаны косынками, как это делают женщины, идя в баню. Может, их сажали в машину, говоря, что везут в баню? Пьяные немцы смеялись и объясняли, что это официантки из киевских кафе. Возможно, они знали слишком много. Когда Давыдов носил их и укладывал в штабель, из ртов выходил воздух с легким храпом, и тоже казалось, что они живые.

Приезжали какие-то очень важные чины на шикарных машинах. Кричали на работавших в Яре немцев, что дело медленно подвигается. Людей не хватало, и несколько раз прибывших в душегубке выпускали, тут же ставили на работу.

Стали водить за пределы оврага, в соседний противотанковый ров метров двести длиной. Он оказался доверху набитым трупами командиров Красной Армии — это заключенные поняли по форме, полевым сумкам, биноклям. Их было, наверное, тысяч двадцать пять — тридцать. Посылали раскапывать ямы и в Кирилловской больнице.

В Бабьем Яру была слышна отдаленная канонада из-за Днепра. Заключенные знали, что последний костер будет зажжен для них. Немцы их вообще всерьез за людей не принимали и на утреннем построении докладывали: «Триста двадцать пять трупов построены». Это был их юмор.

Заключенные не брились, им не давали воды, многие едва стояли на ногах, были покрыты ранами, гарию и трупной гнилью. Долгими ночами все они думали одно: можно ли убежать?

Был там один человек, по имени Федор Ершов, бывший партийный работник. Именно он и начал серьезную подготовку восстания. Просто он говорил с теми, кто работал рядом, образовались группы заговорщиков, при всяком удобном случае обсуждали варианты побега.

Одни предлагали прямо среди дня броситься на охранников, выхватить автоматы и, отстреливаясь, уходить враспыленную. Федор Ершов был против этого варианта: все в цепях и слишком слабы против дюжих немцев.

Среди заключенных были бывшие шоферы. Один из них, Владимир Кукля, предлагал захватить пару машин, которые привозят дрова, а то и прямо душегубку — и пробиваться на них сквозь охрану. Это был почти фантастический план: слишком долго пришлось бы ехать по Яру и дальше по городу среди немцев и полиции. Это было бы просто героическое самоубийство.

Группа, которую гоняли в Кирилловку, попросила разрешения бежать самостоятельно: у них там была относительно малая охрана. Возможно, им это и удалось бы, но Ершов сказал: «Вы убежите и поведете остальных. Нет, подниматься всем в одно время».

Однако в дальнем углу землянки сговорились молодые парни и, ни с кем не советуясь, начали отчаянно рыть подкоп, чтобы ночью удрать. За ночь они не успели сделать, а днем охранники все открыли и сейчас же расстреляли весь тот угол, семнадцать молодых ребят.

Был одиночка, который совершил прямо днем чрезвычайно дерзкий побег. Никто не знал его фамилии. Он работал в сторонке, вдруг прыгнул в овраг, побежал и скрылся в одном из отрогов, ведущих к кладбищу. Поднялась стрельба, тревога, рабо-

¹ Фамилия Топайде никогда не упоминалась среди осужденных фашистских преступников. Возможно, он погиб, хотя тыловые гестаповцы, как правило, умели спасаться и скрываться. Поэтому не исключено, что он и жив... Избавился ли он от своего нервного тика? Вообще конкретно за Бабий Яр никто не был осужден, судьба немецкой и русской администрации лагеря Бабий Яр во главе с Радомским и Ридером неизвестна.

ты были прекращены, десятки немцев побежали за ним — и не нашли. Очевидно, он расцепил кандалы и потому смог быстро убежать. В ярости немцы убили в этот день двенадцать заключенных и расстреляли собственного офицера, начальника караула, ответственного за охрану бежавшего. По отрогам оврага расставили пулеметы.

Варианты побега отпадали один за другим, наконец было принято предложение Федора Ершова: вырваться из землянки и наброситься на охрану ночью. Дело было тоже очень рискованное, но темнота по крайней мере давала надежду, что хоть некоторые уйдут.

Землянка была глубоким бункером с узеньким ходом круто вниз. На этот вход в упор нацелен пулемет с вышки. Вокруг землянки по ночам охрана до шестидесяти человек. Землянка не имела окон, поэтому единственная дверь была решетчатая, чтобы проходил воздух и люди не задохнулись. Часовые время от времени светили сквозь нее фонариками, проверяя, все ли в землянке спокойно. Решетчатая дверь запиралась огромным висющим амбарным замком.

Пьяной охране было скучно простаивать ночи, и случалось, что вдруг заключенных поднимали, вывели наверх и при свете прожекторов устраивали инсценировку расстрела. Страшная это была «шутка». Люди верили всерьез. Потом охранники смеялись и загоняли всех обратно. Ночи были темные, сырые и туманные...

Кто-то настойчиво предлагал дожидаться очередной шутки и, сорвав кандалы, наброситься на охрану. Но ведь цепи быстро не снимешь, для этого надо их подготовить, чтоб едва держались. А как знать, будет ли в эту ночь шутка?

Уму непостижимо, но в этой землянке среди обреченных оказался свой предатель. Это был какой-то бывший начальник полиции из Фастова. В Яр он попал за какие-то чрезвычайные дела, лебезил перед немцами, настороженно прислушивался к разговорам, и не исключено, что гибель семнадцати парней была его работой. Если бы он узнал о плане побега, он сейчас же выдал бы. Могли быть и другие, которым не стоило доверять, и потому Федор Ершов был очень осторожен.

Вот почему в план побега было до времени посвящено всего человек пятьдесят. Уже одно это помешало бы провести дружно восстание во время очередной шутки.

— Надо открыть любой ценой замок, — говорил Ершов. — Затем всем объявить, подготовиться, снять цепи и только тогда вырываться. Спасемся, ребята! Пусть спасется половина, четверть, пять человек, но кто-то должен выйти, пробиться к нашим и рассказать, что здесь делалось.

Работы в овраге уже напоминали большое строительство. Немцы пригнали строительные машины: экскаватор, бульдозер. Они стрекотали целыми днями, вскрывая рвы и заравнивая, когда они опорожнялись¹.

Здесь нужно обратить внимание на одно важное обстоятельство. Заключенные находили много разных и неожиданных предметов, особенно среди тел

убитых в сорок первом году — ведь те люди собирались уезжать. Поэтому у разных мастеровых были при себе инструменты, с которыми они не расстались до самого рва, у женщин — ножницы, шпильки и прочее. Попадались перочинные ножи, пилки для ногтей, стамески. Кто-то однажды нашел флакон одеколона «Красная Москва», он хотел выпить, но его уговорили побрызгать в землянке.

В карманах убитых часто были и ключи: от квартир, сараев, кладовых, иногда целые связки ключей.

Всех посвященных в план Ершов разбил на десятки, и каждый десяток готовил свою часть восстания. Группа, которой был поручен замок, собирала ключи. Перебрали десятки и сотни ключей. И вот один из заключенных, по имени Яков Капер, нашел ключ от амбарного замка. Какой-то смертник 1941 года принес его в кармане в Бабий Яр, не подозревая, что в 1943 году благодаря ему спасутся другие смертники. Ключ был подходящим по величине, входил в замок, но не открывал его.

Днем заключенных загоняли в землянку на обед, и дверь при этом не запирали. Кто-нибудь заслонял собой замок, а Владимир Кукля быстро пробовал ключ. Это делалось так быстро, что сами заключенные не замечали.

Среди заключенных не было воров, для которых подогнать к замку ключ было бы плевым делом. Тут был все честный народ, и, хотя достали напильник, Владимир Кукля чрезвычайно долго мучился и подтачивал, горюя, что никогда не занимался этим делом раньше. И все-таки он подогнал. Об этом знали несколько людей.

Тем временем другие десятки собирали, пронесли в землянку и прятали в стенах все, что мало-мальски могло помочь снять цепи или служить оружием.

Был там парень — из Закарпатья — Яков Стеюк, отлично образованный, знал несколько языков, в свое время учился в Берлине. Он говорил:

— У нас получится даже лучше, чем мы думаем. Ребята, смелее! Вы не представляете, какие немцы трусливые и суеверные. Мы должны вырваться со страшным криком, визгом, свистом, и, когда мы кинемся на «ура», они испугаются, они обалдеют, вот увидите.

Ключ был готов, оружие собрано, ночь проходила за ночью, но заключенные все выбирали удобный момент. Как назло, охрана усилилась, по ночам все время приходили, светили, проверяли. Ершов нетерпеливо предлагал:

— Сегодня!

Но большинство было за завтра. Сегодня — это значило решиться и идти почти на верную смерть, и вот не хотелось сегодня умирать: «Эх, а вдруг завтра выпадет случай удобнее!»

Это вышло почти случайно — совпадение дат, — но именно 29 сентября, ровно два года спустя после первого расстрела в Бабьем Яру, побег состоялся. Некоторые полусуеверно надеялись, что в этот день повезет.

Вернулась команда, ходившая в Кирилловскую больницу. Один из конвоиров ее, пожилой немец, фамилии его не знали, известно только, что он из Лотарингии, тихо шепнул заключенным:

— Морген капут.

Неизвестно, зачем он предупредил. Просто так, по доброте? Заключенные и сами увидели, что маскировочные щиты вокруг оврага снимают, инструменты складывают.

На ночь доставили в землянку два больших бака с вареной картошкой. И это тоже было необычно.

¹ Бабий Яр под именем «Баукомпании» («Строительная компания») числился у немецких властей в документации, имел счет в банке, потому что все эти материалы, нефть, дрова, машины должны были как-то финансироваться. Скупые немцы были верны себе.





Пропадала она у немцев, что ли, так они решили накормить заключенных напоследок?

— Все. Сегодня ночью я открываю дверь, — сказал Кукля.

Федор Ершов передал по цепочке посвященным необычную команду: «Сегодня идем, крепче нервы!»

Ждали глухой ночи. Где-то часа в два Кукля просунул руку сквозь решетку, вставил ключ и стал поворачивать. Он сделал один поворот, и замок громко щелкнул. Кукля успел выдернуть руку и отошел весь в холодном поту.

Охранники услышали щелчок, забеспокоились, опустились к двери и посветили. В землянке все лежали на нарах. Немцы ушли, разговаривали наверху, чиркали спичками.

Замок открывался в два поворота. Кукля шепотом признался, что у него дрожат руки. Его подбадривали:

— Володя, давай, давай!

А он бормотал:

— Ну, братцы, пусть хоть охрана сменится! А то если у меня и второй раз звякнет...

Правда, охрана должна была скоро смениться. Дождались этого. Кукля опять просунул руку. Очень долго открывал, и замок не звякнул. Кукля буквально упал на руки товарищей.

— Будите всех, расковыряться, вооружаться! — приказал Федор Ершов.

В землянке поднялась суета. Нервы у многих не выдерживали, все заторопились, поднялся сильный шорох, звяканье, царапанье, разговоры. Все, словно обезумев, спешили разными стамесками, ножами, ножницами разжать хомуты на цепях. В тишине же казалось: грохот поднялся. Охранники сейчас же кинулись к дверям.

— В чем дело?

За всех ответил по-немецки Яков Стеюк:

— Да тут драка за вашу картошку!

Все в землянке затихли. Немцы стали хохотать. Конечно, им было смешно, что заключенных утром стреляют, а они дерутся, чтобы набить животы картошкой.

Прошло минут пятнадцать. Дверь тихо раскрыли настежь.

— Дави, ребята! — кричал Ершов.

И в узкий ход по десяти ступенькам ринулась толпа с диким ревом, визгом и свистом.

Стеюк оказался прав. Первые несколько секунд не раздавалось ни выстрела. Немцы оторопели. Наверх успели выскочить десятки заключенных, когда наконец застрочил пулемет. Только собаки набросились сразу.

Была темнота и туман. Ничего невозможно было разобрать, где что делается: кто рвал руками собак, кто бил немца молотком по голове, катался по земле сцепившись.

Немцам трудно было стрелять: они не видели, где свой, где чужой. Пулемет не удалось захватить. В небо полетели ракеты. По всему Бабыему Яру понеслась стрельба. Заключенные побежали врассыпную. Стрельба стояла, как на фронте. По дорогам и тропкам помчались мотоциклисты.

Давыдов бежал землянку, столкнулся с одним, другим немцем, кинулся в темноту — и слепо уперся прямо в лагерь. Он шарахнулся в сторону, на огородах встретил еще одного заключенного, и они побежали по направлению к каким-то хатам. Уже начинался рассвет, стрельба продолжалась, где-то ездил машины, мотоциклы, неслись крики, ругань.

Давыдов с товарищем увидели женщину, что-то делавшую у дома.

— Тетя, спрячьте нас!

Она посмотрела, ей плохо стало.

— Господи! Вы с Яра! У меня дети, меня расстреляют!

Выбежала ее сестра.

— Идите в курятник под солому!

Они залезли под солому, спрашивают:

— А вы не выдадите?

— Нет, хлопцы, мы вам не сделаем плохого.

Потом она пошла, сварила борщ, принесла им целую кастрюлю — настоящего, пахучего, украинского борща¹.

«ГОРОДА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ»

Когда грохот пушек бывает прекрасным

Из-за Днепра доносился непрерывный гул канонады. Горели Дарница, Сваромье, Вигуровщина и Труханов остров.

Вокзал был забит эвакуирующимися немцами и фольксдойче. Ехали беженцы из Ростова, Харькова и Полтавы, рассказывали, что немцы, отступая, оставляют мертвую землю.

Взорвали мосты через Днепр, причем вместе с выгнанными с того берега жителями: тела падали в Днепр попеременно с фермами, говорят. Ночью советские разведчики подобрались на Трухановом острове к пляжу и кричали: «Освободим вас, уже скоро!»

Шли отчаянные аресты; расстреляли Грабареву на Зверинце, который, как оказалось, остался совсем не случайно.

С заводов вывозили все, что можно снять, в конторах отвинчивали дверные ручки и оконные шпингалеты, снимали унитазы. Фашисты обстоятельно смазывали удочки.

Из 330 заключенных спаслось всего четырнадцать человек. Федор Ершов погиб. Почти все спасшиеся ушли в Советскую Армию, многие погибли на фронте.

В. Ю. Давыдов сейчас живет в Киеве, работает начальником строительного участка.

¹ Имена этих сестер — Наталья и Антонина Петренко. Давыдов потом навещал их на Куреневке на улице Тираспольской, где они, кажется, живут и сейчас.

Прежде чем выходить на улицу, я тщательно осматривался. Как-то раз высунулся да как кинусь обратно: гнали большую толпу стариков, пацанов, среди них были мальчики даже поменьше меня.

Дед понес на базар тряпки, разные рваные валенки, калоши выменять на пару картошек или горсть пшена. Его остановил солдат и забрал мешок. Дед обиделся и некоторое время шел за солдатом. Кучка немцев жгла костер, и солдат вытряхнул в него тряпки, а с мешком куда-то пошел. Ему не нужны были калоши, нужен был мешок.

— Злыдни, злыдни! — прибежал дед, рыдая. — Чтоб на вас погибель, пропасница, огонь и гром господен!

А гром, только не господен, рокотал. Люди останавливались на улице, вылезали на крыши, глядели за Днепр на восток, слушали канонаду потрясенно, торжественно.

Со стороны оврага плыли полосы темного жирного дыма, и иногда, когда ветер их нагонял, трудно было дышать из-за запаха горелых волос и мяса.

Города оставляются без препятствий со стороны врага

«УСПЕШНЫЕ НЕМЕЦКИЕ АТАКИ НА СЕВЕРНОМ И ЮЖНОМ УЧАСТКАХ ФРОНТА»

Главная квартира ФЮРЕРА, 25 сентября.
...На среднем Днепре враг во многих местах безрезультатно атаковал предмостные укрепления на восток от реки. На север от Черкасс немецкие танковые силы разбили небольшие вражеские челны.

На центральном участке фронта на восток от узлового железнодорожного пункта Унеча и на юг от Смоленска происходят упорные оборонные бои, которые еще продолжаются. Без всяких препятствий со стороны врага оставлены города Рославль и Смоленск после полного разрушения и уничтожения всех важных военных сооружений¹.

Немецкие войска в эти дни располагаются там на свои позиции. Чтобы предотвратить ненужные жертвы среди населения и чтобы гарантировать боевые действия без препятствий, боевая зона в городе должна быть освобождена... Я надеюсь, что население в собственных же интересах выполнит это распоряжение без сопротивления.

Всех, кто после указанного времени без особого пропуска будет находиться в запретной зоне, ожидает суровая кара...².

Советские войска форсировали Днепр и вышли на правый берег. Канонада поднялась с севера, из-за Пуши-Водицы и Вышгорода.

Распоряжение о выселении из боевых зон касалось половины города, и наша хата тоже оказалась в зоне. Дед и мать заспорили: уходить или нет?

Дед снес в погреб все вещи, какие оставались, потом мы ведрами наносили в сарай земли, засыпали пол с люком, утрамбовали, притрусили сеном и трухой.

Потом мы взяли старые доски и крест-накрест забили окна. Дед взял торбу и пошел к своему другу Садовнику, а мы с матерью раздвинули сено в углу сеновала, устроили там тайник, сложили туда сухари, ведро с вареной картошкой, бидон с водой и стали ждать дальнейших событий.

К НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА КИЕВА

Западный берег Днепра и г. Киев всеми средствами будет защищаться немецкими войсками. Районы г. Киева, находящиеся вблизи Днепра, станут боевой зоной.

Величие Дегтярева

У земли очень приятный запах. Всегда я любил ее рыть. И в «окопе» сидеть приятно: дышишь, смотришь на сырые стенки со следами лопаты. А особенно весной, когда с граблями, с плугом, с лопатой выходишь на отдохнувшую землю, начинаешь ее ворошить, — голова кружится от радости, от этого запаха... Смело скажу, что люди, никогда не сжигавшие прошлогоднюю ботву, не копавшие до седьмого пота под дымом костров, которым запах

земли ничего не говорит и которые в суете и заботах его забыли, лишены многого прекрасного.

Так что когда Дегтярев попросил на прощание вырыть ему яму под вещи, я закопался в землю так глубоко, что меня пришлось вытаскивать за рукоятку лопаты. Помог я ему и замаскировать эту яму черной землей и стеблями, но окончательно скрыть ее могло только время.

Подвода, доверху нагруженная барахлом и запрятанная

¹ «Новое украинское слово», 26 сентября 1943 года.

² Там же. Приказ генерал-майора и боевого коменданта Вирова.

женная кобылой Машкой, из которой Дегтярев не успел сделать колбасу, стояла во дворе. Старуха плакала, Дегтярев бодро покрикивал на нее. Он решил уходить из Киева на запад.

По улицам тащились люди с мешками, двуколками и детскими колясками, покидая боевую зону. Машка понуро волокла воз в гору мимо Приорской церкви в чистое поле, куда я когда-то ходил за елками: Дегтярев не решился ехать через центр, а пробирался глухими, одному ему известными путями, чтобы выйти на шоссе далеко от города.

— Что нос повесил? — спросил он. — Это тебе в диковинку, а я всю жизнь эти пертурбации смотрю. Все бывает. Скоро увидишь красных.

— Куда вы едете?

— Мир большой, и колбасники в нем не пропадают!

— Подождали бы...

— Чего? То, что в газете пишут, — фунт дыма. Красные уже под Вышгородом. Мне что, я б, конечно, мог остаться, какими-нибудь складами у них заворачивать, но лучше, когда сам себе хозяин.

Окраины кончились, телега со скрипом ползла по полю. Телеграфные столбы с ржавой обвисшей проволокой уходили к горизонту.

— Давай прощаться, — сказал Дегтярев. — Наверно, уже не увидимся... Бывай. Держись.

— А вы куда?

— За меня ты уж не беспокойся. Смотри!..

Он распахнул на себе обтрепанный мешковатый пиджак. Под пиджаком была широкая рубаша, вся в узлах, как в бородавках. Сперва я ничего не понял. Но Дегтярев тряхнул узелком, и в нем звякнули монеты. Узлы шли неровными рядами по груди, животу, уходили под мышки и за спину. Эта рубаша стоила миллионы, даже на те деньги скорее всего миллиарды.

Дегтярев напряженно улыбался, любяся произведенным впечатлением.

— Пощупай!

Я потрогал тяжелые, как камни, узелки. Кто-то же должен был оценить его богатство, его труды, его величие! В этих узелках был его пот, мой пот, его жены пот, все убитые кони. Наконец он смог показать кому-то все свое золото, потому что я оставался, не знал, куда он едет, и не смог бы донести, нам вообще никогда уже не суждено было увидеться, и вот он похвалился мне, а потом хлестнул Машку и бодро зашагал рядом с телегой, вдоль столбов к горизонту.

Попадаюсь — не попадаюсь

Идя, задумавшись, обратно, я разглядел, что вляпался, но было уже поздно: улица была оцеплена немецкими солдатами — выводили из дворов мальчишек и стариков.

Я немедленно применил свой коронный номер: сжался, скукожился, надвинул картуз и пошел прямо на солдат. Наверное, это выглядело забавно, потому что они приняли меня с удовольствием, будто только этого и ждали, даже засмеялись. У забора стояла группа мужчин, меня присоединили к ним. Я сразу стал соображать насчет побега.

Солдаты, продвигаясь по улице, подгоняли нашу толпу вместе с собой. Трое с винтовками стерегли, остальные прочесывали улицу, ходили по домам. Все мы молчали, и так нормально, тихо прошли дворов пять или шесть, когда в очередном доме грохнуло, по-моему, полетела мебель, ударил выстрел. Наши конвоиры занервничали, беспокойно заглянули во двор.

Я взял с места так, словно собрался поставить мировой рекорд. Пока бежал до поворота, так и слышал ушами назначенный мне выстрел... Молниеносно обернулся — увидел, что вся толпа разбегается кто куда.

Выстрелы поднялись, когда я уже был за поворотом, и не знаю, чем там все кончилось, потому что чесал добрых километра два, прибежал к Гороховским, ворвался к ним и забился за шкаф.

Дома был один Колька. Он деловито выслушал мой рассказ, сообщил, что мать и бабка понесли вещи в церковь и там собрались старухи со всей Приорки, собираются сидеть и молиться, пока не придут наши. Жорку бабка отвела в погреб священникова дома, его не выпускают на улицу, чтоб не схватили. А ему, Кольке, четырнадцати нет, гуляет себе, гранаты вот добыл...

— Где?

— У немцев наворовал. Осторожно, заряженные! Лимонки.

Я так и вцепился в гранаты. Немецкая лимонка — действительно как лимон, только побольше, с голубой шляпкой. Если шляпку отвинтить, она повиснет на шнурке, теперь дергай шнурок и кидай.

— Дай мне пару! — попросил я.

— Бери, только пошли еще наворуем.

Я подумал. Еще от облавы страх не прошел, но и очень уж нужно оружие. А, была не была, ноги у меня на мази.

— Ну, стань рядом, — сказал я.

Колька стал. Мы были одинакового роста, он лишь чуть тоньше.

— Ну разве видно, что мне четырнадцать?

— Ни черта не видно, — утешил Колька.

Мы нагло перелезли забор училища ПВХО, опять битком набитого солдатами, и пошли по его двору, как по своему собственному.

Солдаты выглядывали в окна, скучали, пилакали на губных гармошках, чистили оружие, и никому до нас не было дела. Один компот — когда они на облате, другой — когда отдыхают.

У черного хода стояла под стеной винтовка, мы на нее посмотрели.

За углом дымила полевая кухня, и толстый, краснолицый повар, не выпуская сигары изо рта, колдовал в котле. Сигара докурилась и ядовито дымила ему в нос, но ему это не мешало. Мы постояли у кухни и посмотрели, но повар обратил на нас внимания не больше, чем если бы перед кухней сидели, облизываясь, дворняжки.

Мы обошли дом по второму кругу, и винтовка все еще стояла под стеной. Мы подошли, цопнули ее и кубарем кинулись в подвал. Там была кочегарка, разрушенная, заваленная кирпичом, соломой, бу-

магами. Один из нас стоял начеку, другой торопливо заворачивал винтовку в солому и бумаги. Когда получились странный, непонятный сверток, мы взяли его за концы, перекинули через забор и перелезли сами.

Колька достал из своих складов патроны, мы перешли через дорогу на пустырь, где до войны строились дома, но теперь были лишь траншеи да остатки фундаментов, с которых растащили кирпичи. Мы развернули винтовку и принялись своим умом догадываться, что да как в ней работает, а когда решили,

что знаем уже достаточно, поставили кирпич и принялись палить.

Выстрелы неслись отовсюду, поэтому мы даже не очень остерегались. Винтовка отдавала в плечо как добрый удар увесистым кулаком, я даже обижался.

Просадили полсотни патронов, и плечи у нас распухли, а рука не поднималась, но мы были счастливы, что вооружены, теперь мы уже были бойцы, мы спрятали винтовку среди фундаментов, постановив, что возьмет ее тот, кому первому она станет нужна для дела.

Страшная ночь

Еще не дойдя до дома, я понял, что дело плохо. Бежали плачущие женщины с узлами и детьми; солдаты с винтовками стояли у наших ворот; высунув языки, на поводках вертелись собаки; мать во дворе, растрепанная, что-то доказывала плачущим голосом. Увидев меня, бросилась:

— Вот он! Сейчас уйдем, сейчас!

Солдаты поверили, пошли выгонять дальше, а мы шмыгнули на сеновал и завалились сеном. Мать тихо ругала меня в темноте. Я ничего не сказал ни про облаву, ни про винтовку, ни тем более про гранаты в моих карманах. Что ее волновать, она и так от всего этого стала сама не своя, постарела, ссутулилась, худеющая, только нос торчит, так что, когда она, в фуфайке и черном платке, ходила по улице, бывшие ученики ее не узнавали, а узнав, поражались: «Мария Федоровна, что с вами случилось?!»

Я отковырял несколько щепок, и получилась амбразура, через которую мог видеть колхозный огород. Уже темнело. Вдруг совсем близко раздалась стрельба — и отчаянный визг или крик, не похожий на человеческий. Мать так и затрепыхалась.

По огороду побежал немец с винтовкой, приложился и выстрелил. И со второго раза тоже попал: раздался хрип, тьяканье, и я увидел, что он охотился за собакой.

Стало тихо, пришла ночь. Мы только пили воду, но не ели. Я заснул, а когда проснулся, увидел в сене слабый холодный свет. Просунул руку и достал кусок гнилой коры, светившийся таинственно и пре-красно. Полночи я развлекался гнилушкой, но от пальцев она стала меркнуть и погасла.

Потом послышался легкий шорох: кто-то лез на сеновал; я похолодел, но подумал, что это, может быть, дед прибежал от Садовника. Послышалось тихое тоскливое «мя-у», я разворошил сено, бросился к Титу, прижал к себе, и стало веселее.

Кошки — ведь они удивительные животные! Они живут среди нас, зависят от нас, но высоко держат свою самостоятельность, и у них есть своя особая,

сложная жизнь, которая только чуть соприкасается с нашей. У них свои календари, свои особые дороги, ходы и узловые места на земной территории, редко совпадающие с нашими. Я всегда уважал личную жизнь Тита, но в эту ночь был безмерно рад, что она соприкоснулась с моей.

Так мы провели на сеновале сутки, не выходя. А потом я проснулся утром и увидел, что ни матери, ни Тита нет. Судорожно раскидал сено. Кто-то шел по улице с мешком. В доме Бабариков напротив ходила и закрывала ставни Вовкина мать. Мне стало легче. Мать увидела меня, деловито позвала со двора:

— Подавай вещи, уходим. За трамвайной линией есть пустая комната. Здесь обносят проволокой.

Я долго искал Тита, звал, кискал, но он как сквозь землю провалился. Пошли без него. По площади, перебегая от столба к столбу, фашист целился в кого-то. Мы сначала так и влипли в забор, а потом увидели, что он стреляет по кошке. И повсюду валялись убитые собаки и кошки. Я мысленно распро-щался с Титом, который тоже оказался неугоден оккупационным войскам Гитлера.

Вдоль трамвайной линии пленные долбили ямы, вкапывали столбы и тянули колючую проволоку. У газетного киоска объявление:

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА. ЗА ПРЕБЫВАНИЕ БЕЗ
ОСОБОГО РАЗРЕШЕНИЯ — РАССТРЕЛ

Как раз напротив этой доски была длинная низкая хата с крохотными оконцами, покрытая разной дрянью, годная разве на снос, в нее со двора вели пятеро дверей с тамбурчиками, и все комнаты были заняты беженцами, но оказалось, что за углом есть еще одна дверь в пустую каморку. В ней была плита, а на полу скамейка. Мы соорудили в углу постель, табуретку возвели в ранг стола, и я пошел искать щепки для плиты.

Шли массы людей

Последнее печатное общение оккупантов с городом Киевом:

УКРАИНСКИЙ НАРОД! МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ!

После двухлетнего восстановления на местах война снова приблизилась. Германское командование желает сохранить свои силы

и потому не боится оставлять определенные районы.

Советское командование, наоборот, совершенно не жалеет командиров и бойцов, легкомысленно рассчитывая на якобы неисчерпаемые людские резервы.

Поэтому немцы со своими резервами выдержат дольше, а это имеет решающее значение для окончательной победы.

Вы теперь понимаете, что германское командование вынуждено принимать меры, иногда тяжело ущемляющие отдельных лиц в их личной жизни.

Но это есть война!

Поэтому работайте старательно и добровольно, когда вас призывают немецкие учреждения.

ГЕРМАНСКИЙ КОМАНДУЮЩИЙ¹

1 ноября, понедельник

В жизни это выглядело так.

Войска начали с дальних окраин. Прикладами, боями, со стрельбой в воздух выгоняли на улицы всех, кто мог и не мог ходить, — на сборы давалась минута, и было объявлено: город Киев эвакуируется в Германию, города больше не будет².

Это было до ужаса похоже на шествие евреев в 1941 году. Шли массы людей — с ревущими детьми, со стариками и больными. Перехваченные веревками узлы, обшарпанные фанерные чемоданы, кошельки, ящики с инструментами... Какая-то бабка несла венок лука, перекинутый через шею. Грудных детей везли по нескольку в коляске, больных несли на закорках. Транспорта, кроме тачек и детских колясок, не было. На Кирилловской уже было столпотворение. Люди с узлами, двуколки, коляски — все это стояло, потом двигалось немного, снова стояло; был сильный гул толпы, и было похоже на фантастическую демонстрацию нищих. Провожających не было: уходили все.

Мы с матерью смотрели в окошко на это шествие. Появление трамваев было феерическим: никогда в жизни не видел такой мрачной череды трамваев.

Оккупанты их пустили, чтобы ускорить вывоз. Они сделали кольцо по Петропавловской площади, пустили большие пульмановские вагоны шестнадцатой линии, ходившие до войны по крутой улице Кирова.

Беженцы загонялись в них. Стоял вой и плач. Лезли в двери, подавали вещи в окна, подсаживали детей. Все это прямо перед нашим окошком. Полной иронически говорил:

— Хотели большевиков встретить? Давайте, давайте, лезьте!

Не ожидая, пока нас погонят собаками, мы взяли узелки и вышли на улицу. Вовремя, потому что подгонялись последние толпы. Метрах в ста, у школы, улицу перегораживала плечо в плечо серо-зеленая цепь солдат, и за ней была пустота, полное безлюдье. Мы подошли к трамваю.

— Пойдем в следующий, — сказала мать, — там свободнее.

Подошли к нему.

— Пойдем в следующий, — сказала мать.

Цепь трамваев тронулась, продвинулась немного и остановилась. Мы бежали от одного трамвая к другому, никак не решаясь сесть. Немцы уже не кричали, не стреляли — просто терпеливо ждали.

Мать схватила меня за руку и потащила обратно к халупе, мы вскочили во двор. Все двери распахнуты, ни души. Мы кинулись в каморку, закрылись на крючок. Мать села на пол, глядя на меня страшными глазами с огромными черными зрачками. Мы сидели, не двигаясь, пока не отчалил последний пульмановский вагон.

За окном темнело, изредка стучали сапоги. Петропавловская площадь была абсолютно пуста, усыпана бумажками и тряпьем. Метрах в пяти от окна стоял на тротуаре немец-часовой с автоматом, я мог видеть его, только глядя наискось, прижавшись к стенке; я замирал, как звереныш, и переставал дышать, когда он поворачивался.

На следующий день прогоняли группки выловленных людей, прочесывали, а часовые, сменяясь, все стояли возле нашего окна, и именно это нас спасло; так спасаются утки, которые иногда безопасно живут под самым гнездом ястреба.

Мы понятия не имели, что будет дальше и что теперь с нашим дедом, живой ли он вообще. Но план я выработал такой. Если нас найдут, то, пожалуй, в комнате стрелять не будут, а выведут во двор; там мы должны прыгать в разные стороны и бежать, только не на улицу, а в глубь двора, дальше по огородам к насыпи; она длинная, поросшая кустами, без собаки искать трудно, но, поскольку собаки будут, надо бежать дальше — на луг, быстро бежать и петлять, на лугу же кидаться в болото, в камыши и сидеть там в воде, в случае чего нырять и дышать через камышину, я читал, что так делали на Руси, спасаясь от татар. Тогда будет полная, прекрасная безопасность.

Я шепотом рассказал матери все это и предложил гранату. От гранаты она отмахнулась, насчет болота задумалась. Мы не говорили, не шевелились. Вокруг была полнейшая тишина³.

«ВОЙНА МИРОВ»

Когда у нас кончилась вода и не стало еды, а часового сняли и город стал абсолютно пуст и мертв, мы вылезли, раздвинули колючую проволоку под самой табличкой «За пребывание — расстрел» и пошли домой через сквер. Сообра-

¹ «Новое украинское слово», 30 сентября 1943 г., после чего газета навсегда перестала существовать.

² Цифры стали известны потом. До войны в Киеве было 900 тысяч населения. К концу немецкой оккупации в нем оставалось 180 тысяч, то есть меньше, чем лежало мертвых в одном только Бабьем Яре. За время оккупации был убит каждый третий житель Киева, но если прибавить умерших от голода, не вернувшихся из Германии и т. п., то получится, что погиб каждый второй.

жали: в этой зоне меньше шансов на прочесывание.

В сквере прежде всего были клумбы и детская площадка с качелями, и можно ли было подумать, что придется красться тут, отвечая жизнью! Мы перелезали, пригибаясь, зорко озирались, готовые в любой момент упасть на землю, но площадь была пуста, и нигде ни звука.

³ Немцы посадили население Киева в товарные поезда и повезли на Запад, но основные массы расползлись и разбежались в Западной Украине и Польше, многие в этом пути погибли, часть оказалась в Германии, некоторые попали даже во Францию.

Мама только руками всплеснула, когда увидела нашу хату. Ворота раскрыты, двери разбиты и сорваны с петель, окно выбито, повсюду валялись книжки, битая посуда, разные мои фотопринадлежности. Немцы были в доме на постое: в комнатах полно соломы, журналы, консервные банки, из шкафа вырваны дверцы, прострелено цинковое корыто.

Под стенкой сарая валялась икона, которую, я точно помнил, дед прятал в погреб. Мы кинулись в сарай. Они не нашли люка, а просто отгребли землю и ломом продолжили дыру в погреб, в ней повисли разные лоскутки материи, лежала старая облезлая лисья горжетка с оторванным хвостом. Мама заломила руки и заголосила.

Я полез в дыру, пошарил, нашел пустой чемодан и лом, которым долбили. Иконы валялись по сараю.

Тут за хламом раздался отчаянный кошачий вой. Когда мы пришли, Тит, видимо, затаился — и лишь теперь узнал. Он вылез, изо всех сил протискиваясь, с вытаращенными глазами, голося жалобным басом, рассказывая, как ему тут было плохо, одиноко, как он боялся и прятался. Он прыгнул мне на грудь, уцепился когтями, лез мордой в рот, стучался лбом — словом, всячески изливал свою радость.

Я сам очень обрадовался, что он такой сообразительный, что все время, пока стояли немцы, они ни разу не попались им в руки. Нам стало веселее, и мы взялись за уборку.

Под водосточной трубой стояла бочка, полная воды, — уже от жажды не пропадем. Порылись в огороде, выкопали несколько забытых картошек. По

огородам прыгали одичавшие кролики, быстрые, как зайцы, но их никак не поймать. Топить мать не решилась: виден дым из трубы. Она поставила рядом два кирпича на земле и развела огонь между ними.

Соседние дома были распотрошены, окна побиты, двери открыты, там на улице лежала табуретка, там книга, ведра, мусор. Я решил обследовать окрестности и направился в дом Энгстремов.

Вошел, наткнувшись на катающиеся по полу банки и кастрюли, тщательно осмотрел полки буфета, шкафчика, заглядывая под кровати — и не ошибся, нашел завалявшийся сухарь.

Это меня вдохновило, я перескочил забор и пошел дальше. В соседнем доме был такой же погром, даже кто-то нагадил на полу. Я обследовал погреб. Спичек у меня не было, я шарил в темноте, наткнулся на скользкие доски и нашел то, что искал: там была кучка старой, порченной картошки, а также несколько морковок. Это уже было грандиозно!

Возвращаясь со своей добычей домой, я по дороге зашел в хату нашей соседки Мишурь, помня, что и у нее был погреб. К сожалению, ее погреб уже был обчищен, только на дне бочки оставалось несколько сплюснутых старых огурцов. Я стал доставать их в укропе и плесени, вытирал о штаны и грыз. Сидел себе в темном сыром углу погреба, хрупал огурцами и думал, что вот стало как в «Войне миров» Уэллса, когда на землю пришли марсиане, потом сами стали вымирать: все разорено, все пусто, и людей нет.

ПРОФЕССИЯ — ПОДЖИГАТЕЛИ

Мы жили в полном одиночестве и безмолвии. Раз или два по Кирилловской проходили немецкие войска, громыли танки, но мимо нашего дома они не шли. Случалось, со стороны Вышгорода постукивали пушки, но, в общем, все притихло, словно никакого фронта не было.

Я изучил все окрестные дома; для удобства, чтобы не показываться на улице, проделал дыры в заборах. Мои трассы, как у кота Тита, проходили по крышам сараев, через лазы и окна: я все искал еду.

И вдруг улица наполнилась шумом, грохотом колес. Мы испуганно притаились: пришла немецкая часть. Во двор быстро вошли офицеры, протопали по крыльцу, распахнули дверь — и испугались. Передний выхватил пистолет, наставил на мать:

— Матке, малчик! Почему? Эвакуир, эвакуир!

Мать стала что-то объяснять. Офицер, не слушая, сказал:

— Паф! Паф!

Мы стояли ни живые ни мертвые. Но они быстро осмотрели квартиру, показали нам жестами: вон.

Солдаты уже распахивали ворота, и во двор въехала роскошная легковая машина с каким-то большим начальством. На нас уже никто не обращал внимания, мы поскорее вышли в сарай.

Развернулась бешеная деятельность: в дом тащили телефонную станцию, радиоприемник; побежали связисты, разматывая катушки проводов; денщики шустро тащили из соседних домов никелированную кровать, диван, горшки с цветами; у ворот то и дело останавливались связные верхом на конях.

У начальства была прорва вещей: женские шубы, валенки, отрезы, даже детская коляска, — видимо, собирался отправлять в Германию. В доме загремело радио, повар сворачивал гусям головы и потрошил.

Пришел солдат и позвал мать на кухню чистить овощи и рубить мясо, она пошла и возилась там до вечера. Прибежала на минутку, принесла мне богатого генеральского супу.

Я решил не лазить и не маячить на глазах, засел на сеновале, забрал с собой всего Пушкина, читал «Евгения Онегина». Раньше принимался пару раз, но что-то он мне не шел в голову, больше нравилось про Пугачева, повести Белкина. А тут вдруг раскормил — и не мог больше оторваться, забыл про сеновал, про всех этих немцев, упивался музыкой:

Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался
Давно...

Читал до ночи, пока мог разбирать буквы, потом лежал, перебирал в памяти эту музыку, горевал, что нет Тита: едва немцы вошли, Тит опять как сквозь землю провалился.

Немцы постояли дня три и снялись так же внезапно, как и явились. Моментально свернули провода и уехали на север, к Пуще-Водице.

СКОЛЬКО РАЗ МЕНЯ НУЖНО РАССТРЕЛЯТЬ?

К четырнадцати годам жизни на этой земле я, с точки зрения фашистов, совершил столько преступлений, что меня следовало расстрелять по меньшей мере вот сколько раз:

1. Не выдал еврея (моего друга Шурку).
 2. Занимался укрывательством пленного (Василия).
 3. Прятал красный флаг.
 4. Нарушал комендантский час.
 5. Не полностью вернул взятые в магазине предметы.
 6. Не сдавал топлива.
 7. Не сдавал излишков продовольствия.
 8. Носил валенки.
 9. Повесил листовку.
 10. Воровал (свеклу, дрова и т. п.).
 11. Работал с колбасником подпольно, без патента.
 12. Бежал от Германии (в Вышгороде).
 13. Вторично бежал (на Приорке).
 14. Украл ружье и пользовался им.
 15. Имел боеприпасы.
 16. Не выполнял приказа о золоте (не донес).
 17. Был антигермански настроен и потворствовал антигерманским настроениям (был приказ о расстреле и за это).
 18. Не явился на регистрацию в 14 лет.
 19. Не доносил о подпольщиках.
 20. Пребывал в запретной зоне сорок дней, и за одно это надо было расстрелять сорок раз.
- При этом я не был членом компартии, комсомола, подполья, не был евреем, цыганом, не попался в

заложники, не совершал открытых выступлений, не имел голубей или радиоприемника, а был ОБЫКНОВЕННЕЙШИЙ, рядовой, незаметный, маленький человечек в картузе. Но я уже НЕ ИМЕЛ ПРАВА ЖИТЬ, если следовать установленным властями правилам: совершил — получай.

Я живу почти по недоразумению, только потому, что в спешке и неразберихе их правила и законы не совсем до конца, не идеально выполнялись.

Сегодня одна фашистская сволочь произвольно устанавливает одно правило, завтра приходит другой мерзавец и добавляет другое правило, пятое и двадцатое, и бог весть сколько их родится еще во мгле фашистских мозгов.

Но я хочу жить!

Жить, сколько мне отпущено матерью-жизнью, а не двуногими дегенератами. Как вы смеете, какое вы имеете право брать на себя решение вопроса о МОЕЙ жизни:

СКОЛЬКО МНЕ ЖИТЬ,
КАК МНЕ ЖИТЬ,
ГДЕ МНЕ ЖИТЬ,
ЧТО МНЕ ДУМАТЬ,
ЧТО МНЕ ЧУВСТВОВАТЬ,
КОГДА МНЕ УМИРАТЬ?!

Я хочу жить, пока не останется самых следов наших!

Я ненавижу вас, фашисты, враги жизни, я презираю вас, как самое омерзительное, что когда-либо рождала земля. Проклятые! ПРОКЛЯТЫЕ! ПРОКЛЯТЫЕ!!!

ПЯТЬ НОЧЕЙ И ПЯТЬ ДНЕЙ АГОНИИ

1 ноября, понедельник

В ночь на понедельник я почувствовал смертельный ужас. Не было прямых поводов. Просто вокруг была глухая тьма, в ней лежал мертвый город. У меня возникло предчувствие, что моя жизнь сегодня кончится.

У каждого из нас бывают моменты, когда мы ясно представляем свою будущую неизбежную смерть. Один раньше, другой позже, но обязательно вдруг с леденяющей душой ясно понимает, что настанет момент, когда вот это мое «я» перестанет существовать, перестанет дышать, не станет этой головы, глаз. И каждый по-своему задыхается на миг, переживая, отбрасывая это отвратительное ощущение, хватаясь за успокоительную соломинку: «Это еще не сегодня, еще далеко».

Впервые я пережил такое ощущение, когда умерла бабка, но это было ничто по сравнению с тем, что навалилось на меня в ночь на понедельник. Дело в том, что я не мог ухватиться за «еще не сегодня», — каждый день могло быть «сегодня». Я задохнулся.

От ужаса смерти кружилась голова. Слез с печки, нащупал ледяными руками коптилку, спички, осторожно, на ощупь, в полной тьме вышел во двор. Словно в ушах заложено — ни лая собак, ни шороха.

Я взял лопату и полез под дом.

Дыра под домом была очень низкая, едва протиснулся в нее, и дальше, между землей и балками, было пространство всего сантиметров двадцать. Но я полз, загребая песок подбородком, распластавшись, держа одной рукой коптилку, другой подтывая лопату, натыкаясь на столбы, битые кирпичи и дохлах, высохших, как пергамент, крыс. Одну я отпихнул с досадой, она покатила со звуком пустой коробки.

Забравшись достаточно далеко, я зажег коптилку и поставил ее в песок. Лицо было в пыли и паутине. Я утерся и, лежа на боку, принялся копать.

Сперва было неудобно, каждую лопату приходилось вынимать, извиваясь. Потом я перекатился в вырытую яму, где мог подняться на локтях, и стал рыть быстрее.

Песок был сухой и сыпучий, но полный обломков кирпича, о которые скрежетала лопата. Скоро я стал мокрый, но зато в яме мог стоять уже на коленях. Она получалась неровная, осыпающаяся, как продолговатая воронка. Я выкопал черепки, четырехгранный гвоздь, в песке попадались газетные обрывки. Здесь все сохранилось так, как при постройке дома при царе, и, наверно, уже не было тех

людей, которые печатали и читали эти газеты или отбрасывали битые кирпичи.

Яма была нужна мне, чтобы спрятаться. Действительно, мне стало спокойнее. Здесь я мог умереть лишь в трех случаях: если меня найдут с собаками, если в дом попадет бомба, если дом будет гореть.

Я думал, что совсем один, и чуть не потерял сознание, когда рядом вспыхнули два зеленых огня. Это Тит пришел и смотрел огромными глазами.

Тогда я, придя в себя, чуть не расплакался от благодарности к нему, радости и тепла. Перетащил его к себе на колени — он не протестовал, наоборот, стукнулся лбом и замурлыкал, и стали мы сидеть, читать обрывки прессы полувековой давности.

Мы внимательно изучили торговое объявление, что какой-то Шмидт имеет честь предложить большой выбор самых лучших швейцарских граммофонов, к ним иголки «Амур» и у него можно приобрести роскошный набор пластинок, а цены дешевые... Почему-то он же занимался скупкой часов, жемчуга и старинных вещей. С ума сойти, были когда-то на земле времена: люди спокойно жили, покупали часы, граммофоны, жемчуг... Трудно поверить. А нам с Титом как раз только и не хватало граммофона.

Я незаметно уснул, скорчившись в песке, а когда проснулся, дыра под домом светилась: значит, был уже день. Кот во сне оставил меня, я замерз, и вообще мне показалось тут не так уютно и безопасно, как ночью. С досок пола свисали целые занавеси грязной паутины. Этот низкий пол давил и угнетал. У меня опять взвинтились нервы: представилось, как дом рухнет и раздавливает меня всей тяжестью. Я по-пластунски, торопясь, пополз к дыре, словно крысы меня за пятки кусали, выскочил.

Чтоб успокоиться, наклонился над бочкой с дождевой водой — попить. В воде плавало много листьев, я их вылавливал, дул на воду; она была сладковатая, очень вкусная. Я еще подумал: если когда-нибудь доживу и увижу настоящий водопровод, все равно буду пить воду дождевую, она мне нравится.

Тут послышались какие-то звуки. Я вздрогнул, поднял голову и увидел, что во двор с улицы входит немецкий солдат с винтовкой, а на улице я успел заметить второго. Инстинктивно и очень глупо я присел за бочкой, отлично понимая, что меня сейчас увидят.

Когда мне показалось, что они в мою сторону не смотрят, я пошел за угол дома, опять-таки глуповато пригибаясь, суеверно не оглядываясь и не видя их, словно при этом и они не должны меня увидеть. Я услышал: «Э... Э!» — выпрямился и остановился.

Солдат смотрел на меня строго. Он был чернявый, коренастый, лет тридцати, мешковатый, в грязных, стоптанных сапогах. Его лицо было очень обыкновенное, будничное, чем-то знакомое — ни дать ни взять слесарь со «Спорта»... Фуражка на нем си-

дела косо, из-под нее лихо выбились темные кудри. Он сказал по-немецки:

— Подойди.

Я сделал несколько шагов вдоль стены.

— Растрелят,— строго сказал он и стал поднимать винтовку.

Она, очевидно, была заряжена, потому что затвором он не щелкнул. Другой немец подошел, взял его за локоть, что-то спокойно-безразлично сказал, это звучало примерно так: «Да брось ты, не надо». (Это я так думал.)

Второй солдат был старше, этакий пожилой дяденька со впалыми щеками. Чернявый ему возражал, на миг повернув голову. В этот миг — я понимал — мне надо было прыгнуть и мчаться куда глаза глядят. Надо же, что именно сейчас мои гранаты лежали в сенах. Это был тот момент, который я предвидел.

Не было времени даже крикнуть: «Пан! Пан! Пождождите!» Чернявый просто поднимал винтовку, на один миг отвернул голову, возражая пожилому, и это был последний миг моей жизни.

Все это я понял, не успев шевельнуться. Это, как бывает, толкнешь локтем графин или цветочный горшок — видишь, как он кренится, падает прямо на твоих глазах, и успеваешь подумать, что надо схватить, что он сейчас, такой еще целый и совершенный, разобьется, но не успеваешь сделать движения, только с досадой и обидой подумаешь, глядя, как он падает, — и он здребезги.

Перед своим лицом я увидел — не в кино, не на картинке, не во сне — черную дырку ствола, физически ощутил, как она, ослепленная, противно пахнет порохом и огнем (а пожилой, кажется, что-то продолжал говорить, но чернявый — горе! горе! — не слушал), и долго-долго не вылетал огонь.

Потом дырка передвинулась с моего лица на грудь, я мгновенно, изумленно до крика понял, что вот, оказывается, как меня убьют: в грудь!

И ружье опустилось.

Я не верил, и уже верил, и ждал, что оно опять начнет подниматься. Пожилой скользнул по мне взглядом, тронул чернявого за плечо и пошел со двора. Чернявый строго сказал мне:

— В-э!

Только тогда я наконец сделался ни жив ни мертв и облился холодным потом. Словно во сне, я пошел за угол на дрожащих, похолодевших, тонких, как проволоочки, ногах, вошел в сени, стал в угол лицом и стоял там, покачиваясь.

Сколько потом ни думал, так до сих пор не понимаю, что это было. Шутка? И пожилой говорил: «Перестань ребячиться, не пугай его»? Или серьезно? И пожилой говорил: «Да брось ты, на что он тебе сдался?» Если шутка, то почему он хотя бы потом, хотя бы чуть не улыбнулся? Если серьезно, то почему не выстрелил?

2 ноября, вторник

Я принадлежу к людям, безоговорочно любящим яркий свет. Мне никогда не бывает чересчур много электрических ламп или чересчур много солнца. Это ни хорошо, ни плохо, а просто, видно, склад характера. Никогда не носил темных очков, потому что чем ярче вокруг, чем ослепительнее песчаные пляжи или снежные равнины, тем мне лучше, настроение выше, а глаза не только не болят, но, наоборот, купаются в море света.

У матери глаза болели. Она закрывала окна занавесками, я открывал. Когда все мучались от летней жары, я только входил во вкус. А в возмущительные осенние пасмурные дни, как подумаешь вдруг, что где-то в этот момент в Крыму, или в Африке, или на островах Тихого океана ярко сияет и привлекает солнце, вдруг такая тоска нахлынет, хоть плачь.

Ненавижу шеренги туч, когда солнце то светит,

то надолго скрывается. Смотришь, смотришь на эту чертову тучу: и когда она пройдет? Вспоминая событие, происходившее много лет назад, я безошибочно скажу, светило ли тогда солнце или был пасмурный день.

Все это к тому, что я очень обрадовался, когда после пасмурных октябрьских дней наконец выглянуло солнце. словно и не меня вчера расстреливали: я стал беззаботный, уверенный. словно раз уж повезло, то такова моя судьба, и я выкручусь дальше.

Я положил в карманы по гранате, теперь уже ученый, не расставался с ними, временами проверял, не отвинчиваются ли шляпки. Смотрел я вокруг зорко, как кошка, готовый в любой момент исчезнуть. Охваченный жаждой деятельности, прорыл траншею под домом, раскопал яму, чтобы в ней могла поместиться мать.

Она слезила, посмотрела, но в восторг не пришла, а предложила спрятать туда чемодан. Я это быстро сделал, еще и зарыл его поглубже, чтобы не сгорел. А в пожаре я не сомневался. Я смотрел на нашу хату, чтобы запомнить, какой она была.

Опять на улице шаги и голоса. Я метнулся к дыре и увидел, как по нашей пустынной площади медленно-медленно двигались кума Ляксандра и кум Миколой.

Старуха вела слепого очень осторожно, оберегая от ямок и булыжников, что-то приговаривая. Он был в своих знаменитых очках с синим стеклом и фанеркой. Когда они обнаружили нас, оба расплакались. Они искали людей.

Мать их сейчас же повела в дом, накормила. Они не умели найти еду и уже два дня ничего не ели.

— Сядзим у пограбе, — жаловалась старуха. — Усе равно памираца, старый, пошли шукаць людзей.

Мать чуть не плакала. Нет, вы только представьте, что такое одиночество в вымершем городе без людей! Она оставляла стариков ночевать, они соглашались, что надо держаться кучей: спастись вместе, погибать тоже. Они мостились, мостились, улеглись было, но вдруг решили, что надо присматривать за своей квартирой в доме ДТС и что им лучше спать там в подвале, они прямо невменяемые были, как дети, отпусти их в подвал, и все.

Мать дала им картошек, которые они приняли с низкими поклонами, и они потащились через площадь обратно. Я сказал:

— Вы пошукайте по дворам, по погребам.

Старуха всплеснула руками:

— Па чужым пагребам? Красть? Гасподь прости твбе, дзетка моя.

Долго я смотрел им вслед с опаской: не подстрелили бы. Очень они были необычные, прямо «не из мира сего». Ушли себе по площади, по этому разрушенному миру, под ручку, беседуя.

Я уже засыпал, когда загудел мотор. По окнам пробежали лучи света. Прямо через огород, упираясь фарами в нашу хату, с грохотом шло что-то, похожее на танк. Не сбавляя хода, оно врезалось в забор, только щепки полетели, и казалось, сейчас врежется в дом, но оно остановилось под стенкой, именно в том месте, где была моя чудесная дыра. Бежать было поздно. Во дворе хлопали дверцы, бодро разговаривали немцы.

Мать, словно кто ее надоумил, бросилась зажигать копилку, чтоб они увидели свет и не испуга-

лись, войдя. Это было правильно сделано: они вытерли даже ноги на крыльце, постучали. Мать откликнулась. Они вошли, энергичные, подтянутые, улыбаясь.

— Гутен абенд! — и показали жестами, чего хотят: — Шлафен, шлафен! Спат.

— Битте, — сказала мать.

Они привычно заходили по комнате, располагаясь, сразу ориентируясь, куда повесить шинель, куда швырнуть сумку. Стали носить из машины одеяла, ящики. Мы тем временем свернули свои постели и пошли на другую половину. Я немного успокоился, вышел во двор и посмотрел, что за машина. Это был вездеход, по-моему, бронированный, к нему была прицеплена пушка.

Немцы бодро переговаривались, доставали что-то из кузова. Минут через десять они застучали на нашу половину:

— Матке, малчик, иди сюда!

Мы вошли. Кроме копилки, которую мать не решилась забрать, горела ослепительная карбидная лампочка, но мигала, и один с ней возился. На столе была гора еды и выпивки. Вино — в глиняных бутылках с пестрыми этикетками, вместо рюмок — железные стаканчики. Немцы показали на стол, как радушные хозяева:

— Битте, битте! Кушат!

Один протянул мне хлеб с ветчиной. Потрясенный, я стал пожирать его, и у меня закружилась голова.

Их было трое. Франц — пожилой, рыжий, очень спокойный. Герман — лет семнадцати, черноволосый, красивый и стройный. Имя третьего я не узнал, он был водитель, направил карбидку, чуть пожевал и свалился от усталости.

Старый Франц налил нам с матерью вина, взбалтывая глиняную бутылку, похвастался:

— Франс, Париж!

Вино было сладкое и пахучее. Мама выпила и сказала Францу, что они хорошие немцы, но другие ходят и хотят нас «пиф-паф».

Франц нахмурился:

— Это не есть зольдат. Это есть бандит, стыдно немецкий нация. Мы есть зольдат-фронтовик, артиллерист. Война — «пиф-паф». Матка, киндер — «пиф-паф» нет.

Герман вынул из бокового кармана губную гармошку, заиграл. Франц все пил вино, с трудом, но упорно подбирал слова, рассказывая, как они зверски устали. Они втроем сначала были в Норвегии, потом воевали в Африке у Роммеля, а сейчас их сняли с того, Западного фронта. И везде им приходилось воевать:

— Майн готт, матка! Здесь война! Там война! Война, война!..

Этот Франц был серьезный, мужественный, словно просоленный, словно насквозь пропахший порохом, я его побаивался. А вот молодой Герман, всего на каких-нибудь года три старше меня, — этот был наивный и симпатичный, как мой Болик, и он разговаривал больше со мной.

— Франц есть фон Гамбург, их ист фон Берлин, — гордо сказал он. — Я уже год воевать!

— А страшно воевать? — спросил я.

Он улыбнулся:

— Говорить правда, — страшно. Франция есть нет очень страшно. Россия есть страшно.

Он немедленно достал фотографию, где снят с отцом: очень солидный дядя в шляпе, с палкой, и

рядом с ним робкий костлявый мальчишка в коротких штанах на фоне какой-то площади.

Мать спросила, где фронт и сдадут ли Киев.

Франц сразу помрачнел. Нет, Киев не сдадут. Фронт здесь, в лесу. Но русские в Киев не войдут. Будет ужасный бой. Уж если перебросили войска из самой Франции, о, тут будет такое! Да, тут будет Сталинград. Он подумал и, посидев немного, повторил, выговаривая довольно четко: Сталинград.

Мама сказала:

— Седьмого ноября самый большой советский праздник.

Он понял.

— Я, я! — воскликнул Франц. — Совет хотеть взять Киев праздник — Октябрь. Но они не взяли, они умирают. Я понимаю, вы совет ожидать, но они Киев не взяли никогда. Пей, матка!..

Мне стало тоскливо. Он не врал — охота ему была! И чуть ли не первые они отнесли к нам, как люди к людям. Это был серьезный разговор. Я спросил:

— А если возьмут? Вы же отступаете?

— Я, я, понимаю, — серьезно сказал старый Франц. — Вы совет ожидать, но я говорил, я альтер зольдат: вы уходите, уходите, пожалуйста, здесь — умирай.

Он стал объяснять, что нам надо бежать куда-нибудь в село, в лес, выкопать ямку, сидеть и ждать, пока отодвинется фронт, а Киев будет разрушен и превращен в мертвую зону, таков приказ Гитлера. Франц стучал себя пальцем в грудь:

— Это я говорю, альтер зольдат Франц. Я воевать еще Польша. Это все так есть: наступление, отступление, русский устал.

Водитель спал на кушетке, не раздеваясь. Герман захандрил и отложил гармошку. Франц пьянел. Мы пошли к себе, слышали, что Франц и Герман еще долго не спали, о чем-то говорили.

Ночью я проснулся от крика. Мать отчаянно звала:

— Толя, Толя! Ох, помоги!

Слышалась возня, полетела табуретка. Сонный, я закричал:

— Кто тут? Кого?

Зажег спичку, сперва ослеп от света ее, потом увидел, как мать борется с рыжим Францем. Он был крепко пьян, бормотал по-немецки, убеждал ее, толкал.

На печи у меня всегда были заготовлены лучины. Я зажег одну и решительно стал спускаться с печки. Рыжий Франц обернулся на свет, пьяными глазами уставился на огонь, задумчиво посмотрел на меня и отпустил мать:

— Криг, матка. Война, нхтс гут, — сказал он. — А!.. — и, шатаясь, пьяный, ударившись о дверь, вышел.

Мать, дрожа, заложила дверь жердью.

— Он пьяный. Он совсем пьяный, — сказала она. — Хорошо, что ты зажег свет. Спи... Теперь ничего. Спи... Спасибо.

Я впервые по-настоящему почувствовал себя мужчиной, который может и должен защищать. Я был разъярен. Я много раз просыпался до утра, прислушивался, проверял гранаты под подушкой, но все было спокойно. Засыпая, я высчитывал дни и часы. До праздника Октября оставалось девятью шесть часов. А вокруг — тишина.

3 ноября, среда

Среда третьего ноября начиналась великолепным утром. Небо было совсем чистое и синее. Я вышел на крыльцо и буквально захлебнулся этой свежестью, чистотой, утренним солнцем.

Вы знаете это состояние, когда утром глядишь на небо, и хочется хорошо прожить этот день, а если это выходной, то тянет спешно собираться, делать бутерброды, заворачивать их в газету и двигать на рыбалку или просто бродить.

Это был день решающего боя за Киев, и сейчас, снова переживая его начало, я опять и опять, хоть убейте меня, не могу понять, почему на этой прекрасной, благословенной земле — с таким небом и таким солнцем, — в среде людей, одаренных умом, размышлением, не просто животных с инстинктами, но в среде мыслящих, понимающих людей возможно такое предельное идиотство, как агрессия, война, фашизм.

Да, да, конечно же, все это понятно, объяснено политически, экономически, психологически. Все много раз разобрано, доказано, и все ясно. Но я все равно НЕ ПОНИМАЮ.

Герман и водитель черпали воду из бочки, умывались, хохотали, плескались. Рыжий Франц ходил помятый, у него, должно быть, после вчерашнего трещала голова; ночного происшествия будто и не было, так он хотел показать.

Мама разложила щепки под кирпичами, стала готовить. При дневном свете вездеход выглядел не страшно, обыкновенный себе вездеход, спереди колеса, сзади гусеницы, кузов под брезентом. Он мирно стоял у дома, глядя на мир внимательно-вопросительными фарами, пахнущий бензином и пропыленный.

Франц и Герман подняли брезент, принялись выгружать из кузова мешки с картошкой. Я крутился рядом и с интересом наблюдал, стараясь угадать, зачем им столько картошки.

Но оказалось, что под картошкой лежат снаряды. Или интендант заставил их возить эту картошку, или они сами где-то прихватили это добро, уж, во всяком случае, не собирались же они торговать ею! Они выгрузили все дочиста, попросили веник и подмели в кузове. Герман развязал мешок, высыпал на землю пуда полтора, подмигнул мне: бери, мол, это вам!

Вдруг затряслась земля.

Это было так странно и неуместно, что я не успел испугаться. Земля просто заходила ходуном под ногами, как, наверное, бывает при землетрясении, в сарае повалились дрова, захлопали двери. Несколько секунд длилось это трясение земли при чистом небе и ясном утре, и тогда со стороны Пущи-Водицы донесся грохот.

Это был даже не грохот, это был рев — сплошная лавина, море рева. Никогда в жизни больше не слы-





шал ничего подобного: словно разрывалась и выворачивалась наизнанку сама земля.

Каким-то толчком меня выбросило на середину двора, я не понимал: что это, отчего, рушится ли мир, идут ли оттуда валы по земле, как цунами? А немцы тоже заметались, тревожно глядя в ту сторону, но за насыпью было только синее небо.

Водитель быстро вылез на кабину, вытянул шею, но тоже ничего не увидел. Тут немцы перекинулись двумя-тремя короткими фразами и быстро-быстро, деловито стали загружать картошку и снаряды обратно. Герман побежал в дом, вынес автоматы. Франц достал каски и роздал всем.

Мама, побледневшая, затопталась вокруг кирпичей, не зная, продолжать ли варить, или она уже не успеет.

Далеко в небе за насыпью, там, над Пущей-Водицей, показались черные точки самолетов. Из-за грохота их не было слышно, только ползли по небу точки, как комарики. Небо вокруг них сразу покрылось белыми хлопьями. Они быстро прошли над Пущей-Водицей, и едва они скрылись, как из-за Днепра показалась вторая волна — чуть ближе. Они прошли среди разрывов зенитных снарядов такой же стремительной дугой, а за ними шла третья волна — еще ближе. Волна за волной они бомбили Пущу-Водицу, захватывая новые и новые дуги, точно и последовательно.

Франц, Герман и водитель оставили вездеход и в касках, с автоматами стояли у сарая, хмуро, собранно наблюдая. Вот дуга прошла по краю леса, вот уже в районе «Кинь грусть», еще ближе, еще две-три таких дуги — и придет наш черед...

Я подошел и стал рядом, прислушиваясь. Артиллеристы тихо переговаривались, не отрывая глаз от хлопочущего, захватывающего представления в небе:

— Ильюшин.

— Да.

— Там есть окоп.

— Поставь прицел.

Рыжий Франц взял меня за плечо и очень серьезно, озабоченно стал говорить, показывая на огород, на мать и махая рукой, мол, бегите, прячьтесь: — Пиф-паф. Совет Ильюшин... «Шварцер Тод»!¹

Я покивал головой, но, не знаю почему, не ушел. Во мне все было напряжено до предела.

В этот момент загорелся один из самолетов. Он медленно, косо пошел и пошел и скрылся за насыпью. В небе вспыхнул купол парашюта — это пилот выбросился, и его понесло ветром на лес. Точечка человека висела под белым кружком парашюта, вопиюще беззащитная среди зенитных хлопков и трасс. Не думаю, чтоб он долетел до земли живой, а если долетел, то попал к немцам. Артиллеристы отнюдь не радовались, глядя на него. Они так же, как и я, хмуро смотрели, как он спускается и скрывается.

Черные, отчаянно ревушие, почти на бреющем полете штурмовики тройками прошли за насыпью. Они и бомбили и стреляли — в общем, шквал огня, — и там взлетели какие-то обломки, доски, земля. Небо было все рябое от разрывов. Следующая волна должна была прийти на нас.

И она пришла.

Они вынырнули из-за садов и домов, отчаянно низкие, чудовищно низкие, прямо достать рукой. Они ревели так, что не слышно было голоса, мчались тройка за тройкой, у каждого сверкал впереди огонь, и последнее, что я запомнил, — это прижав-

шийся к сараю в неестественно распластанной позе рыжий Франц, который направлял вверх трясушийся от стрельбы автомат, но это было, как в немом кино: автомат трясся, а звука не было, потому что стоял сплошной рев, и все качалось.

Меня швырнуло, повалило, я пронзительно закричал, не слыша себя: «Бомбы!» — но вышло что-то вроде «Бо-а-у-ы!», стало темно, стало светло, земля перекинулась, земля встала на место, я обнаружил, что бегу на четвереньках, сейчас ударюсь головой о крыльцо. И самолетов не стало.

Из-за сарая вышел, весь в песке с головы до ног, Герман с перекошенным лицом, схватил из машины новую обойму, чтобы перезарядить автомат, но он не успел.

Из-за садов и домов черными стрелами вырвались новые самолеты. Герман полез под гусеницы вездехода. Я кинулся в дом, успел только забежать, прислониться спиной к печке, прямо влип в нее — и дом вместе с печкой качнулся, я увидел через окно перед собой, как у ворот в кусте сирени ослепительно вспыхнул огонь, полетели куски ворот и забора, одновременно стекло в окне треснуло, на меня посыпалась известка и пыль, и шевельнулись волосы на макушке. Самолеты, как молнии, исчезли, и слышен стал звон осыпающихся стекол.

Я как-то автоматически-деловито стал чиститься, потряс головой, чтобы с нее осыпалась штукатурка, взглянул на печку и остолбенел: в ней, ровно на один палец выше моей макушки, зияла идеально круглая дырка. Я не поверил, прислонился к печке спиной, щупал у себя над головой, и палец мой просунулся в дырку. Я обошел печку и посмотрел с другой стороны. Противоположная стена была цела, осколок застрял внутри печки.

Тут я наконец понял, что нужно спастись в «окопе». Я понятия не имел, куда девалась мать. Вышел, оглядываясь, подумал: «Может, она уже там», — и в этот момент из-за садов и домов показались самолеты.

Я был в шоке, потому что, как заяц, побежал по ровному и открытому огороду к «окопу», в то же время отлично понимая, что я прекрасная цель и что я не добежу.

Краем сознания отметил, что самолеты уже передо мной, что в огороде рядом с хатой — огромнейшая яма, и все вокруг усыпано слоем пушистого песка, по которому я мягко топтался, оставляя цепочку следов.

Самолеты были уже — вот я увидел головы летчиков и на крыльях красные звезды, тем же краем сознания машинально отметил, что вокруг меня взлетают песчаные столбики, и мне стало очень обидно, что они меня, такого дурака, принимают за немца. Это была больше обида на себя и судьбу, потому что на такой скорости, конечно, некогда разглядеть, что я не немец, и потом они знали, что населения в городе нет.

Песчаных столбиков было довольно много, но опять в меня ничто не попало. Самолетов уже и след простыл, а я все бежал к «окопу». Ввалился в него, кинулся в самый темный и дальний угол, сильно ударив мать. Радость! Она была там и была жива... Но снова зарокотало.

Из-за садов и домов вырвались самолеты, затряслась земля, словно какой-то разъяренный великан барабанил по ней, ходуном заходили балки перекрытия, посыпались струи земли, мать грубо затолкнула меня в глубину, упала сверху, накрывая меня собой, а когда грохот стих, она выглянула, бормоча, словно молилась:

— Голубчики, так их!

¹ «Шварцер Тод» — «Черная смерть» — так немцы называли наши штурмовики «ИЛы».

Она схватила меня, обезумевшая, раскачивалась и говорила не столько мне, сколько «им»:

— Пусть и мы погибнем, но сколько можно — бросайте! Бейте их! Так их! Пусть нас, но чтобы и их!

Боюсь, что вы этого не поймете или не поверите. У меня внутри скопились истерические рыдания. Я любил эти самолеты, этих НАШИХ, которые в них сидели и знали, что здесь только немцы, и чесали, что надо. Вот, значит, как их гонят, мерзавцев.

— Чешите, голубчики, чешите!

Так это началось.

Приспособляемость человека удивительна. К обеду я уже по звуку определял, куда, где, как летят самолеты, велика ли опасность. Стал привыкать к такой жизни. В интервалах бежал в дом.

Он выглядел живописно: стены побиты осколками, все до единого стекла вылетело, на крыше — словно кто лопатой набросал кучи песка, валяются обгорелые кирпичи, хотя труба цела. Яма от бомбы рядом с хатой была таких размеров, что в нее свободно вошли бы два грузовика. Повсюду много мелких воронок.

Артиллеристы сидели в щели за сараем, прижавшись друг к другу, обсыпанные землей, они уже не строчили, а, видно, думали лишь об одном: как бы спастись. Автоматы валялись по двору.

Франц замахал мне рукой:

— Уходить! Уходить, мальчик!

Я отмахнулся, прсе себя посмеиваясь. Смотрел во-

круг и думал: «Жаль, эта бомба не долетела метров десять, а шла точно на вездеход с пушкой».

Через проломанный забор пришел озабоченный солдат, позвал наших артиллеристов, они вылезли, но тут показался самолет, они, как кролики, кинулись обратно в щель. Я подумал: «Ага, теперь вам уже и одиночного самолета достаточно».

Переждав, они все-таки вылезли и побежали за солдатом. Я за ними, посмотреть, в чем дело. Третьего от нас дома Корженевских не было. Вместо него зияла яма, частью заваленная досками и забрызганная кровью.

Рядом стоял, весь ободранный осколками, тополь, и дверь дома висела высоко на его макушке, зацепившись за ветки. Вот откуда к нам на крышу прилетели кирпичи.

Солдат и артиллеристы принялись растаскивать доски в яме.

Много раз я наблюдал, что при сильной непрерывной канонаде погода портится. Может, это случайно, но под грохот из Пуши-Водицы небо, утром такое чистое, к обеду стало затягиваться тучами, и они, низкие и седые, сделали день унылым, нехорошим. Штурмовикам они не мешали. «Ильюшины» летали почти над землей.

Артиллеристы отмывали руки от крови, окружив бочку, когда по улице проскакал на коне связной, что-то резко, гортанно прокричал. Они бросились в вездеход. Зарычал, заплывался дымом мотор, машина выехала из ворот, круто вырулила, только пушка мотнулась, и где-то еще зарычали вездеходы, помчались, лязгая по мостовой, на север, к Пуше-Водице. В пекло.

4 ноября, четверг

Мы думали, что больше никогда не увидим их, но они вернулись. Ночью дрожание земли и канонада утихли. Вдруг окна засветились под фарами, вездеход въехал во двор и остановился под кустом сирени. Я подумал: «Вот так, съездили в бой, как на работу, а вечером вернулись на ночлег».

Они не сразу пошли в дом, но в темноте принялись ломать кусты и покрывать машину. Я вышел, они не обращали на меня внимания. Пушку они отцепили, выкатили на улицу и направили стволом на насыпь.

Брезент вездехода висел ключьями. А когда они вошли в комнату и зажгли карбидку, оказалось, что вид у них неописуемый: обгоревшие, в копоти, перевязанные руки дрожат. Особенно потрясенным выглядел юный Герман. Он бесцельно тыкался по углам, и казалось, вот-вот расплачется. Франц протянул мне кстелок, попросил принести воды.

— Большой огонь? — спросил я.

— О! — сказал Франц, и вдруг все они заговорили, объясняя, рассказывая: им надо было выговориться, пожаловаться, и они изо всех сил объясняли жестами и словами всех наций Европы, как там было страшно, так страшно, что невозможно описать, град, огонь, ад... Герман вытащил из сумки словарь, судорожно рылся в нем, пока не нашел нужное слово и несколько раз повторил его с отчаянным выражением в глазах:

— Ужис! Ужис! Понимаешь? У-ужис!

Из всего потока слов я уловил общий смысл: что Франция или Африка — курорт по сравнению с сегодняшним боем. Русские бьют «катушами». Грохот и землетрясение с утра — это были в основном «катуши». Русские наступали от деревни Петровцы и вошли в Пушу-Водицу. Немецкие части смяты, разгромлены, лес горит, земля горит. Им самим непонятно, как они остались живы.

— О мальчик! Майн мальчик! — Рыжий Франц руками обхватил голову, покачал ею и так застыл, упершись локтями в стол. Все это было неожиданно, они ведь приехали такие бодрые, мужественные, а теперь вели себя, как перепуганные женщины. Я не знал, что сказать.

— У Франца есть дети? — тихо спросил я у Германа.

— Иа, — ответил тот. — Есть три дети. Драй. Три.

Я вышел. Горизонт в нескольких местах светился малиновыми заревами. Изредка доносились оружейные раскаты.

У школы гудели машины, слышались команды, какие-то истерические выкрики. Словно бес толкал меня. Я вышел на улицу, темный в темноте, прижимаясь к заборам, стал подкрадываться к школе, чтобы рассмотреть, что там, а если плохо лежит автомат, то стащить.

Я был у дома Энгстремов, когда меня остановил внезапный страх. Я прижался к забору и крутил головой, пытаясь разобраться, что мне угрожает, и вдруг, при очень слабом свете зарев, прямо напротив себя за решетчатым забором увидел человека.

Это был мужчина с сумкой или ящиком на боку. Он стоял не двигаясь, глядя прямо на меня. Я замер, как загипнотизированный. Я все еще воображал, что он меня не видит, а он надеялся, что я не вижу его. Так мы простояли минуту. Вокруг не было, я это точно знал, ни одного местного мужчины, и это не был немец — явно в штатском, вел себя слишком осторожно.

Постояв так, я медленно и беззвучно двинулся обратно, и, когда шмыгнул в дом, все во мне колотилось. Что это за человек, я понял только на следующую ночь.

Зарева то затихали, то разгорались всю ночь. Артиллеристы не пили, не играли на губной гармошке — устало спали. Я просыпался, выходил на крыльцо, смотрел на красный горизонт.

Утром прибежала Ляксандра. Она рассказала, что в школе стали немцы. Двор полон вездеходов и орудий. Весь первый этаж забит ранеными, они там кричат, кончаются, полы залиты кровью, врачей мало. Пришли и забрали у Ляксандры с Миколоем все простыни и полотенца на перевязки.

Она слышала, что где-то тут, на Куреневке, много людей спряталось в пещеру, где-то в обрыве, вот бы к ним прибиться. Пещера — это мне понравилось. Но где она? Мама снова дала Ляксандре картошек, та пошла кормить мужа.

Казалось, что с минуты на минуту начнется канонада и полетят самолеты. Мама снесла в «окоп» постели, приготовилась сидеть долго. Но время шло, а все было тихо.

Артиллеристы понемногу приходили в себя, стали латать пробойны в вездеходе и нерешительно говорить, что прорыв русских остановлен, да вряд ли сами они в это верили. Однако день прошел в мучительной тишине.

В сумерках опять стали видны зарева, слышались нечастые орудийные раскаты, и вдруг над нашим домом завывали, зафырчали снаряды. Взрывы

ударил совсем близко. Во дворе школы вспыхнуло яркое зарево. Снаряды попали в самое скопище вездеходов. Машины загорелись, в их кузовах стали рваться боеприпасы.

Я вылез на забор, с радостно колотящимся и злобным сердцем наблюдал, как на фоне огня металась немцы, а то вдруг они бежали врассыпную и падали, прятались в ямки. Взрывались в огне снаряды, подымая тучи искр, и разлетались, фырча, осколки; грохот стоял, как при бомбежке. Ух, красота!

Когда снаряды взрывались, я камнем падал в бурьян, но потом упрямо лез на забор и все смотрел, торжествовал. Я просто готов был броситься на шею тому мужчине, которого видел вчера за забором, я понял, что он был разведчиком, что это его работа. Я и сейчас поражаюсь точности, с какой снаряды попали во двор школы, в самую гущу машин. Снарядов было, по-моему, всего два, и они попали без всякой пристрелки.

Немцы стали тросом вытаскивать вездеходы со школьного двора. А в горящих кузовах все рвались снаряды, иногда летели огненными бомбами, и от них загорелся дом ДТС напротив.

Я побежал, сообщил об этом матери, она накинула платок, и мы кинулись спасать стариков, но встретились уже на улице.

Ляксандра и Миколой сидели в подвале, когда увидели, что горят. Они успели выбраться. Старуха вывела старика на улицу, сама бросилась в дом, но только смогла в коридорчике схватить кастрюлю, кухонный нож и ложки. Она так и шла, одной рукой ведя Миколою, а другой неся алюминиевую кастрюлю.

Дом ДТС горел, как факел, всю ночь, так что и свет зажигать не надо. Теперь нас стало четверо: старикам ничего не оставалось, как держаться за нас. Про нашего деда мы думали, что он уже погиб. Он не погиб, а в это время сидел в канализационных трубах.

5 ноября, пятница

Кот Тит растолстел. Я спал в яме под домом, он пришел ночью, лег мне на грудь, и меня всю ночь душили кошмары, я его шугал, но он упрямо лез на меня, плотный и тяжелый, как поросенок.

В оставленных домах развелась пропасть крыс и мышей. Тит охотился по сараям, а в свободное время спал, и ему единственному, кажется, приход фронта пошел на пользу. Он был одинок, потому что вокруг не осталось ни кошки, ни собаки.

Утром я проснулся от стрельбы. Канонада была близкая, штурмовики опять ходили кругами. Повторялось то же, что и третьего ноября, но была разница.

Нервы у гитлеровцев не выдержали. Едва слышался звук самолета, они бросались кто куда. Штурмовики летали над самой землей, деловито и безнаказанно работали, словно обрабатывали ядохимикатами поля. С земли по ним не стреляли.

Опять артиллеристов поднял связной, опять они выехали за ворота, развернулись и поехали в Пушчовицу. Вездеходы, которые уцелели, двинулись от школы. По улицам пронеслись на большой скорости танки, автомобили, мотоциклисты.

В полдень на огороде другие артиллеристы установили орудие и принялись палить через насыпь. Они стреляли так часто, словно перевыполняли план, но позорно разбегались при звуке самолета. Я не выдавал себя, только в щель наблюдал за ними: как они заряжают, лязгают затвором, как отлетают звонкие золотистые гильзы. Думал: ладно, вот смоемся, я уж эти гильзы соберу, все мои будут.

Стрельба этого орудия, как и других, беспокоила меня уже не больше, чем шум проезжающего по улице трамвая. Когда летали штурмовики, было хуже, но я исправно куда-нибудь кидался, потом вылезал, смотрел, какие новые воронки появились, удивлялся, что хата все цела и цела.

Время от времени свистели советские снаряды — низко, казалось, над самой головой, с особенным визжаще-скрежещущим звуком. Они разрывались то в сквере, то в парке культуры, то на агростанции, иногда было видно, как летят камни и ветки.

Я обнаружил кота Тита в сарае, совершенно игнорирующего войну, взял его, сонного, в охапку, отнес в «окоп», устроил там на мешке, он мирно спал себе, даже ухом не ведая при разрывах.

Мать меня не точила: мол, не вылезай да не выглядывай, и потом она совсем растерялась. Откуда знать, где тебя шарахнет: шарахало всюду. Я в «окоп» бегу, а она навстречу из «окопа» в хату, смех и горе, одна надежда на удачу. Это настолько в нее въелось, что и потом, когда я отчаянно бродил среди минных полей, занимался разрядкой бомб и взрывами, она не ругала меня, перестала запрещать, словно в ней что-то сломалось: она так беспокоилась обо мне прежде, так переживала — а поводам для того все не было конца, — что это перешло в противоположность, иначе обыкновенной душе не выдержать.

Старики Ляксандра и Миколай наотрез отказались идти в «окоп». Они остались в доме, и вот я стал связным между ними и мамой. Старик снял скровати пружинный матрац, прислонил его углом к печке, покрыли сверху ватными одеялами — получилось что-то вроде шалаша в комнате. Они залезли туда и сидели, прижавшись друг к другу. Я приходил, отворачивал одеяло:

— Вы тут живы?

— Живыя, сынок! Слава богу, — отвечала Ляксандра. — А мама живая?

— Полный порядок, скоро обедать будем! Слепой Миколай, очень чуткий, говорил:

— От зудить, зудить, лязять два самолеты... Я совсем ничего не слышал, но Ляксандра хватала за руку:

— Ховайся, ховайся!

Я залезал в их «шалаш», и действительно над крышей пронеслись два самолета, и бахали мелкие снарядики.

— От пушку увозяць, — сообщил Миколай.

Я кинулся во двор: действительно, вездеход увозил орудие. Я обрадовался, пошел собирать гильзы, но только от досады топнул ногой: гильзы они увезли с собой. Надо же: гибнут, а гильзы увозят с собой!

Вдруг я увидел, как по огороду к «окопу» отчаянно спешат Ляксандра и Миколай. Она тянула его за руку, торопилась, а старик не поспевал, размахивал палкой.

— Немцы там! Немцы! — крикнула Ляксандра.

В наш двор въезжали шикарные пимузины. Уже побежали связисты, разматывая катушки красных проводов.

По насыпи забегали фигурки немецких солдат, устанавливали пулеметы. От Пущи-Водицы доносились ружейная и пулеметная стрельба. Я ждал последнюю облаву...

ГЛАВА ИЗ БУДУЩЕГО

1. Пропавшие без вести

Однажды, уже в начале декабря, мы с ребятами пошли в Пущу-Водицу собирать гранаты и добывать взрывчатку.

Лес был искалечен, повален. Всюду под соснами, в кустах стояли разбитые пушки, сгоревшие вездеходы, танки без башен, штабелями лежали невыстреленные снаряды и мины. Но самое главное — вокруг были массы трупов. Кто-то ими уже занимался, частью они были раздеты и свалены в кучи высотой до трех метров — пирамиды убитых голых немцев серо-голубого цвета, разлагавшиеся, несмотря на морозец. Думаю, в Германии много семей до сих пор не знает, где и как погибли их мужчины.

Так вот, если эти строчки попадутся на глаза детям пропавшего без вести, скажем, Франца из Гамбурга, пожилого артиллериста, участвовавшего в захвате Польши, Норвегии, бравшего Париж и воевавшего в войсках Роммеля в Африке, то вы, дети, знайте, что ваш отец умер в России вместе с тысячами других отцов именно так — и лежал, серо-голубой, в куче трупов всю зиму 1944 года, а потом их сгребали в канавы и рвы и засыпали землей.

Леса снова разрослись, и теперь не найти уже этих мест.

В России много лесов.

2. Необходимая щепка истории

Оступая, немцы все-таки словили Болика и взяли в обоз. Он бежал оттуда и пришел на третий день после освобождения Киева. Родных никого не было, дом распотрошен, он жил у нас, у соседки, потом его мобилизовали в армию, и пошел наш Болик наконец воевать на фронт по-настоящему. Я думал, что уж там-то он дорвался до пулеметика.

В следующий раз он пришел только где-то осенью 1944 года. Был он все такой же лобастенький, долговязый, но еще больше вытянулся и возмужал. У него было даже звание — младший сержант, семь месяцев он провел на финском фронте, как-то упал в воду, простыл, долго лежал в деревне больной, и вот у него что-то стало нехорошее с легкими и серд-

цем, его отправили в Киев на излечение. Был он худой, бледный, про таких говорят: от ветра шатается.

— Как? Что? Где ты был? — накинусь я. — Как ты воевал?

Он грустно махнул рукой:

— Да... в санслужбе, в обозе был.

— А пулеметик?

— Не вышло. Только по самолетам из винтовок стрелял. Впустую патроны переводить...

Не узнавал я Болика — задумчивый, рассеянный, был на войне, а рассказать не хочет.

— Мне медаль дали, — безразлично сказал он.

— Покажи!

— Дома.

Мы стояли у нас во дворе, и был холодный, серый день. С улицы пришел дед (он тоже выжил), удивился Болику:

— Значит, пришел?

— Пришел...

— Ну, смотри, как тебе досталось! Это б и Толику такая судьба, если б он чуть старше.

Дед пристально посмотрел на Болика.

Через несколько дней Болика увезли в какой-то санаторий в Пуще-Водице. Я за него порадовался, потому что в Пуще-Водице очень хорошие санатории и в них всегда трудно было попасть.

Тогда я всю занимался в школе, очень увлекался математикой, ночи просиживал над теоремами, а про Болика вспоминал не часто. Поэтому для меня было неожиданностью, когда вбежала в комнату мать и жалобно закричала:

— Иди, проводи Болика, его хоронят!

По улице двигались похороны. Впереди шел дядя Болика и на подушечке нес одинокую медаль. Потом два или три венка, грузовик с гробом, за ним десятка два людей.

Мой Болик лежал желтый, с неприятно сложенными на груди руками, в отглаженном костюме. Рядом сидела на машине тетя Нина, его мать, очень

маленькая, скрюченная, такая же желтая, как и он, и, не отрываясь, смотрела на сына.

Напротив наших ворот — выбоины, грузовик закачался, и мать качалась, цепко держась за доски гроба. Я подумал, что, наверное, она не может идти, потому ее посадили на грузовик.

Что-то со мной было неясное, не могу объяснить. Пока грузовик проезжал мимо ворот, у меня пролетело множество мыслей — смутно и какими-то общими партиями. Почему в таких хороших санаториях его не вылечили, и почему никто мне не сказал, что он умер, и почему никто меня не позвал, пока он лежал дома? Где его похоронят, я знаю: на Куреневском кладбище, рядом с памятником его деду Каминскому, я хорошо знаю это место, потому что там лежит бабка; я через несколько дней пойду туда, а сейчас я не хочу ходить, а только должен посмотреть и запомнить Болика.

Он, покачиваясь, проплыл вместе с матерью мимо меня близко, так что я хорошо посмотрел. Моя мать подталкивала меня, говоря плачущим голосом:

— Иди, иди, проводи Болика.

Но я уперся молча, упрямо. Процессия пошла и пошла в сторону базара, а я только смотрел, пока она не скрылась.

Болик ушел.

3. Бабарик сидит

Меня носило по свету: работал на стройках, учился в Москве. Приехал однажды домой, и мать сказала:

— Вовка Бабарик дома. Подорвался на mine под Варшавой, сапером был, а из госпиталя только сейчас вышел, не дай бог никому, недвижимый, без руки, темный, не хотел домой таким возвращаться, да уговорили, привезли. Ты бы сходил к нему: он радуется, когда приходят.

Это был тот Вовка Бабарик, с которым я дружил, потом враждовал, выпускал из клеток его птиц, а еще продал ему гнилой орех.

Я перешел улицу и постучался к Бабарикам. Двор был тот самый, сад, те же деревья, на которых Вовка развешивал свои клетки. Вышла Вовкина мать и всплеснула руками:

— Толик! Как Вовочка обрадуется! Проходи, проходи.

Я вошел, волнуясь, узнавая их сени, их кухню и «большую комнату», которая теперь показалась мне весьма маленькой. По полу прыгали бурые кролики.

У окна на сундуке сидел тучный, одутловатый Вовка, с нелепо стриженной головой и одной рукой. Казалось даже, что он не сидит, а как бы водружен на этот сундук, как куль с мукой.

Он был слепой — вместо глаз слезящиеся шрамы. Лицо было нездорового цвета, лоснящееся, все в синих точках и полосках, словно его изрисовали химическим карандашом. И сквозь распахнутый ворот виднелись жуткие шрамы на груди у шеи. Он был совершенно неподвижен, как изваяние Будды, и единственная рука его, крупная, мужская, бессильно лежала на крае сундука.

Мать сделала странную вещь: она подошла, бесцеремонно взяла голову, приблизила губы к право-

му уху и неестественным, тоненьким, пронзительным, как флейта, голосом прокричала в ухо:

— Толик Семерик пришел! Толик Се-ме-рик! Помнишь?

Я смотрел потрясенно, понимая, что это Вовка, и совершенно не узнавал его, соображая, что он ко всему еще и глухой. А Вовка заволновался, шевельнул головой и закричал густым, хрипловатым голосом, поднимая руку:

— Толик! Вот хорошо, что ты пришел! Где ты?

— Садись вот так, с правой стороны, говори ему в ухо, — сказала мать, растроганно улыбаясь и усаживая меня.

Я сел, слегка прижался к тучному корпусу, чтобы он ощущал меня, подал свою ладонь судорожно ищущей в воздухе руке, эта рука схватилась, тискала, тискала, и дальше она не отпускала мою руку, держась за нее, то поглаживая, то пожимая.

— Да, да, — говорил Вовка, — ты пришел. Хорошо, что пришел. Я слышал, слышал, что ты в институте учился. Молодец. Ты в писателях, говорят?

Он подставил ухо.

— Да, — закричал я, — пишу!

— Говорят, ты в писателях? — повторил он свой вопрос, и я понял, что он не слышит меня. — Какой институт, говоришь?

— Литературный! — отчаянно закричал я в самую дырку уха.

Мать подошла, взяла его голову и опять прокричала пронзительным тоненьким голосом в самое ухо:

— Он говорит: литературный! Он в писателях!

— Ага, ага, — удовлетворенно и весело кивнул головой Вовка. — Хорошо... молодчина. А мама твоя как? Здорова?

— Да! — закричал я и одновременно качнул его руку сверху вниз, давая понять, что это значит «да».

— А дед Семерик?

— Нет! Умер!

— Дед Семерик умер! — прежним способом прокричала мать, и ее-то Вовка услышал.

— Что ты?! Так дед Семерик умер!.. — протянул Вовка. — Я не знал. Холерный был дед, ты только не обижайся.

Я замолотил его рукой сверху вниз.

— Да! Да!

— Так-так, — сказал он бодро, — ты молодец, я рад за тебя. Я вот, как видишь. Совсем неподвижным был, но сейчас вроде отхожу, сижу вот. Слуховой аппарат не идет, у меня там одна ниточка нерва осталась. Ничего, пока мама жива, все хорошо... Ко мне хлопцы иногда заходят. Газеты читаем. Скажи, что делается! Сельское хозяйство-то, а?

— Да, да! — закричал я, помогая себе рукой, я держался за его руку, как за единственный канал связи с ним, сидел рядом, слишком прижимаясь к этому неподвижному, рыхлому телу, и лицо было рядом, но я не узнавал, совершенно не узнавал его, только голос и манера говорить чуть напоминали Вовку прежнего.

Мать оставила нас, ушла к печке. Стараясь произносить слова максимально четко, я закричал Вовке в ухо:

— Из-ви-ни ме-ня! За орех на базаре! Помнишь?

— Да, да, — сказал он, — такие-то дела. Ты молодчина... Я помню, ты, босьяк, птиц у меня выпускал.

— Да! Да! — завопил я, опять дергая его руку вертикально, потом зачем-то справа налево.

— Я теперь держу кроликов, — сообщил он. — Мама, подай кролика.

Я замотал его руку горизонтально:

— Мать вышла!

Осмотрелся — ни одного кролика, спрятались куда-то. Вовка подождал немного.

— Читаешь, как там в ООН? — спросил он. — Крутят?

Я затряс его руку вертикально.

— Меня бы туда посадить на трибуну, — съязвил Вовка. — Я бы им сделал доклад. Слушай, будет война?

Я повел его рукой горизонтально. Он понял, но не согласился.

— Война будет. Мы живем под прицелом. Это как двое нацелились один в другого, спустили предохранители — вот так мы живем, на все города нацелены ракеты, только чуть где заелись — кнопку нажимаешь, и пошла потеха... Мам, где кролик?

— Ничего, — закричал я в ухо, впрочем, не надеясь уже быть услышанным, — войны не должно быть, все пока хорошо!..

— Да, так, Толик, — ласково сказал он, глядя мою руку. — Значит, мама здорова, а ты человеком стал... Но ведь ты заходи, не забывай.

Я потряс руку вертикально.

— Левым ухом я не слышу, — объяснил он, — а правым слышу. Ты прямо в ухо четко говори.

— Вовка, Вовка, — пробормотал я, пожимая его руку.

— Не забывай, заходи, а то возьми, опиши меня как есть. С чем ее, значит, войну, едят... Ладно?

Я замотал его рукой вертикально.

Вот я выполняю это обещание, описывая Вовку Бабарика, моего товарища, который сейчас, когда вы читаете эти строки, живет там, в Киеве, Петропавловская площадь, 5, — один из миллионов участников второй мировой войны, оставшихся в живых.

LA COMMEDIA é FINITA¹

Весь кортеж шикарных лимузинов снялся и уехал буквально в три минуты, оставив телефон со всеми проводами. (Потом они годами служили маме как отличные бельевые веревки.)

Дрожь от напряжения, я бесцельно заметался по двору, выглядывая на улицу, а по ней все шли отступающие войска. Никогда не видел такой массы растерянных, озабоченных, бледных людей. Эту картину невозможно описать словами, это еще можно было бы приблизительно показать в кино.

В направлении Подола мчались грузовики, вездеходы, телеги, вперемежку ехали немцы, мадяры, полицейские. Машины ревели, сигналили, перли на своих. Лошади были в мыле, возницы, какие-то одержимые, отчаянно стегали их.

Отступали они на наших маленьких русских лошаденках. Ни одного огненно-рыжего тяжеловоза: передохли, не выдержав.

Я такого не видел никогда — ни до, ни после. С те-

лег падали узлы, патефоны. Дорога была буквально усыпана барахлом, а также патронами, брошенными винтовками. У столба стоял прислоненный, оставленный кем-то ручной пулемет.

Окна школы засветились, как это бывает при закате, когда стекла отражают солнце, но никакого солнца не было: серый, пасмурный день, уже темнело. Вид у школы был необъяснимо зловещий. Тут до меня дошло, что она горит — горит по всем этажам. Уходя, немцы облили классы бензином и подожгли. Войска шли мимо, а школа горела медленно, лениво, потому что была каменная и пустая.

У базара поднялся столб черного дыма, прямой, как колонна. Я не знал, что это горит, но видел, что немцы выполняют свой план. Я по-настоящему растерялся. С разных сторон неслись выстрелы, грохот, ничего не поймешь, но вдруг раздался такой страшный взрыв, что дом заходил ходуном и рассыпалось зеркало на стене. Я оглох и присел: мне показалось, что взрыв произошел во дворе. Не успел отойти, как раздался другой такой же взрыв, и я опять присел.

— Ой, горенько! Мосты взорвали! — пронзительно закричала во дворе мать.

¹ «Комедия окончена» (итал.) — заключительная фраза Тонио в опере Р. Леонкавалло «Паяцы».

Я выглянул и увидел, что вместо нашего моста — провал, наполовину загроможденный каменными глыбами и песком. Через него продолжали карабкаться оставшиеся по ту сторону немцы, другие бежали через насыпь. (Когда потом раскапывали, выяснилось, что взрыв накрыл легковую машину с четырьмя офицерами. Кое-кто считал, что это были взрывники и они покончили самоубийством. Другие, по-моему, более правильно решили, что машина случайно оказалась под мостом: ведь много войск оставалось по ту сторону.)

Я уже обалдел от всего этого, бродил, тыкался в сарай, отыскивал кота Тита, взял его на руки и носил, как ребенка. На отступающие войска смотреть не хотелось, ружья уже у меня лежали в кладовке, но гранаты мне казались надежнее, они оттягивали мне карманы, только я не знал уже, что и будет. И когда войска прошли совсем — не заметил.

Пришла ночь, но темно не стало. Все было залито красным светом. Отблески на тучах, как на экране, бегали, колебались, словно кто-то развлекался, пуская зайчики зеркалом или фонарем. Горело очень много, словно ты в центре костра, сплошные пожары.

И стало очень тихо.

В этой тишине только время от времени со стороны школы доносился глухой рокот, и тогда гейзером взлетали искры — это обваливались перекрытия.

Николай и Ляксандра сидели в комнате под матрасом и плакали. Войди кто-нибудь посторонний — испугался бы: пустая комната, шалаш у печи, из-под него странные, тоненькие, скулящие звуки... Никогда не слышал, чтоб старики так скулили и пищали.

Мама взяла их за руки и повела, как детей, в «окоп». Я тоже посидел там, но был слишком взвинчен, меня словно иголки кололи со всех сторон, вылез и опять стал метаться, напряженно вспоминая свой план: драться гранатами, ружье с собой, насыпь, луг, болото, камыш. Во всяком случае, дешево я им не стану, только бы не зевнуть момента, голова совсем одурела. Я-то ко всему давно был готов, но все-таки очень хотелось жить.

Про сон, конечно, не было мысли. Кот Тит предал меня: темнота его оживила, он стал пружинистый, злой и пошел, хищная тварь, к своим крысам.

Кончалась пятница, пятое ноября, семьсот семьдесят восьмой день оккупации Киева.

Я стоял на крыльце с винтовкой, прислонясь спиной к стене. За насыпью в небо беззвучно взлетела зеленая ракета. Потом донесся выстрел, другой... Снова взлетела ракета. Они фантастически выглядели: зеленые ракеты на кровавом небе.

Школа тихо потрескивала и погромыхивала. Я подумал, что вот оно, наконец, идут факельщики. Я бы с удовольствием написал, что в этот момент стал спокоен, достал гранаты, не спеша отвинтил шляпки, но было совсем не так.

Все мое оружие в один миг показалось мне совершенно беспомощным, в голове у меня застучали молотки, сквозь которые я улавливал крики со стороны насыпи.

Что делать? Куда податься?

Вдруг меня молнией озарила подлинно гениальная мысль: нужно залезть на дерево! Высоко, на самую верхушку. Они будут на земле везде, жечь все, а деревья устоят. А если заметят, так уж сверху удобно кидаться гранатами, как камнями, и пока шпокнут, я уж посчитаюсь. Крики от насыпи стали громче, кричало много людей:

— ...а-а-а... щии... ит...а-а!..

Я дикой кошкой прыгнул на дерево, обдирая ноги, взлетел на первую развилку, затаил дыхание, прислушиваясь.

С насыпи вопили на великолепнейшем московско-русском языке:

— То-ва-рищи! Выходите! Советская власть пришла!

Елки-палки, у меня все поплыло перед глазами! Что-то бессвязно забормотал, закричал, свалился с дерева и кинулся на улицу. По этой красной улице под красным небом я затоптал к красной насыпи, увидел, что еще судорожно держу в руках по гранате, приостановился, положил их рядышком на землю и дальше побежал.

Завал моста вблизи был страшен и зловещ. Какие-то живые существа, не то люди, не то звери, лезли на четвереньках на крутую насыпь. Я моментально понял, что это такие же прятавшиеся, как и мы, кинулся вверх, обгоняя их, но я уже не был первым. Там, наверху, на рельсах, обнимались, плакали, истерически визжали женщины, оборванные старухи кидались на шеи советским солдатам.

Солдаты деловито спрашивали:

— Немцы есть?

— Нет! Нет! — рыдая, кричали им.

Солдат было немного, несколько человек, очевидно, разведка. Они перемолвились, и тогда один из них выстрелил в небо зеленой ракетой. Запыхавшись, с той стороны взобрался еще один, белообрый, добродушный, с какой-то вязанкой в руках.

— Чего? Намучились? — весело спросил он.

— Намучились! — завывали бабы в один голос.

— Нате, вешайте на домах. Праздник.

Вязанка, которую он принес, оказалась связкой красных флажков. Они были немногим больше тех, какие держат дети на демонстрации. Бабы накинудились на флажки. Я тоже полез, солдат закричал:

— Не все, не все! Еще на Подол надо.

Солдат с ракетницей дал вторую зеленую ракету, и они побежали с насыпи на эту сторону.

А я не побежал — я полетел к дому, ворвался в «окоп», закричал во все горло:

— Наши пришли!!!

Не насладясь эффектом, выскочил обратно. Полез на чердак, шарил в темноте, нашел сверток. В сарае я сломал грабли, чтобы иметь древко, прибивал флаг в полутьме гвоздями, бил себя по пальцам. Мир был красный, и флаг в этом красном свете выглядел белесым.

Освобождение Киева продолжалось всю ночь. Кое-где были уличные бои. Взрывались и горели дома — университет, школы, склады, огромные жилые дома напротив Софийского собора, но сам Софийский собор, к счастью для русской истории, остался цел.

Через Куреневку в город входили главные части наступавшей армии. Взорванные мосты перегородили улицы, поэтому дорогу проложили через парк культуры и железнодорожный переезд на Белецкой улице, откуда валили танки, невиданные еще «студебеккеры», артиллерия, обозы. Пехота шла змейками прямо через завалы.

Были они запачканные, закопченные, уставшие, потрясающе родные, знакомые, потрясающе те же самые, что уходили в 1941 году. Шли они не в ногу, мешковатые, с прозаически звякающими котелками. Некоторые, очевидно, вдребезги разбив ноги, шли босиком, неся ботинки перекинутыми через плечо и тяжело ступая красными ногами по земле, уже застывшей от ноябрьских заморозков.

О великие русские солдаты!

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ, СОВРЕМЕННАЯ

И снова я приезжаю в Киев, на Куреневку, где в том же доме по-прежнему живет моя постаревшая мать. Проработав почти сорок лет в школе, она на пенсии.

На главной улице Куреневки теперь стоят девятиэтажные дома, белые и современные, как океанские лайнеры.

Андреевская церковь все так же парит над Подолом, в Софийский собор ходят экскурсии школьников, а Лавра угнетает туристов своими развалинами.

Крещатик, как и весь центр Киева, совершенно новый. На углу Крещатика и Прорезной теперь известный книжный магазин «Дружба», где можно купить книги на многих языках из разных стран мира.

Бабьего Яра нет. Он засыпан, через него проходит новое шоссе, а вокруг идет строительство, но до сих пор при рытье котлованов находят кости, иногда скрученные проволокой. Пепел давно развеялся, частью остался глубоко под землей, от погибших остались лишь цифры и воспоминания.

Каждый из погибших был живым человеком, личностью с мыслями, радостями, горестями и талантами. Сколько их было — точно никогда не узнать. Цифры условны.

До последнего времени в кладбищенском доме над оврагом жила сторожиха М. С. Луценко — тетя Маша, которую немцы совершенно упустили из виду и не подозревали, что она подкрадывалась в зарослях и видела все, что они делают. И мы ходили с ней, она еще и еще раз рассказывала, где началось, где подрывали склоны и как «вон там и там их клали на землю. А они ж крича-ат!.. О мать бо-жья... Они их лопатами бьют, бьют».

Я думаю о том, что ни одно общественное преступление не остается тайным. Всегда найдется ка-

кая-нибудь тетя Маша, которая видит, или спасутся четырнадцать, два, один, которые свидетельствуют, а если не остается живых, — свидетельствуют мертвые. Но историю обмануть нельзя, и что-нибудь навсегда скрыть от нее невозможно.

Этот роман я начинал писать в Киеве. Но не смог продолжать и уехал: не мог спать. По ночам во сне я слышал крик: то я ложился, и меня расстреливали в лицо, в грудь, в затылок, то стоял сбоку с тетradкой в руках и ждал начала, а немцы не стреляли, показывали мне вместо этого фотографии своих матерей, жен, детей, смеялись, мешкали, у них был обеденный перерыв, они варили кофе на костре, и я ждал, когда же это начнется, чтоб я мог добросовестно и точно записать все для истории. Этот кошмар преследовал меня, я просыпался, слыша в ушах крик тысяч людей.

Мы не смеем забывать этот крик. И потому, что это вообще незабываемо, и потому, что над современным человечеством, как мутная туча, не сняты проблемы Бабьих Яров. Несущественно, в каких технических формах они могут проявиться и под какими именами новых Бухенвальдов, Хиросим или другими, скрытыми еще в небытии и ожидании своего часа.

Я еще раз подчеркиваю, что рассказал не о чем-то исключительном, а об обыкновенном, бывшем СИСТЕМОЙ, происходившем исторически вчера, когда люди были такими же, как и сегодня.

Глядя на наше вчера, мы думаем о будущем. Самое дорогое у нас — жизнь. Ее нужно беречь.

Фашизм, насилие и войны должны уйти, оставшись лишь в книгах о прошлом.

Заканчивая одну из них, желаю вам мира.





Ирина
Лиснянская

Подростки

Пора такая.
Всё в ознобе —
Подростки рвутся из квартир.
И каждый в собственной особе
Особый открывает мир:
Особые потенциалы,
Особый звук,
Особый цвет...
Подростки!
Их инициалы
Везде —
Где можно и где нет.
Надуты, как шары, их шарфы.
Они глядят во все века,
Беспомощные,
Как жирафы,
Но, как жирафы,
Свысока.
Эпохи
Самоутвержденья,
Неосторожный,
Не коснись!
Еще поспеет к ним прозренье,
Что каждый — это только жизнь.



...И возникают города
Вне времени и вне пространства.
И цепко держат провода
Крутые токи постоянства.

И нет разрыва, смерти нет.
Полны цветочные киоски.
И вольно делает поэт
Свои веселые наброски.

И все — как будто в первый раз.
И все — как будто бы младенцы.

Но кто-то трезвый выше глаз
Проводит мокрым полотенцем.

И говорит: «Угомонись!»
И объясняет все толково...

Но я не верю ему, жизнь!
Не верю доброму такому.



Тому,
Кто в небе не витал,
Смешна мечта почти любая.
Для тех, кто крови не видал,
Она, конечно, голубая.
И тот, кто моря не испил,
Поет о том,
Что море сине.
Не помнить свойства этих сил
Найти бы мне немного силы!
Я и плясать буду и петь,
Но петь,
Держа в запрете слово,
К тому же петь
Не так, как медь,
А как тростинка птицелова.
И соберутся все певцы
С небес,
В которых я витала,
И станут венами рубцы,
Чтоб голубое проступало.
Чтоб проступала жизнь моя
Такой,
Какой была когда-то.
Там были синие моря
И очень желтые цыплята.
Ни время
И ни глубина
Еще не изменяли цвета,
И я мечтала у окна
О сладком жребии поэта...

Химки

«Метеоры» летят, как наитие,
И степенно проходит баржа.
И стоят старики наивные,
Чудо-удочки крепко держа.
Город Химки —
Мой дом теперешний
С рыболовами у реки.
Научите меня терпению,
Подмосковные старики!
Научите меня надеяться,
Что не страшно речное такси,
Что от нас нигде не денутся
Ни налимы, ни караси.
Научите обычным навыкам.
Что-то суетной стала я.
Ну хотя бы часами на воду
Научите смотреть меня!



Покаянной иду, покаянно
По своим окаянным стихам.
Мне равняться бы по океану,
А равняюсь я по китам.
Те киты, все раздутые слабой:
Сто фонтанов из каждой ноздри —
Сто словес отражением слабым
На сто капель разбитой зари.
Воду черпают из океана —
Из ноздри выпускают в него ж.
Океану обмен этот странный —
Только поверху легкая дрожь.
На иные способен он трюки —
Без обмана вбирает моря.
И не в силах постичь той науки
Покаянная совесть моя...

НАЧАЛО БЫЛО ТАК ДАЛЕКО...

• Д. Данин

Эрнст Резерфорд (1871—1937), один из величайших физиков мира, создатель планетарной модели атома и первооткрыватель атомного ядра, был не только плодовитейшим исследователем. Он был еще и замечательным учителем — главой едва ли не самой многолюдной в истории физики научной школы.

Он создавал ее в Монреале, где профессорствовал девять лет (1898—1907), в Манчестере, где двенадцать лет руководил кафедрой в университете Виктории (1907—1919), и, наконец, в Кембридже, где на протяжении восемнадцати лет (1919—1937) возглавлял прославленную Кавендишевскую лабораторию. Вслед за Максвеллом, Рэлеем, Дж. Дж. Томсоном он был четвертым в ряду ее великих директоров. И в еще большей степени, чем его предшественники, способствовал упрочению славы Кавендиша как «питомника гениев».

В течение четырнадцати лет работал в Кавендишевской лаборатории наш выдающийся физик Петр Леонидович Капица. Он стал преданным учеником и младшим другом Резерфорда. Об истории возвышения молодого Капицы в Кембридже двадцатых годов и рассказывается в этой главе из книги Даниила Данина «Резерфорд».

Среди бумаг на столе Эрнста Резерфорда долго лежало раскрытым письмо из Вены от старого коллеги и друга — руководителя австрийского Радиевого института Стефана Мейера. Трагическая весточка из побежденной страны. Сэр Эрнст читал и перечитывал это письмо, и на скулах его ходили желваки. Мировая война, в течение четырех лет расточавшая человеческие жизни и силы, продолжалась и теперь, после своего конца, сеять вокруг беды и страхи. Мейер писал:

«...Так называемый мир лишь до чрезвычайности усугубил все наши тяготы, и я боюсь, что мы не сможем продолжать занятия наукой, если только мы вообще сумеем продолжать нашу жизнь».

Письмо австрийского коллеги было переполнено удручающими подробностями и взывало к действию. Резерфорд получил его на исходе января 1920 года, а 16 февраля уже смог написать в Вену: «Я надеюсь, что собранные в Англии фонды принесут вам некоторое облегчение». И тут же добавил: «Мне кажется, однако, что при бедствиях подобного масштаба надобна интернациональная помощь».

Снова, как в годы самой войны, думал он о всечеловеческой солидарности ученых и на нее возлагал надежды. Это была одна из его любимых идей.

И, между прочим, не оттого ли среди его «мальчиков» всегда можно было встретить выходцев из разных стран — представителей всех пяти континентов.

Достойны внимания обстоятельства, при которых в ту тяжкую пору стал резерфордовцем молодой талантливый исследователь с берегов Невы.

...Ранним летом 1921 года, когда для австрийских коллег Резерфорд уже сделал все, что мог, в Англии появилась с деловыми намерениями научная делегация из другого, нового государства, отнюдь не побежденного, но бедствующего так, что все несчастья Австрии могли сойти за огорчения ребенка, поставленного носом в угол.

Хотя государство это еще в 17-м году первым вышло из мировой войны, отказавшись от участия в преступно-бессмысленной братоубийственной бойне, война для него не только не кончилась тогда, четыре года назад, а продолжала длиться и летом 21-го года. Правда, длилась она теперь лишь на окраинных территориях этого государства, однако все-таки еще длилась, опустошающая землю, вынужденная война. Народ, восставший четыре года назад, отстаивал свою революцию. Людям непредубежденным было уже ясно: он ее отстоял! Но победа далась ему дорогой ценой: страна, распростертая на двух материках, переживала чудовищную разруху. Все на-

до было начинать заново, а мир вокруг не скрывал своей враждебности.

Кажется, лишь два европейских государства признали к тому времени Советскую Россию — Финляндия и Польша. Должно будет пройти еще три года, чтобы решилась на этот шаг и Англия. И тем не менее на берегах ее вдруг появилась делегация ученых из этой непонятной, непризнанной, то есть вроде как бы и несуществующей, страны...

Делегация? Да, в том укороченном смысле, что своей-то страной она действительно была делегирована в Западную Европу, однако без какой бы то ни было предварительной договоренности с этой самой Западной Европой.

А приехала она вести дела. Не взывать к милосердию, а вести деловые дела. И были у нее с собою для этого живые фунты стерлингов. И называлась она Комиссией Российской Академии наук по возобновлению научных сношений с заграницей. И, пожалуй, единственной ее духовной опорой в Англии был сочувственный интерес к русской революции в прогрессивных кругах британской интеллигенции: Уэллс, побывавший минувшей осенью в Петрограде и Москве, уже выпустил свою нашумевшую «Россию во мгле»; жаждал общения с русскими интеллигентами Бернард Шоу, и кое-кто из ученых-естественников следовал примеру гуманитариев.

Кроме академика А. Н. Крылова, выдающегося кораблестроителя, механика, математика, и еще ряда лиц, чьи имена сегодня нам уже ничего не скажут, были в составе той Комиссии два физика — учитель и ученик, академик и доцент, Абрам Федорович Иоффе и Петр Леонидович Капица.

О сорокалетнем Иоффе как раз в ту пору Эйнштейн сказал одному советскому научному деятелю: «У вас в России есть замечательный физик, обратите на него внимание». О двадцатисемилетнем Капице пока слышаны были лишь его коллеги в Петрограде, но там никто не сомневался, что и молодого доцента ждет большая будущность. Однако ни он сам, ни его патрон, отправляясь тогда на Запад, вовсе не гадали, что это-то поездка и повлияет решительнейшим образом на все его будущее.

Есть версия, будто еще в Питере, заранее, было обусловлено, что Капица устроится на время в Кавендишевской лаборатории. И сверх того утверждается, будто об этом заранее было договорено с Резерфордом. Все вместе — вымысел, хотя и логичный. Но вовсе не по законам осмотнительной логики часто вершились в ту пору дела. Иногда человеческие судьбы надолго определялись решениями импульсивными — безошибочными лишь по чувству.

Бедственные, но азартные и чистые стояли на двоих времена...

Заранее не было даже известно, попадет ли Капица в Англию. Осложнения с визами в самом начале разлучили членов академической комиссии. Иоффе с февраля был в Германии, а Капицу весна застала в Эстонии. Немцы не давали ему визу как возможному «коммунистическому агитатору из молодых». Французы охраняли свой покой не менее ревниво.

Иоффе писал из Берлина в марте: «Что это от Капицы ничего нет? Где он?»

Потом — в апреле: «Для Капицы хлопоту о визе».

Потом — в мае: «Вчера наконец обещали дать, а то он все, бедный, сидит в Ревеле».

Дать обещали английскую визу. Кроме Иоффе, о ней хлопотал Л. Б. Красин — советский торговый

представитель в Лондоне. И сам Капица. И вот, когда забрезжила надежда на успех, ему впервые в Ревеле подумалось всерьез: а не устроиться ли на зиму поработать у Резерфорда в Кембридже?

Мысль об этом, конечно, не была случайной. В Петрограде, всякий раз, как заходила речь о многолетнем разрыве русской науки с мировым опытом естествознания, тотчас возникали дебаты вокруг проблемы длительных заграничных командировок для молодых российских талантов. Иоффе не раз говорил, что хотел бы отправить Капицу в Лейден, к «Павлу Сигизмундовичу» — Паулю Эренфесту, своему другу, блестящему теоретику, дивному учителю молодежи. Но экспериментаторский дух Резерфордской школы, каким ощущал он его заочно, все же был Капице ближе. А кроме всего прочего, он наслушался соблазняющих рассказов о Резерфорде от Ядвиги Шмидт. (Она еще до войны работала у Резерфорда в манчестерской лаборатории. И манчестерцы долго помнили, как гордая полька привела однажды шефа в ярость своей подчеркнуто-демонстративной женской независимостью: она не пожелала позвать на помощь мужчин, когда надо было закрыть баллон с сернистым газом, и чуть не погибла от отравления; Резерфорд потом жалел, что сделал ей крутое директорское внушение: она была хорошим физиком, и он ценил ее работы; уехав из Манчестера в Петроград, она стала Ядвигой Ричардовной Шмидт-Чернышевой и вместе с мужем работала в Политехническом институте.)

Когда английская виза стала реальностью, Капица припомнил рассказы Шмидт и написал ей из Ревеля, что, быть может, судьба приведет его в Кембридж и тогда ему очень пригодилось бы ее рекомендательное письмо к Резерфорду. 6 мая, за десять дней до отъезда из Эстонии, он попросил свою мать напомнить Ядвиге Ричардовне о его просьбе. Шмидт сделала то, о чем он просил. Судя по всему, она отправила свое письмо прямо Резерфорду.

Только в июне, через четыре месяца после расставания в Петрограде, встретились Иоффе и Капица на английской земле. Там академической Комиссией предстал последний этап работы — изнуряюще-хлопотливой и крайне нервной. Иоффе писал жене: «В Берлине я сдал к заказу приборов всего на 2.112.000 марок, химических продуктов на 60.000 м. и инструментов и станков на 300.000 марок. Все, что хотелось, куплено, только очень немного осталось для Лондона».

Этого «очень немногого» было, однако, более чем достаточно, чтобы закупочных дел хватило на месяц с лишним. Но в программу входили, конечно, и встречи с английскими коллегами, которые, к слову сказать, не менее высоко, чем Эйнштейн, ставили работы Иоффе. Ездили в Манчестер к преемнику Резерфорда — известному физики Брэггу-младшему. И были в Лондоне у еще более известного Брэгга-старшего. Были на обеде у Герберта Уэллса. Познакомились с лордом Холденом, Фредериком Содди и другими знаменитостями. Радовались встрече с Бернардом Шоу. И, разумеется, должен был настать день паломничества в Кембридж — в Кавендишевскую лабораторию. Ждали только известий от сэра Эрнста с указанием удобной даты.

Идею оставить Капицу у Эренфеста Иоффе отбросил: даже для себя одного не смог он в Германии выхлопотать голландскую визу, и Эренфест сам приезжал к нему на свидание в Берлин. Оставалась неверная надежда посетить Лейден на обратном пути в Россию. А Кембридж был рядом, и сам Капица к нему вожделем. Иоффе без промедлений обсудил

свое намерение с Красиным. И в очередном письме к жене, 7 июля, всего за пять дней до поездки в Кавендиш, сообщил:

«Капицу хочу оставить на зиму у Резерфорда, если он его примет; Красин дал уже согласие».

Теперь ожидание визита в прославленную лабораторию окрасилось тревогой. Иоффе волновался не меньше Капицы.

Суть в том, что тут играли важную роль не одни только деловые соображения. Еще в России, при формировании академической комиссии, не одни только нужды дела побудили академика Иоффе предложить в ее состав молодого Капицу. И не только деловые доводы заставили академика Крылова всячески поддержать эту кандидатуру. Тому были еще причины трагические.

Капица пережил четыре утраты. Одну за другой. Но и каждой из них в отдельности было бы довольно, чтобы пригнуть человека к земле. Умер его маленький сын. Умерла только что родившаяся дочь. Умерла жена. И отец. В тогдашнем Петрограде оказалось невозможным победить испанку и скарлатину. Работать Капица не мог. Он с трудом жил. Его надо было увезти из Питера. Надолго и далеко.

Далеко... Это уже сделалось.

Надолго... Перспектива зимней стажировки в Кавендише решала эту проблему наилучшим образом.

12 июля они поехали в Кембридж, а 13-го из Лондона в Петроград ушли два письма. Одно было адресовано Вере Андреевне Иоффе и завершало лондонскую переписку Абрама Федоровича с женой краткой информацией об успешном окончании заключительного доброго дела.

«Был в Кембридже у Дж. Дж. Томсона и Э. Резерфорда, последний пригласил меня к чаю и согласился принять в свою лабораторию Капицу...»

А второе письмо было адресовано Ольге Иеронимовне Капице и, в сущности, открывало обширную кембриджскую переписку Петра Леонидовича с матерью, не предполагавшей, что отныне на протяжении многих лет младший сын будет навещать ее только в дни каникулярных наездов из Англии:

«...По всей вероятности, я останусь тут на зиму и буду жить в Кембридже и работать у проф. Резерфорда. Он дал свое согласие, мы были у него вчера. Наше представительство тоже согласно оставить меня тут... Что вы там будете делать без меня! Не знаю, радоваться мне или нет... Но с другой стороны, зиму я работать не смогу. А у меня теперь в жизни все, что и есть. Это работа да вы, мои дорогие...»

Вскоре Иоффе уехал на континент, и Капица остался в Лондоне один. Бродя по великому городу в часы, свободные от завещанных ему и еще не оконченных закупочных дел, он все время возвращался к беспокойной мысли о предстоящем переселении в Кембридж. И через два дня снова написал матери:

«...Ты, дорогая, не скучай без меня, мне конечно, без тебя тут будет тяжело, но надо же работать. Уйдет молодость в два счета, и ее не вернешь. Я сейчас нахожусь в волнении, как это пойдет у меня работа в Кембридже, как это я столкнусь с Резерфордом при моем английском языке и моих непочтительных манерах. Еду к нему 21 июля...»



Леди Резерфорд и сэр Эрнст Резерфорд
(в мантии доктора Кембриджского университета).

Он еще не знал — книг о Резерфорде не существовало, — что четверть века назад молодой сэр Эрнст, тоже приехавший сюда из далекого далека, из Новой Зеландии, тоже в одиночестве бродил по Лондону, предвкушая с волнением начало своей кембриджской судьбы, и тоже писал об этом матери... (Конечно, такие внешние параллели малосодержательны, но в них ощущается ненавязчивая музыкальность истории, очень любящей присказки и повторы.)

И уж вовсе неправдоподобным показалось бы молодому Капице пророчество, что история поселит его в Кембридже чуть не на полтора десятилетия; свяжет с Резерфордом узами близкой дружбы; превратит его, чужеземца, в директора новой самостоятельной лаборатории на берегах Кэма и сделает членом Лондонского Королевского общества на десять лет раньше, чем членом Академии наук его родины...

Головокружительным и беспримерным был взлет молодого русского физика в стенах Кавендиша. Он сам описал его в те годы. Нечаянно. Без предварительного замысла. Без плана. Без раздумий о том, что когда-нибудь его письма с чужбины домой станут бесценными документами к жизнеописанию Резерфорда и истории физики нашего века.

Из кембриджских писем Петра Капицы к матери, Ольге Иеронимовне.

24 июля 1921 года. Перебрался из Лондона в Кембридж и начал работать в лаборатории. ...Пока что знакомлюсь с радиоактивными измерениями и делаю просто практикум; что будет далее, не знаю. Ничего не задумываю, ничего не загадываю. Поживем — увидим...

29 июля. Работать тут хорошо, хотя я еще пока не делаю самостоятельной работы... Плохое знание языка мне мешает изъяснять свои мысли. Я и по-русски-то плохо выражаю свои мысли...

6 августа. Вот уже больше двух недель я в Кембридже... Теперь настает самый рискованный момент, это выбор темы для работы*. Дело нелегкое... Когда у меня такие моменты, то я не люблю много говорить, и потому мне трудно написать что-либо определенное...

12 августа. Вчера в первый раз имел разговор на научную тему с проф. Резерфордом. Он был очень любезен, повел к себе в комнату, показывал приборы. В этом человеке безусловно есть что-то обаятельное, хотя порою он и груб. Так жизнь моя тут течет, как река без водоворотов и без водопадов... До 6 часов работаю, после шести либо читаю, пишу письма, либо еду покататься на мотоциклете. Это для меня большое удовольствие...

16 августа. Все шло очень хорошо, хотя ехали мы не тихо. Но вот... с нами случилась авария... На моем теле — шесть синяков и ссадин... Главное дело — это морда. Если бы ты только ее видела! Одна половина ровно вдвое толще другой, да еще пятна запекшейся крови. Мне было очень совестно показаться в лаборатории в понедельник... Но мой товарищ объяснил мне, что в Кембридже таких физиономий не только не стыдятся, но что это особый шик и вызывает к себе сразу уважение и почет (конечно, если такая физиономия результат занятий спортом, а не следствие кутежа). Когда я пришел в лабораторию, то была, конечно, маленькая сенсация. Даже Астон (спроси у Кольки**, кто это Астон) пришел полюбоваться моей мордой... Теперь я буду значительно осторожнее...

18 сентября. Не начинаю ли я размахиваться опять чересчур широко? Я задумал крупные вещи... Потом для меня этот самый Резерфорд — загадка. Сумею ли я ее разгадать?

7 октября. Работаю в большой комнате, где будут работать еще несколько человек.

12 октября. Резерфорд ко мне все любезнее, он кланяется и справляется, как идут мои дела. Но я его побаиваюсь. Работаю почти рядом с его кабинетом. Это плохо, так как надо быть очень осторожным с курением: попадешь на глаза с трубкой во рту, так это будет беда. Но слава богу, у него грузные шаги, и я умею их отличать от других...

25 октября. Отношения с Резерфордом, или, как я его называю, Крокодилом***, улучшаются. Работаю усердно, с воодушевлением...

1 ноября. За меня ты не беспокойся, я тут, что называется, «ол-райт»... Результаты, которые я получил, уже дают надежду на благополучный исход моих опытов. Резерфорд доволен, как мне передавал его ассистент. Это сказывается на его отношении ко мне. Когда он меня встречает, всегда говорит приветливые слова. Пригласил в это воскресенье пить чай к себе, и я наблюдал его дома. Он очень мил и прост. Расспрашивал меня об Абраме[е]

* С практикума по радиоактивности на чердаке лаборатории начинали в Кавендише все. Капица потратил на практикум около двух недель вместо полугода.

** Николай Николаевич Семенов — ученик А. Ф. Иоффе, друг молодости П. Л. Капицы, ныне академик, Фрэнсис Вильям Астон — друг и сотрудник Резерфорда, известный кембриджский физик.

*** По словам друга и биографа Резерфорда А. С. Ива, Капица так объяснял придуманное им прозвище: «Это животное никогда не поворачивает назад и потому может символизировать резерфордскую проныцательность и его стремительное продвижение вперед». Капица добавлял, что «в России на крокодила смотрят со смесью ужаса и восхищения».

Фед[оровиче]. Но... когда он недоволен, только держись. Так обложит, что мое почтение. Но башка поразительная! Это совершенно специфический ум: колоссальное чутье и интуиция. Я никогда не мог этого представить себе прежде. Слушаю курс его лекций и доклады. Он излагает предмет очень ясно. Он совершенно исключительный физик и очень своеобразный человек...

9 ноября. Работаю по-прежнему с наслаждением. Слушаю курс лекций о последних успехах в опытах с радием, читаемых самим Резерфордом. Он дивно читает, и я очень наслаждаюсь его манерой подходить к вещам и разбирать их... Хотя уж очень он свиреп, так что другой раз страх берет, а я не робкого десятка...

21 ноября. Мне надо увеличить чувствительность моих аппаратов по крайней мере в 10—15 раз, а я уже достиг такой чувствительности, которая превосходит обычную, достигаемую аппаратами такого типа... Крокодил часто приходит посмотреть, что я делаю, и в прошлый раз, рассматривая мои кривые, высказался в том смысле, что я уже близок к намеченной цели. Но чем ближе подходишь, тем все больше и больше затруднений...

5 декабря. Я по-прежнему работаю всюю. Чувствую себя поэтому хорошо... Ты знаешь, тут посещение тебя профессором считается событием, а за последние три недели Крокодил приходил ко мне раз 5—6...

16 декабря. Скоро каникулы, и лаборатория закрывается на две недели. Я просил Крокодила позволить мне работать, но он заявил, что хочет, чтобы я отдохнул, ибо всякий человек должен отдыхать. Он поразительно изменился к лучшему по отношению ко мне. Теперь я работаю в отдельной комнате — тут это большая честь. ...Было кое-что забавное, что следует описать: это обед Кавендишского физического общества. Члены этого общества, автоматически, все работающие в лаборатории (только мужчины). Раз в год они устраивают обед... На обеде присутствует человек 30—35... Сидели за П-образным столом, причем председательствовал один из молодых физиков... Пили-то не особо много, но англичане быстро пьянеют. И это сразу заметно по их лицам. Они становятся подвижными и оживленными, теряют свою каменность. После кофе начали обносить портвейном и начались тосты. Первый за короля. Потом второй — за Кавендишскую лабораторию... Тосты были по возможности комического характера. Эти англичане очень любят шутить и острить... Между тостами пели песни... Вообще, за столом можно было проделывать все, что угодно: пить, кричать и пр. Вся эта картина имела довольно таки дикий вид, хотя и очень своеобразный. После тостов все встали на стулья и взяли крест на крест за руки и пели песню, в которой вспоминали всех друзей... Очень забавно было видеть таких мировых светил, как Дж. Дж. Томсон и Резерфорд, стоящими на стульях и поющими во всю глотку... В 12 часов ночи разошлись по домам, но я попал домой только в 3 часа ночи, так как среди обедавших были такие, которых пришлось разводить по домам; я, смею тебя уверить, был в числе разводящих, а не разводимых. Последнее, пожалуй, приятнее. Мое русское брюхо, видно, более приспособлено к алкоголю, чем английское...

22 декабря. Сегодня, наконец, получил долгожданное отклонение в моем приборе. Крокодил был очень доволен. Теперь успех опытов почти обеспечен: есть кое-какие затруднения, но я думаю, я их проскочу... Если опыты удадутся, то мне удастся решить вопрос, кой не удавалось разрешить, начиная с 1911 года, ни самому Крокодилу, ни другому хорошему физику Гейгеру****. Нечего тебе описывать эти опыты — ты все равно ничего не

**** Этот вопрос заключался в следующем: по какому закону альфа-частицы, испускаемые радиоактивными элементами, постепенно растрачивают свою первоначальную энергию, летя сквозь вещество.

Резерфорд и его манчестерский ученик Ганс Гейгер в разное время пытались найти эту закономерность, измеряя величину отклонения альфа-частиц

поймешь: я только скажу, что прибор, который я построил, называется микрорадиометр и я его так усовершенствовал, что могу распознать пламя свечки, находящееся на расстоянии двух верст от моего прибора. Он чувствует одну миллионную градуса! Вот посредством этого прибора я измеряю энергию лучей, посылаемых радиом. Завтра еду в Лондон, так как начинаются рождественские каникулы и лаборатория закрывается...

3 января 1922 года. Так привык работать, что перерыв мне не доставляет удовольствия. Но Резерфорд, заметив, что я переутомился, посоветовал мне поехать отдохнуть...

17 января. Дело в том, что в одно из воскресений я поехал покататься на мотоцикле, взяв с собой Чадвика — одного из молодых здешних ученых. Я имел глупость дать ему править, в результате чего он на хорошем ходу опрокинул машину, и мы оба вылетели из нее... Несмотря на то, что у меня была повышена температура и голова была забинтована, так что торчал один нос, я не прерывал работы в лаборатории. Крокодил гнал меня в постель, но я не шел. Он проявил, между прочим, ко мне большое внимание...

3 февраля. У меня теперь лекции и доклады, и публика заваливает работой: кому помочь в подсчетах, кому сконструировать прибор... Я сейчас нахожусь в счастливом расположении духа, ибо дела движутся не без успеха...

5 февраля. В прошлом триместре я работал по 14 часов в день, теперь же меня хватает всего-навсего на 8—10 часов...

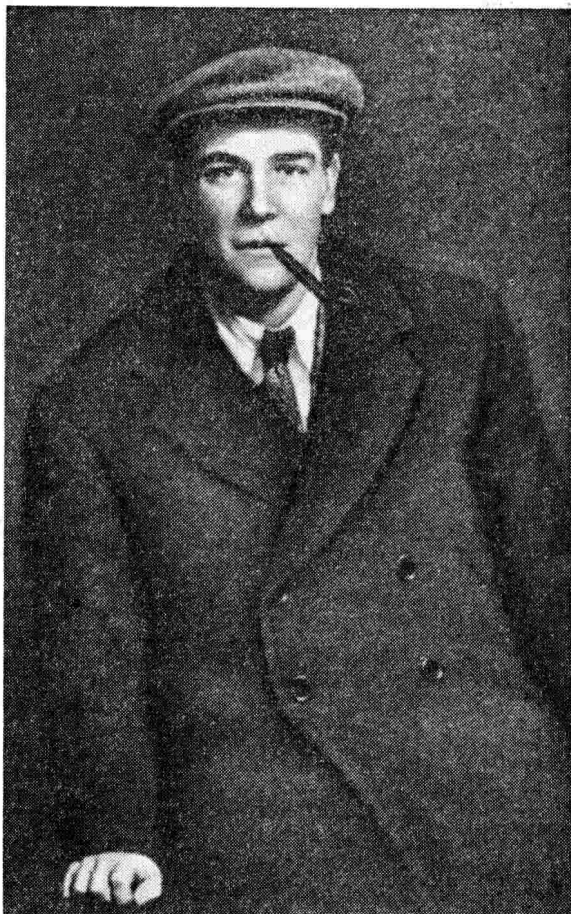
16 февраля. Сегодня беседовал с Резерфордом... Ты не поверишь, какая у него выразительная морда, просто прелесть. Позвал он меня к себе в кабинет. Сели. Я посмотрел на его физию — свирепую, — и мне стало отчего-то смешно, и я начал улыбаться. Представь себе, морда Крокодила тоже стала улыбаться, и я готов был уже рассмеяться, как вспомнил, что надо держаться с почтением, и стал излагать дело... Потом, увидев, что он в хорошем духе, я рассказал ему одну из моих идей. Эта идея касается дельта-радиации, теория которой очень неясна. Я дал свое объяснение. Довольно сложный математический подсчет подтверждает хорошо эту мысль и дает объяснение целому ряду опытов и явлений. До сих пор, кому я об этом ни говорил, все находили мои предположения чересчур смелыми и относились к ним очень скептически. Крокодил со свойственной ему молниеносностью схватил сущность моей идеи и, представь себе, одобрил ее. Он человек прямой, и, если ему что не нравится, он так выругается, что не знаешь, куда деваться. А тут он очень хвалил мою мысль и советовал скорее приняться за опыты, которые из теории вытекают. У него чутье чертовское. Эренфест в последнем письме ко мне называет его просто богом. И меня его положитель-

от прямолинейного полета магнитным полем. Из этих данных они получали картину убывания скорости, а значит, и энергии альфа-частиц на всей длине их пробега. Но к концу пробега, когда энергия альфа-частиц становилась мала, этот метод терял всякую чувствительность.

Капица решил с благословения Резерфорда пойти по иному пути: попробовать вдоль траектории узкого альфа-луча измерять от точки к точке тепловой эффект нагрева среды от столкновений ее атомов и молекул с альфа-частицами. По величине теплового эффекта сразу устанавливалась бы величина энергетических трат альфа-луча. Для этих-то тончайших измерений Капице и нужно было «по крайней мере в 10—15 раз» увеличить чувствительность его приборов.

Стоит заметить, что таким образом в первой же своей работе после появления в Кавендише Капица как бы приобщился к стародавнему и неиссякающему «альфа-роману» Резерфорда. Ведь Резерфорд не только открыл альфа-лучи (1898), не только показал, что они состоят из ионизованных атомов гелия (1908), но и доказал с помощью бомбардировки тяжелых элементов альфа-частицами существование атомных ядер (1911).

* Джеймс Чадвик — ученик Резерфорда со времен Манчестера. Впоследствии прославился открытием элементарной частицы нейтрона (1932).



Петр Леонидович Капица (Кембридж. 20-е годы).

ное мнение ободрило очень... Тут очень забавно: как только профессор с тобой мил, это сразу сказывается и на всех остальных в лаборатории, — они тоже сразу делаются внимательнее. Да, мамочка, Крокодил действительно уникум... Я не робкий, а перед ним робею...

6 марта. Все, что я сделал... это просто стал из нуля рядовым работником, который не хуже и не лучше других тридцати человек, работающих в Кавендишской лаборатории...

13 марта. Крокодил мил по-прежнему. Иной раз он даже бывает трогателен...

28 марта. Крокодил доволен, и у нас уже идут с ним разговоры о дальнейших работах. Сегодня было очень забавно. Как я тебе писал, моя работа была несколько лет назад начата самим Крокодилом и потом — немецким ученым Гейгером, но оба из-за нечувствительности методов не могли изучить явление до конца, что удалось теперь мне... Оказалось, что мои данные ближе согласуются с данными Гейгера, а не Резерфорда (Крокодила). Когда я ему это изложил, он спокойно сказал мне: «Так и должно быть, работа Гейгера произведена позже, и он работал в более благоприятных условиях». Это было очень мило с его стороны...

7 апреля. Работал после урочного времени по специальному разрешению Крокодила, после приходил домой и подсчитывал результаты до 4—5 часов ночи, чтобы на следующий день все начать опять с утра. Немного устал... За это время имел три долгих разговора с Крокодилом (по часу). Мне кажется, что теперь он ко мне хорошо относится. Но мне даже немного страшно — как-то он уж очень мне гово-

рит комплименты... Это человек большого и необузданного темперамента. А у таких людей всегда резкие переходы. Но голова его, мамочка, действительно, поразительная. Лишен он всякого скептицизма, смел и увлекается страстно... Не мудрено, что он может заставлять работать 30 человек. Ты бы его видела, когда он ругается... Образчик его разговора:

«Это когда же Вы получите результаты?»

«Долго Вы будете без толку возиться?»

«Я хочу от Вас результатов, результатов, а не вашей болтовни...» И пр.

По силе ума его ставят на один уровень с Фарадеем. Некоторые даже выше. Эренфест пишет мне, что Бор, Эйнштейн и Резерфорд занимают первое место среди физиков, ниспосланных нам богом...

14 апреля. Решил сделать себе маленький подарок — купил токарный станочек, он мне очень необходим...

24 мая. Опять работаю, как вол, не менее 14 часов в день... Думаю написать свою работу на будущей неделе и отправить в печать. Крокодил торопит.

15 и юн я. Говорят, работа удачная. Она переведена и сейчас переписывается на пишущей машинке. Завтра будет готова, и, может быть, послезавтра я передам ее Крокодилу... Я немного волнуясь... Начал новую работу с одним молодым физиком*. Крокодил увлечен моей идеей и думает, что мы будем иметь успех**. У него чертовский нюх на эксперимент, и если он думает, что что-нибудь выйдет, то это хороший признак. Относится он ко мне все лучше и лучше...

19 и юн я. Сегодня Крокодил два раза вызывал меня к себе по поводу моей работы. Он читал ее, перedelывал некоторые места и, перделав что-нибудь, звал меня... Будет она напечатана в «Известиях Королевского Общества» (вроде наших «Известий Академии наук») — самая большая честь, которую может тут заслужить работа... Некоторые явления, которые я описываю, были наблюдаемы впервые. Сегодня Крокодил хотел непременно это вставить, что, дескать, эти явления наблюдаемы впервые. Я отверг его предложение. Никогда я так не волновался, как в этот раз. Я выдвинул — осторожно, правда — две гипотезы, и мне очень страшно их судьба. Когда ты болтаешь в обществе своих друзей, то у тебя нет чувства ответственности. Тут же, когда выступаешь на европейском рынке, это страшно и жутко. Крокодил «приказал» мне написать «абстракт» моей работы, который будет читаться на заседании Королевского Общества. Сегодня я принес его ему. Он был им недоволен. И сам написал его мне. То внимание, с которым он разобрал мою работу, меня тронуло до глубины души... Только теперь я действительно вошел в школу Крокодила... и чувствую себя в центре этой школы молодых физиков. Это безусловно самая передовая в мире школа, и Резерфорд — самый крупный физик на свете и самый крупный организатор... Я почувствовал в себе силы только теперь. Успех окрыляет меня, и работа увлекает...

5 июля. Я тебе уже писал, что затеял новую работу, очень смелую и очень рискованную. Я волновался очень. Первые эксперименты сорвались. Завтрашние опыты должны дать окончательный результат. Но Крокодил дает мне еще одну комнату и согласен на расходы...

6 июля. У нас в России все кроилось по немецкому образцу, с английским ученым миром было мало общего. Из русских физиков я

не упомяну ни одного, который долго бы работал в Англии. Но Англия дала самых крупных физиков, и я теперь начинаю понимать, почему: английская школа чрезвычайно широко развивает индивидуальность и дает бесконечный простор проявлению личности... Резерфорд совершенно не давит человека... Тут часто делают работы, которые так нелепы по своему замыслу, что были бы прямо осмеяны у нас. Когда я узнавал, почему они затеяны, то оказывалось, что это просто были замыслы молодых людей, а Крокодил так ценит, чтобы человек проявлял себя, что не только позволяет работать на свои темы, но еще и подбадривает и старается вложить смысл в эти, подчас нелепые, затеи. Отсутствие критики, которая безусловно убивает индивидуальность... есть одно из характерных явлений школы Крокодила. Второй фактор — это стремление получить результаты. Резерфорд очень боится, чтобы человек не работал без результатов, ибо он знает, что это может убить в человеке желание работать. Поэтому он не любит давать трудную тему. Если он дает трудную тему, то это просто значит, что он хочет избавиться от человека. В его лаборатории не могло бы случиться, чтобы я в продолжение трех лет сидел над одной работой, борясь с непомерными трудностями.

30 июля. Приехал в Лондон Абр. Фед. Потом он приезжал в Кембридж, осматривать лабораторию. Резерфорд его любезно принял, пригласил обедать... Я тоже обедал с ним. После обеда играли в шары. Я, Резерфорд и Фаулер в одной партии, а Тэйлор, Астон и Абр. Фед. — в другой. Мы выиграли...

17 августа. Предварительные опыты... окончились полной удачей. Крокодил, — мне передавали, — только и мог говорить, что об них. Мне дано большое помещение, кроме той комнаты, в которой я работаю, и для эксперимента полного масштаба я получил разрешение на затраты довольно крупной суммы...

2 сентября. Мои опыты принимают очень широкий размах... Последний разговор с Резерфордом останется мне памятным на всю жизнь. После целого ряда комплиментов мне он сказал: «Я был бы очень рад, если бы имел возможность создать для вас у себя специальную лабораторию, чтобы вы могли работать в ней со своими учениками». (У меня сейчас работают два англичанина***). По тому, как он широко отпускает мне средства, и по тому вниманию, которое он мне оказывает, это, возможно, не фраза. Он уже сейчас отдал для меня две комнаты... Что я, действительно, способный человек? Мне жутко и страшно. Спрашивается ли я?

22 октября. Мною была сделана маленькая ошибка в технической детали аппарата. Когда я об ней сказал Крокодилу, он мне сказал: «Я очень рад, что вы хоть раз ошиблись». Видишь, он мастер говорить комплименты, так как на самом деле я очень часто ошибаюсь... Резерфорд прямо исключительно добр ко мне. Как-то раз он был не в духе и говорил мне, что надо экономить. Я доказывал, что делаю все очень дешево. Он, конечно, не мог этого опровергнуть и сказал: «Да, да, это все правда, но в круг моих обязанностей входит говорить вам об этом. Имейте в виду, что я трачу на ваши опыты больше, чем на опыты всей лаборатории, взятой вместе».

И ты знаешь, это правда, ибо наша установка ему вскочила в копеечку...

8 ноября. Теперь Крокодил... Забавнее всего, что он, как и Аб. Ф., после доклада или лекции подзывает меня, конечно, когда никого нет, и спрашивает: «Ну как, что вы думаете об этом?» Он очень любит, чтобы его похвалили, и правда — всегда он блестяще; но я стараюсь критиковать тоже, хотя и в такой форме, чтобы она не задела его. Ведь, мамочка, он самый крупный физик в мире! Вчера мы проговорили с ним часа 1,5—2 по поводу одной идеи, высказанной им в последней лекции... Ты

* Это — П. М. С. Блэкетт. Ныне — президент Лондонского Королевского Общества. Он на три года моложе Капицы.

** Речь идет об идее помещать так называемую камеру Вильсона в сильное магнитное поле с тем, чтобы наблюдать искривление туманных треков, образуемых в этой камере летящими альфа-частицами. Такие треки возникают по тому же закону, по которому при известных условиях появляется в небе след за летящим самолетом туманный шлейф.

*** Это были Дж. Коккрофт и В. Вебстер.

знаешь, моя дорогая, я не особенно ясен, когда говорю. Мысль у меня делает большие логические скачки, и мало людей, которые быстро меня понимают. Аб. Ф. был одним из них. Колька — тоже. Но Крокодил, принимая во внимание мое плохое знание английского, безусловно, побил рекорд... Это человек колоссального темперамента, который может уйти далеко как в одну сторону, так и размахнуться в обратную. Я теперь довольно хорошо знаю его характер: так как его комната напротив моей, то я слышу, как он закрывает дверь. И по его манере закрывать дверь я почти безошибочно могу судить о том, в каком он расположении духа...

29 ноября. Для меня сегодняшний день до известной степени исторический... Вот лежит фотография — на ней только три искривленные линии. Но эти три искривленные линии — полет альфа-частиц в магнитном поле страшной силы. Эти три линии стоили профессору Резерфорду 150 фунтов стерлингов, а мне и Эмилию Яновичу* трех с половиной месяцев усиленной работы. Но вот они тут, и в университете об них все знают и говорят. Странно: всего три искривленные линии! Крокодил очень доволен этими тремя искривленными линиями. Правда, это только начало работы, но уже из этого первого снимка можно вывести целый ряд заключений, о которых прежде или совсем не подозревали, или же догадывались по косвенным фактам. Ко мне в комнату — в лабораторию — приходило много народу смотреть три искривленные линии, люди восхищались ими. Теперь надо идти дальше. Много еще работы. Крокодил позвал меня сегодня в кабинет и обсуждал со мной дальнейшие планы...

4 декабря. Я эти дни был что-то вроде именинника. 2-го, в субботу, был прием у проф. Дж. Томсона по случаю приезда голландского физика Зеемана... Конечно, надо было напаять смокинг... Я говорил с Зееманом, и меня представляли ему примерно таким образом, что это, дескать, такой физик, который решает такие проблемы, которые считаются невозможными (для решения). И эти генералы меня трепали около 20 минут, пока я не ушмыгнул в угол... Сегодня Зееман и лорд Рэлей (сын) были у меня в лаборатории и смотрели мою работу...

27 января 1923 года. В среду я был избран в Университет, в пятницу был принят в колледж. Для меня сделаны льготы были, и, кажется, через месяцев 5 я смогу получить степень доктора философии... (Все устроил, конечно, Крокодил, доброте которого по отношению ко мне прямо нет предела)...

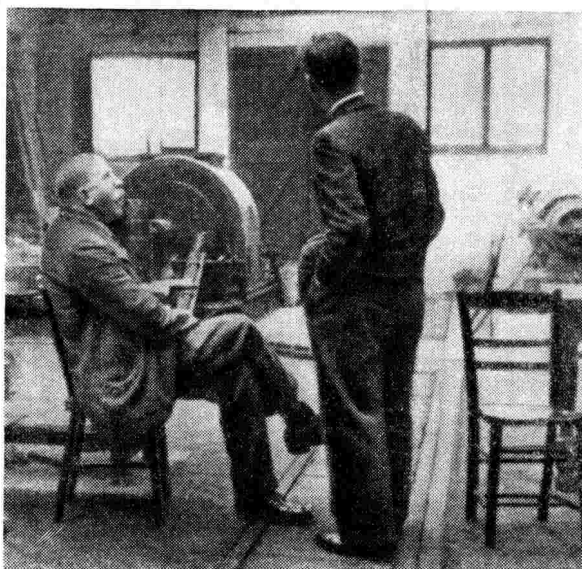
18 февраля. Как все переменялось! Как странно оглядываться назад!.. Такой заботливости, какую я вижу теперь от Крокодила, я еще ни от одного патрона не видел...

18 марта. Я боюсь, что у тебя превратное мнение обо мне и моем положении тут. Дело в том, что мне вовсе не сладко живется на белом свете. Волнений, борьбы и работы не оберешься... Кружок, мною организованный, берет много сил**... Одно, что облегчает мою работу, это такая заботливость Крокодила, что ее смело можно сравнить с заботливостью родного отца...

25 марта. Ты меня просишь прислать фотографию Крокодила... Крокодил — животное опасное, и его не так-то легко сфотографировать...

14 апреля. Главное уже сделано и дало головокружительные результаты... Масштаб работы у меня сейчас крупный, и меня всегда пугает это. Но то, что за мной стоит Крокодил, дает мне смелость и уверенность. Ты себе не можешь представить, дорогая моя, какой это крупный и замечательный человек.

15 и юн. Я. Вчера я был посвящен в Доктора философии... Мне так дорого стоил этот чин,



Эрнст Резерфорд и Дж. Коккрофт в лаборатории Капицы (Кембридж. 30-е годы).

что я почти без штанов. Благо Крокодил дал взаймы и я смогу поехать отдохнуть...

Перед его отъездом (он уехал на месяц отдыхать) я встретил его в коридоре. Я как раз возвращался с посвящения в доктора. Я его прямо спросил:

«Не находите ли вы, профессор Резерфорд, что я выгляжу умнее?»

«Почему вы должны выглядеть умнее?» — заинтересовался он этим несколько необычным вопросом.

«Я только что посвящен в доктора», — ответил я. Он сразу поздравил меня и сказал: «Да, да, вы выглядите значительно умнее, и тому же вы еще и постриглись», — и он рассмехался.

Такие выходы с Крокодилом вообще очень рискованны, потому что в большинстве случаев он прямо посылает тебя к черту, и кажется, я один во всей лаборатории риску на эти выходы. Но когда они проходят, это указывает на то, что между нами все благополучно. Вообще, я, должно быть, не раз его огорошил. Он сперва теряется, но потом сразу посылает к черту. Уж очень непривычно ему такое отношение со стороны младшего. И я, кажется, раз шесть получал от него, как комплименты, «дурак», «осел» и т. п. Но теперь он несколько уже привык. Хотя большинство работающих в лаборатории недоумевают, как вообще такие штучки возможны. Но меня страшно забавляет, как Крокодил бывает ошарашен так, что в первый момент и слова выговорить не может...

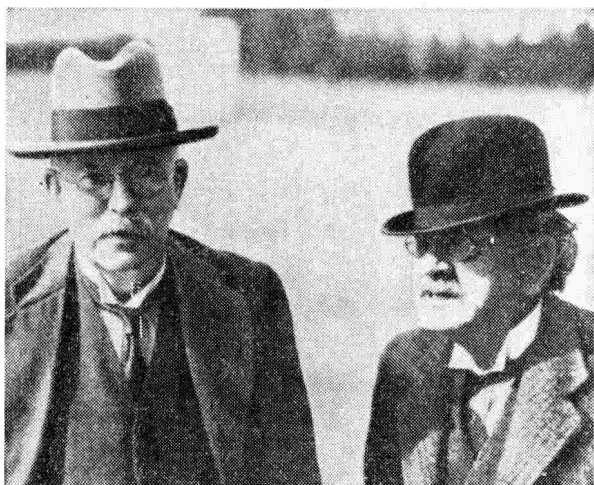
23 августа. Я получил стипендию имени Кларка Максвелла, а с ней и много поздравлений.

30 августа. Я затеваю еще новые опыты по весьма смелой схеме***. Если и на этот раз меня счастливо пронесет, то будет очень хорошо. Вчера вечером я был у Крокодила, обсуждал часть вопросов, остался обедать, много беседовал на разные темы. Он был очень мил и заинтересовался этими опытами. Пробыл я у него часов 5. Он дал мне свой портрет.

* Э. Я. Лаурман — ассистент Капицы.

** Это так называемый «Клуб Капицы» — дискуссионный кружок молодых физиков, в который входили Коккрофт, Блэккет, Дирак, Олифант и многие другие выдающиеся кембриджские физики.

*** Капица говорит о начале своих знаменитых опытов по созданию сильных магнитных полей, кратковременных, но беспрецедентных по напряженности. Эти опыты были небезопасны, ибо в установке возникали разрушительные перегрузки.



Эрнст Резерфорд и Дж. Дж. Томсон наблюдают за спортивными соревнованиями (30-е годы).

4 октября. Мне отвели большую комнату в лаборатории, которая специально перестраивалась для меня. Позавчера ремонт и перепланировка были закончены, и мы перебрались в эту комнату (вернее — три комнаты!). Помещение превосходное... Посылаю тебе фотографию Крокодила.

21 октября. Собрания кружка нашего, которого я инициатор, тоже развлечение. Дело идет хорошо, у нас... очень свободная дискуссия. Теперь в Кавендишской лаборатории Крокодил тоже затевает коллоквиум...

18 декабря. Крокодил говорит, что мне надо проработать здесь еще лет 5, а потом я могу диктовать сам условия, если захочу переезжать куда-либо в другое место. Это, конечно, здорово сказано... я боюсь, что он пересаливает.

3

Иного читателя, наверное, давно уже одолевает сомнение: а справедливо ли в этом повествовании так много места посвящать Капице? Не оттого ли автор столь щедр, что он соотечественник Капицы? Но тогда с не меньшим основанием немецкий автор книги о Резерфорде мог бы отдать такую же патристическую дань Отто Хану или Гансу Гейгеру. А польский — Казимиру Фаянсу или Станиславу Лория. Автор-американец пожелал бы предпочесть прочим резерфордовцам Бертраму Болтвуда или Говарда Бронсона; японец — Киношиту или Шимицу; индеец — скажем, Варана; венгр — Хевеши; южноафриканец — Вардера; португалец — да Коста Андраде; новозеландец — Флоренса; и так — пока не наскучит перечислять...

Вообще говоря, в такой односторонности нет никакой беды, при условии, что она не притворяется объективностью. В ней есть даже нечто бескорыстно трогательное, если только национальный герой каждого автора не расталкивает локтями своих иноплеменных коллег. Но при всем односторонности не исчезает, и о ней следует предупреждать читателя, дабы не вводить его в заблуждение относительно истинной роли мелькающих в повествовании лиц.

И когда бы здесь завелся чрезмерно подробный рассказ о других российских «мальчиках Резерфорда» — допустим, о манчестерцах Антонове или Боро-

довском, — такое отрезвляющее предупреждение было бы безусловно необходимо. Конечно, в их научных биографиях навсегда остались решающими годы и месяцы, проведенные у Резерфорда. И можно найти свидетельства его живейшего интереса к их работам и к ним самим. Но в его-то собственной духовной жизни им не случилось оставить памятного следа! Подобно большинству других его учеников, и англичан и чужестранцев, они были лишь «пролетными птицами» в его стае (этот образ, принадлежащий Капице, здесь уместен). С ними было то, что чаще всего и бывает.

А с Капицей было то, что бывает крайне редко.

И на каком бы языке ни писалась книга о Резерфорде, в ней не может не найтись подobaющего места для рассказа о появлении и возвышении в Кавендише этого молодого русского физика. И чем щедрее такой рассказ, тем меньше ущерба наносится объективности.

Капица недаром, подобно Нильсу Бору, писал о Резерфорде как о втором отце! Чуть ли не с первых дней их знакомства Резерфорд повел себя так, точно из незнаемого Петрограда явился вдруг на его попечение прежде незнаемый сын. Или, во избежание сентиментальности, не сын, а просто и всего лишь родственная душа. Легко говорится «просто» — между тем в этих-то вещах всего труднее докопаться до содержательной сути.

С первой минуты никто не удивлялся случившемуся больше, чем сами Капица и Резерфорд. В июле 22-го года, точно в ознаменование годовщины своего кавендишства, Капица написал матери патетические строки:

«...Я попробую в общих чертах осветить тебе мое положение. Представь себе молодого человека, приезжающего во всемирно известную лабораторию, находящуюся при университете самом аристократическом, консервативном в Англии, где обучаются королевские дети. И вот в этот университет принимается этот молодой человек, никому не известный, плохо говорящий по-английски и имеющий советский паспорт. Почему его приняли? Я до сих пор этого не знаю. Я как-то спросил об этом Резерфорда. Он расхохотался и сказал: «Я сам был удивлен, когда согласился вас принять, но во всяком случае я очень рад, что сделал это...»

Сохранилось лабораторное предание об их первом обмене репликами, когда А. Ф. Иоффе представлял сэру Эрнсту своего ученика. Письмо Ядвиги Шмидт и устные рекомендации Иоффе, хотя и возымели действие, оказались, по-видимому, все же недостаточными: Резерфорд недвусмысленно заметил, что в Кавендише у него лишь 30 рабочих мест и все, к сожалению, заняты. Тогда Капица, набравшись духа, — терять-то все равно уже нечего было! — невозмутимо сказал:

— 30 и 31 различаются примерно на 3 процента, а Вы, господин профессор, обычно за большей точностью ведь и не гонитесь...

Говорили, что Резерфорд был покорен.

С короткой пристальностью взглянул он на молодого русского своими светлыми, решительными и всегда немножко возбужденными глазами, встретил чем-то похожий, прямой, синеватый взгляд и прорычал что-то вроде «Ладно, оставайтесь!». Усмехнулся и, пародируя тогдашние всеобщие крики о «большевистских агитаторах», притворно угрожающе добавил:

— Но если Вы вместо научной работы будете заниматься коммунистической пропагандой, я этого не потерплю!

(В лабораторном предании последней фразы сэра

Эрнста нет, но зато Капица процитировал ее в письме к матери, написанном через год.)

Возможно, и вправду так началось их сближение. А возможно, и как-то по-другому. Установить это трудно. Сам Петр Леонидович Капица полагает достаточным полшутливое объяснение в форме вопроса: «Разве не бывает любви с первого взгляда?»

Однако, может быть, это вовсе и не шутка?

Резерфорд считал себя физиономистом. Это было совершенно в его духе: доверять голосу чувства и полагаться на первое впечатление.

...В 1927 году по представлению А. Ф. Иоффе должен был приехать в Кавендиш другой молодой ленинградец — Кирилл Синельников. Резерфорд не проявил ни малейшего интереса к анкетно-бумажным сведениям о нем, но попросил, чтобы ему прислали фотопортрет кандидата.

Анна Алексеевна Капица, дочь академика Крылова, ставшая в 27-м году женой Петра Леонидовича Капицы, вспоминает, что все их кембриджские друзья очень смеялись, глядя на карточку, присланную Синельниковым, и ни у кого не было уверенности, что дело кончится благополучно. Синельников снялся в кожаной куртке, эффектно напаянной кепке, с папирсой в зубах. Любопытна параллель, рождающая догадку, что молодой ленинградец, быть может, действовал вполне обдуманно. И если так, то очень умно. Когда в 1964 году английское издательство Пергамон-Пресс выпустило к 70-летию члена Королевского Общества П. Л. Капицы 1-й том его сочинений, оно предпослало тексту портрет автора начала 20-х годов: кожаная куртка (или короткое пальто), демократическая кепка, трубка во рту... Сходство внешнего рисунка в обоих случаях «в пределах ошибок опыта». Психологическая задача решена была правильно. И когда Капица положил перед Резерфордом пришедшую из Ленинграда фотографию, раздалось удовлетворенно-принимающее:

— Пусть едет!

...Так что и вправду запросто могла случиться любовь с первого взгляда. Без всяких шуток.

Однако за первым взглядом раньше или позже следует второй. Выдержать это новое испытание отнюдь не легче: тут уж в оценке участвует анализ. Ясно, что молодой Капица прошел без потерь через все извивы тайной критики, которой молча подвергал его Резерфорд.

Смешно говорить: без потерь! День ото дня он все рос в глазах патрона и приобретал совершенно вещественные свидетельства его расположения.

Через две недели: взамен чердачного закутка — нормальное рабочее место в общей лабораторной комнате;

через четыре месяца: отдельная рабочая комната на одного;

через год: две комнаты и два помощника;

через год и три месяца: три комнаты и свой штат!

Ни в Монреале, ни в Манчестере, ни в Кембридже таких милостей не знал ни один из резерфордовских мальчиков — ни один. А тут еще признание: «Я трачу на ваши опыты больше, чем на опыты всей лаборатории, взятой вместе!» Ничего даже отдаленно похожего — ни до, ни после — не слышал из его уст никто: ни Содди, ни Хан (в Монреале), ни Гейгер, ни Робинзон, ни Мозли (в Манчестере), ни Чадвик, ни Блэккет, ни Коккрофт, ни Олифант (в Кембридже) — решительно никто!

Нечаянно, но очень кстати здесь пробился наружу совсем нелишний для нашего рассказа мотив: беспрецедентное возвышение Капицы было тем поразительней, что происходило ведь не на необитаемом острове, где довольно просто «быть», чтобы

оказаться вторым и сделаться бессмертным Пятницей, а в прославленной ученой обители, издавна и густо заселенной талантами. «Питомник гениев» — так назвал Кавендиш профессор Ричи Колдер, размышляя не только о томсоновском, но и о резерфордовском выводе Нобелевских лауреатов и членов Королевского общества. А Эгон Ларсен в небольшой книге, озаглавленной этими словами, написал о Капице: «На протяжении четырнадцатилетнего пребывания в Кавендише он был ближайшей к Проф'у*, доминирующей фигурой».

Ларсен написал это в 1962 году уже как историк. Но правоту его подтвердил как живой очевидец сэр Джон Коккрофт, предпославший книге одобрительное предисловие.

Еще одну подтверждающую визу поставила молва. Дело в том, что к приведенным строкам о Капице Ларсен прибавил фразу: «Поговаривали даже, что Резерфорд «находился у него под башмаком»...» Это кажется галлюцинацией слуха: вообразить Резерфорда под чьим бы то ни было башмаком, кроме башмачка его Мэри, так же противостественно, как представить дрессированного кита. Однако мстительной ревности все под силу. И это пустило по Кембриджу оскорбительную молву, рассчитанную на то, чтобы испортить отношения между учителем и учеником. Правда, расчет этот был заведомо нерасчетливым: они не повздорили бы из-за такого вздора (да никто и не рискнул бы довести эту сплетню до слуха сэра Эрнста в предвидении сокрушающего разноса со стороны подбашмачника). Но нам-то здесь важно, что такая сплетня ходила независимо от ее доброкачественности: значит, для ревности и зависти повод был нешуточный! И существенно, что Коккрофт не сказал Ларсену: «Едва ли это верно — я таких разговоров не слышал». Есть устные свидетельства еще двух физиков-англичан, кавендишевцев тридцатых годов, что возвышение Капицы нравилось далеко не всем. Иным оно не нравилось по вполне националистическим, то есть грубо-рыночным мотивам: «Это почему же какому-то русскому да столько профита?!

Словом, уникальность истории с Капицей можно считать доказанной достаточно хорошо.

Остается ее понять.

И надо ли говорить, что любовью с первого взгляда всего объяснить нельзя. Родством душ — тоже. В результате бесед со старыми кавендишевцами Роберт Юнг расшифровал это родство душ следующим образом:

«О самом Резерфорде можно было слышать такие высказывания: «Отношения с Резерфордом не являются обычными. Никто не может дружить со стихией». Все это относилось и к Капице. Он так же, как и его патрон, с энтузиазмом наслаждался жизнью, обладал такой же необузданной энергией и таким же богатым воображением... Мчался ли он с предельной скоростью по тихим английским сельским дорогам, прыгал ли в реку, распугивал ли лебедей, подражая карканью ворон, проводил ли по нескольку ночей без сна, уподобляясь богу-громовержцу, экспериментировал ли с высокочастотным генератором, нагружая его до такой степени, что начинали гореть кабели, — всегда он жил за чертой обычных условностей. Он любил водиться с техникой и презирал опасности».

Этот двойной портрет очень привлекателен. Но стихийное начало в обеих натурах здесь сильно преувеличено. И романтический пафос жизни «за чертой обычных условностей» тоже преувеличен. Оба от-

* Профессору.

личались земною трезвостью и целеустремленной волей. И прекрасно умели дисциплинировать свои увлечения — и житейские и научные. Оба, каждый на свой лад, знали, чего хотели. И обладали умением неудержимо добиваться желанного. И потому-то, кроме чувства симпатии к родственной душе, что-то еще — несравненно более существенное и неодолимо сильное — должно было руководить Резерфордом, когда из тесноты и скудости Кавендиша он выкраивал для Капицы все новые рабочие площади и все новые фунты стерлингов.

Тотчас напрашивается простейшее объяснение: работы русского физика помогали осуществлению его, резерфордовой программы атомно-ядерных исследований — той, что однажды набросал он на последних страницах лабораторной книжки из довоенной миллиметровки. Да, помогали. Но не больше, чем работы, скажем, Чадвика. Или Блэккетта. Стоит, кстати, заметить, что Резерфорд не сделал ни одного исследования в соавторстве с Капицей, а в соавторстве с Чадвиком — по меньшей мере 10! Тем не менее... Тем не менее, когда осенью 26-го года приехал в Кембридж и стал работать у Резерфорда двадцатидвухлетний ленинградец Юлий Борисович Харитон, он сразу увидел, что у Капицы — в отличие от остальных резерфордовцев, включая Чадвика, — свое царство в Кавендише. «Свое царство» — это слова Харитона.

Может быть, идеи Капицы обещали сверхскорое раскрытие загадки ядра (что было мечтой Резерфорда)? Да нет, ни в малой степени. Капица не страдал прожектерством, а Резерфорд — легковерием.

Так в чем же было дело?

Это предметно определилось и неоспоримо осозналось лишь с годами.

4

А годы шли...

Двадцатые годы двадцатого века.

Когда-нибудь они станут синонимом безоглядного новаторства во всех областях человеческой культуры. Годы Корбюзье и годы Чаплина, годы Мейерхольда и годы Хемингуэя, годы Хиндемита и годы Маяковского, годы Пикассо и годы Бора... Два последних имени стали тут бок о бок не случайно: квантовую физику — детище Нильса Бора — стыдили прозвищем «Пикассо-физика...». То были заворачивающие годы безумных затей и безумных идей.

Успехами в познании микромира и устройства природы они соперничали с предыдущим великим десятилетием, когда сделаны были или завершены открытия эпохального свойства: атомное ядро (1911) — атомная модель Резерфорда — Бора (1913) — общая теория относительности Эйнштейна (1916) — первое искусственное расщепление атома (1919)... Казалось: что сможет стать рядом с такими свершениями! Думалось: новые фундаментальные знания достанутся теперь уже только следующим поколениям. Чадвик вспоминает, что Резерфорд так и сказал однажды. И не ошибся, ибо имел в виду проблему строения ядра. Но свет не сходилась клином на этой частной проблеме. Ее просто рано было решать: еще скрывались в неизвестности самые основные и общие законы атомной механики — механики микромира. И еще не предвиделось, что с открытием этих неклассических законов микродействительности придет конец безраздельному господству тысячелетней однозначной причинности. Еще не мерещилось, что природа окажется на самом деле вероятностным миром, чуждым железной необходимости прежних на-

турфилософий и религий... И вот эту-то революцию в естественнонаучном миропонимании человечества вершили двадцатые годы, разумеется, не уступая в эпохальности предшествующему десятилетию.

Однако на сей раз начальные эпицентры новых потрясений уже не находились ни в рабочем кабинете Эйнштейна, ни в лаборатории Резерфорда. Они, эти гиганты, вызвали к жизни новую революцию в физике своими предыдущими открытиями, но теперь не они ее делали. Правда, они по-разному ее не делали: Эйнштейн ей философически противился, а Резерфорд молча ей изумлялся.

Так или иначе, но поначалу Кавендиш очутился в стороне от бури. Там не очень штормило. А эпицентры перемещались по континентальной Европе из страны в страну, втягивая в квантовую драму идей все новые имена. Тем временем в Кембридже жили своими исканиями, чья драматичность совсем не бросалась в глаза: там вели экспериментальную разведку атомных ядер — накапливали сведения об их силовых полях и стремились заглянуть в их глубину, поневоле без особых надежд.

И не нужно удивляться словам Чадвика:

«В течение ряда лет Резерфорд и его лаборатория переживали относительно спокойные времена. Прделано было много интересной и важной работы, но то была работа, связанная скорее с упорядочением знаний, нежели с открытием неизвестного; несмотря на многочисленные попытки, не удавалось найти пути в новые области неведомого...»

И одно только можно было сказать уверенно: уже чувствовалось и создавалось подспудно, что проникновение в атомные недра будет требовать все более высокой лабораторной техники. Все более мощных экспериментальных установок. Все более внушительных энергетических ресурсов. Все более тонких инженерных решений.

Резерфорд любил размышлять на эту тему вслух и, когда представлялся случай, любил рассказывать в этой связи о последних достижениях и замыслах Питера Капицы. С искренним изумлением и с оттенком отцовско-наставнического бахвальства (вот какковы мои кавендишевыцы!) говаривал он о серьезном намерении своего ученика и друга поработать с магнитными полями порядка 1 миллиона гаусс.

Это звучало фантастически: создание магнитных полей даже в 50 раз менее сильных было тогда отнюдь не простой технической задачей. Для того, чтобы возникало мощное магнитное поле, требовались мощные электрические токи. Получать их было нелегко. И дорого. А при длительном пропускании таких токов через катушку, внутри которой и должно было возбуждаться нужное поле, грозили бедой опасные перегревы.

На что же рассчитывал Капица? Ответ был покоряюще прост: для атомных экспериментов вполне достаточны мгновенные поля в небольших пространственных объемах! Альфа-частице, например, на полет через камеру Вильсона с лихвой хватает миллионной доли секунды. И любому внутриатомному процессу, чтобы начаться и кончиться, ничтожных долей секунды более чем довольно. Так, стало быть, и магнитному полю, дабы оказать свое влияние на ход таких процессов, тоже не нужно жить долго. Создавать чудовищные поля на мгновения — вот в чем заключался замысел Капицы.

А как создавать таких монстров? Тут начиналась инженерия. И вмешивался в дело риск. И появлялась нужда в затратах, каких не знавала прежде Кавендишевская лаборатория, давно заслужившая прозвище «веревочно-сургучной».

...О неизбежности расходов сэр Эрнст упоминал без всякого энтузиазма. Зато о необходимости риска

говорил возбужденно и с полным доверием к инженерно-физическим решениям Капицы. Еще бы! Эти решения были близки ему по духу. И прельщали его своей убедительной парадоксальностью.

Суть дела становилась впечатляюще-зримой, едва произносились слова «короткое замыкание». Обычно это техническая неприятность, если не катастрофа. И вправду: представьте, что вся громада энергии, рассчитанной на постепенную трату в длинной череде потребителей тока, вдруг обрушивается на ограниченный участок цели! Возникают недопустимые перегрузки. Выходят из строя агрегаты. Горят предохранители. (И это лучший исход.) Однако при помощи такого рода катастроф Капица и собирался создавать сильные магнитные поля.

...Генератор тока, развивавший большую мощность — она в три раза превышала мощность тогдашней кембриджской городской электростанции! — должен был в моменты коротких замыканий сполна отдавать всю свою энергию маленькой катушке, расположенной в отдалении. Одной маленькой катушке!

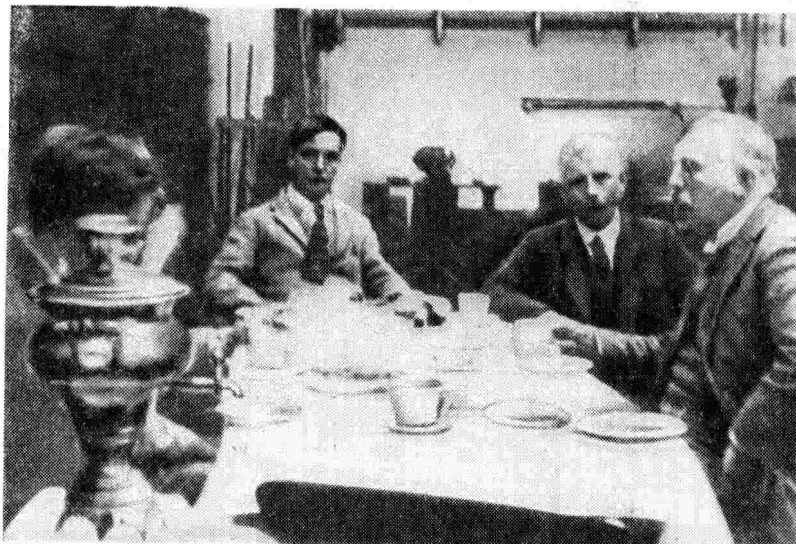
Располагать ее в отдалении надо было обязательно. В момент замыкания резко, совсем как налетевший на стену автомобиль, тормозился разогнанный до огромной скорости ротор динамо-машины. Кинетическая энергия его вращения и преобразовывалась в энергию магнитного поля. Но не сполна, а с неустрашимыми потерями. И очень ощутимыми. От этих потерь дрожал фундамент. Сотрясались стены. Звенели стекла. (И то был лучший исход.) Маленькую медную катушку надо было оградить от волн этих механических деформаций, по крайней мере на время существования в ней запланированного магнитного поля — на те сотые доли секунды, пока длилась сама катастрофа и шел затеянный физический эксперимент. А деформации бегут со скоростью звука: сотая секунды — несколько метров. Несложный расчет показывал, как далеко следовало унести катушку...

В общем, Капице и впрямь нельзя было обойтись малыми средствами и скромными помещениями!

...Летом 1925 года, только что избранный Президентом Королевского Общества, Резерфорд отправился в длительное путешествие «на ту сторону Земли». Пока он навещал отчий дом в Новой Зеландии, заведенным чередом шла на берегах Кэма исследовательская работа. И когда в конце декабря, на обратном пути из Антиподов в Англию, он задержался на четыре дня в Египте, чтобы взглянуть на пирамиды и сфинксов, его постигло там очень выразительное письмо от Капицы:

Кембридж, 17 декабря 1925.

Я пишу Вам это письмо в Каир, дабы рассказать, что мы уже сумели получить поля, превышающие 270.000, в цилиндрическом объеме диаметром 1 см и высотой 4,5 см. Мы не смогли пойти дальше, так как разорвалась катушка, и это произошло с оглушительным грохотом, который, несомненно, доставил бы Вам массу удовольствия, если бы Вы слышали его...



Чаепитие в лабораторной комнате Капицы. Справа налево: Эрнст Резерфорд, Фр. Астон, П. Л. Капица (Кембридж. 20-е годы).

Но результатом взрыва был только шум, поскольку, кроме катушки, никакая аппаратура не претерпела разрушений. Катушка же не была усилена внешним ободом, кановой мы теперь намереваемся сделать.

...Я очень счастлив, что в общем все прошло хорошо, и отныне Вы можете с уверенностью считать, что 98 процентов денег были потрачены не впустую и все работает исправно.

Авария явилась наиболее интересной частью эксперимента и окончательно укрепляет веру в успех, ибо теперь мы точно знаем, что происходит, когда катушка разрывается. Мы также знаем теперь, как выглядит дуга в 13.000 ампер. Очевидно, тут вообще нет ничего пагубного для аппаратуры и даже для экспериментатора, если он держится на достаточном расстоянии.

Со страшным нетерпением жажду увидеть Вас снова в лаборатории, чтобы в мельчайших деталях, иные из которых забавны, рассказать Вам об этой схватке с машинами.

Схватка с Машинами!

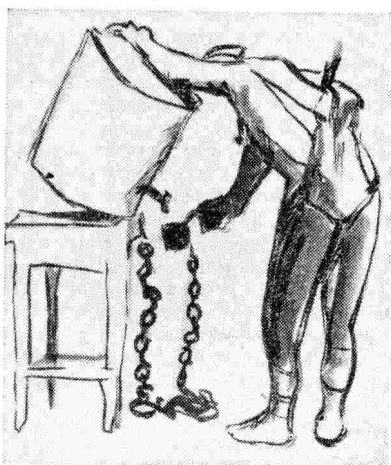
Это сказано неожиданно и сильно. Такие баталии были тогда совершеннейшей новостью в технике атомно-ядерного эксперимента. И сердце Резерфорда не могло не радоваться этой новизне. Повторим: есть все основания утверждать, что он давно осознал: для последовательной атаки атомного ядра понадобятся громадные энергии. И понял: только высокая инженерия сможет со временем дать их атомной физике.

Так не потому ли с первых самостоятельных шагов инженера-физика Капицы он выделил его из ряда вон, что, кроме стремительно отважного исследовательского дара, угадал в повадках и замыслах петроградца еще кое-что существенно важное для будущего? Не почуял ли он в циклопических замашках Капицы предвестие грядущей поры индустриально-технического переоснащения всей экспериментальной базы физики микромира?

И не имеет значения, что впоследствии Петр Леонидович Капица не занимался ни ускорителями, ни реакторами — этими гигантами ядерного века. То существенно, что в первую Схватку с Машинами вступил в резерфордовской лаборатории именно он!

Г Л А З, Р У К А, С Е Р Д Ц Е

Я до сих пор ругаю себя, что во время войны не вел дневника. Ну, не дневника — это и в мирное время не очень-то получается: нужен определенный склад характера, — но хотя бы заметок, записей... У нас в полку, в Сталинграде, был ПНШ — помощник начальника штаба, историк по образованию. Он собирал различную документацию. Лично для себя, для будущего, для истории. Мы его слегка презирали: воевать надо, а он бумажки собирает... Что бы я только не дал сейчас за эти бумажки — схемы, донесения, отчетные карточки, формуляры на минные поля, которых сделал за те годы видимо-невидимо! Но от Сталинграда у меня сохранился



У бачка.

только помазок для бритья да память о друзьях...

За двадцать пять лет, что прошли со дня начала войны, — подумать, двадцать пять лет! — о ней сказано очень много. Сказано, написано, нарисовано, снято, поставлено на сцене. Много из этого, из этих широких полотен, романов — хотя в них достаточное количество страниц, метров, героев и фанфар — давно уже забыто, другое же сохранило свою свежесть до сегодняшнего дня. Почему?

Кое-кто считает, что правдивее и полнее всего о войне рассказали фото- и кинокорреспонденты. Не буду спорить — я могу часами смотреть кинолетопись войны, рассматривать сделанные на передовой с риском для жизни фотографии, но когда у делавшего это корреспондента в руках кисть или карандаш, мне это особенно дорого. Дорого, потому что, как ни странно, у кисти и карандаша куда больше возможностей, чем у фото- и кинокамеры.

И вот тут-то мне хочется поговорить о Леониде Сойфертисе, «корреспонденте» с кистью и карандашом.

Сойфертис был в Севастополе в самые тяжелые для города дни. О Севастополе мы многое знаем — опять-таки по сводкам, книгам, фильмам. Мне во время войны не пришлось побывать в Севастополе, но до войны бывал там часто и даже некоторое время, студентом, работал там. Мне стал близок и понятен дух этого живо-



Котенка нашли.

писного, изрезанного бухтами моряцкого города. Дух прошлого — толстовских рассказов, Нахимова, Тотлебена, Корнилова, Кошки, четвертого бастиона, Малахова кургана, бронзовых пушек и ядер — и дух сегодняшний — кокетливые, подтянутые морячки в форме — во всем белом, как и сам город, и насквозь прожженные солнцем, ворчливые старухи в тени замкнутых дворики, и босоногие, звонкоголосые пацаны, и крепкое словцо рыбаков за кружкой пива с воблой... Таким я запомнил довоенный Севастополь. И таким (и в то же время не таким!) я



Л. В. Сойфертис.

сразу же узнал его в рисунках Сойфертиса.

Война — дело серьезное, и как-то, особенно в те годы, о ней принято было говорить серьезно. Люди сражаются, гибнут, отступают, попадают в плен — тут не до смеха. А вот Сойфертис умудрился, будучи сам защитником Севастополя, увидеть в окружающем и окружающих самое главное — пульс, нерв осажденного города. А в нем, в этом городе, было все: героизм, трагедия и грустное и смешное. Да и просто жизнь как она есть — улица, дворик, те самые обожженные старушки на крылечке — оторвались от своих вязаний и следят за воздушным боем, — и пацаны с азартом в чetyре руки чистят матросу сапоги — у того нет времени, торопится, может, даже на свидание.

Атаки, бомбежки, стиснутые зубы — все это было. Но было и то, что помогало эти атаки отбивать и переходить в контратаки, была непрерывная нить жизни — котелок каши, сон, шутка, песня, прифронтовой концерт, подруги... И чтоб все это увидеть и рассказать — тут же на месте, рядом с не остывшей еще воронкой, а может, и в самой воронке, — нужны острый глаз, крепкая рука и хорошее, доброе сердце. Все это было — и есть — у Сойфертиса.

Нет нужды пересказывать содержание фронтовых серий «дневников» художника. Все понятно с первого взгляда. Ничего лишнего. Схватчена суть. Моменты. Сценки.

Персонажа. И ко всему — собственное отношение. А это очень важно. Это-то и отличает «корреспондента» с карандашом и кистью от других его собратьев... И всегда улыбка. Иногда веселая, иногда грустная, иногда снисходительная. Даже в зарисовках берлинских руин она есть, но тут она уже горькая, ироничная.

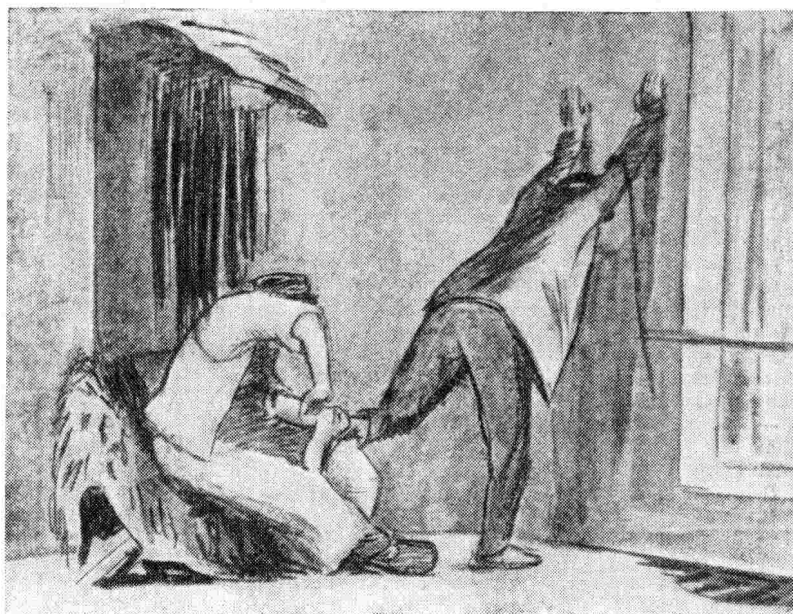
Умение увидеть в тяжелом и трагическом не только это, но и что-то другое, скрашивающее это тяжелое, помогающее среди него жить, — великий дар художника. И, может, именно поэтому так надолго, прочно и с первого раза запомнились нам военные рисунки Сойфертиса. В них была абсолютная точность и правда. А к тому же и легкость, которой так не хватало и так хотелось ощутить на войне.

Но Сойфертис отнюдь не «военный» художник. Он был на войне,

де. Сколько раз вы это видели. Миллион. И проходили мимо. А Сойфертис не прошел. И доставил нам радость. И вызвал улыбку. И мягко намекнул, что и у нас есть глаза, а многого мы не видим, не замечаем, и зря...

В сотый, тысячный раз убеждаюсь, что искусство определяется не размерами, не количеством затраченного на данное произведение времени. Тайна его окончательно еще не раскрыта (насколько рисунки доисторического человека — большее искусство, чем многие произведения признанных современников), но, мне кажется, кроме таланта, сердце художника играет тут не последнюю роль.

Кто-то из великих сказал, что талант — это в первую очередь труд. Не буду опровергать это утверждение: с великими не принято спорить, — дополню его только словами другого, не менее ве-



Набойки.

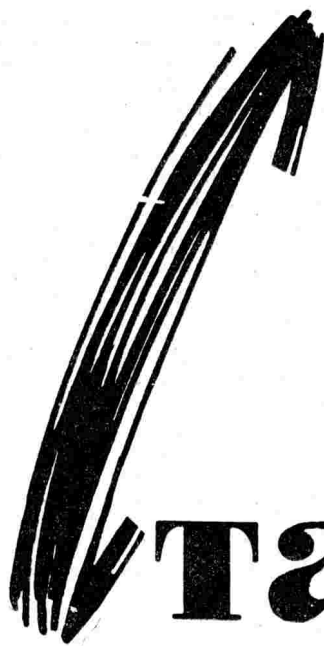
он знает войну, но, как и большинство нормальных людей, он ненавидит ее. А любит жизнь. Окружающую жизнь. Термин, может быть, и странный, но под ним я подразумеваю то, что повседневно нас окружает, но не всегда замечаемо нами.

Взгляните на прилагаемые рисунки, и вы сами поймете.

Взгляните на этих ребятшек в телефонной будке, на сапожника, прибивающего набойки, на певца с гитаристом на летней эстра-

ликого художника. Когда его спросили, почему так дорого стоят его рисунки, сделанные в течение одной минуты, он ответил: чтоб сделать это за одну минуту, я должен был трудиться всю жизнь.

Я всегда вспоминаю это изречение, когда смотрю на матросов, мальчишек, билетерш, гардеробщиц, сапожников и влюбленные парочки Сойфертиса. Глаз, рука и сердце! Ну и, как уж не вертись, — труд. А все вместе — большой художник.



● Аркадий Адамов

Тая

Рисунки Г. Калиновского и Л. Фалина.

Авечером состоялась встреча в переулке, напротив дома, где жила Галя.

По дороге Розовый сказал Пашке:

— Не будь дура!», девка классная, не уппусти смори.

— Там поглядим,— коротко ответил Пашка.

Он был настроен скептически, хотя предстоящее свидание все же волновало его. Для такого случая он даже надел белую рубашку и галстук.

Держался Пашка поначалу солидно и говорил мало. Зато Галя была в ударе, молчание Пашки только подзадоривало ее.

— Так вы водите машину? — с восхищением спросила она, всплеснув руками. — Ах, я обожаю быструю езду!

Пашка посмотрел на нее одобрительно, с интересом.

— Вообще-то женщины этого опасаются,— сказал он.

— Пашка — это ас,— льстиво сказал Розовый. — Скорость дает — будь здоров.

— Вот бы и поучился, Коленька,— с усмешкой сказала Галя, беря Пашку под руку. — Правда, тут еще и смелость нужна.

Галя ослепила Пашку. Таких девчат он еще не встречал. И под жарким Галиным взглядом испарился весь его скептицизм, исчезла настороженность. Галя казалась совершенно покоренной героическим шоферским ореолом, сиявшим вокруг Пашкиной головы.

Получилось как-то так, что Пашка стал среди них главной фигурой, он должен был проявлять инициативу, все сейчас зависело от него. Галя готова была идти с ним куда он только захочет, ну, а Розовый вообще в счет не шел. И это тоже льстило Пашкиному самолюбию.

— Ой, как холодно! — жалобно сказала Галя, прижимаясь к Пашке и словно ища у него защиты от ледяного ветра.

И Пашка решился.

— Ну что ж, надо согреться,— солидно объявил он. — Куда бы это пойти?

Галя почти с мольбой посмотрела на него своими яркими, подведенными глазами.

— Ах, куда угодно! Только бы не стоять на этом ветру.

И Пашке показалось, что таких влюбленных, преданных глаз он тоже никогда не видел.

В ресторане после второй или третьей рюмки Пашка разошелся вовсю. А Галя не спускала с него сияющего взгляда и тихо ахала, не отнимая руки из его разгоряченной ладони. Пашка азартно рассказывал, как ловко и рискованно, на сумасшедшей скорости, ушел однажды от гнавшегося за ним инспектора. А Розовый в полном восторге шлепал себя по коленям, и на круглом, покрасневшем его лице было написано безмерное восхищение.

Потом Пашка танцевал с Галей, и она, прильнув к нему, положила голову на его плечо, ее пепельные волосы касались его щеки. Вдыхая незнакомый аромат духов, Пашка нежно и бережно обнимал эту необыкновенную девушку, чувствуя, как сладко кружится голова.

Из ресторана они ушли последними, когда уже стали гасить свет. Розовый сразу простился, а Пашка отправился провожать Галю.

В подъезде Галя поспешно вырвалась из его объятий и, жарко поцеловав в губы, убежала. Пашка даже не успел с ней условиться о новой встрече. Он досадливо и растерянно потоптался несколько минут

около лестницы, потом неуверенными шагами направился к выходу.

Снова увидеть Галю можно было только с помощью Розового, который стал теперь как-то особенно дорог Пашке. И Пашка, не задумываясь, кинулся на следующий день отыскивать его.

Выслушав предложение «повторить заезд», Розовый, ликуя в душе, пожал плечами и предложил:

— Тут у нас одна компашка сбивается. Можете с Галкой примкнуть.

Пашка моментально согласился. И Розовый насмешливо подумал: «...Кажись, готов уже. Ну и Галка!» Он не сказал Пашке, какая именно «сбивается» компания на вечер, это его не касалось. И тем более не должен был знать Пашка причины, потайные причины, по которым «сбивалась» эта компания.

Все последние дни Толя Карцев находился под впечатлением своего разговора в райкоме. И главное чувство, которое охватывало его при этом, был стыд. Как он позорно вел себя там! Нет, он нисколько не жалел, что высказал секретарю райкома все, что думает. Пусть знает! Карцеву сначала казалось, что он вел себя архисмело, что он раскрыл глаза секретарю райкома и заставил его «выкручиваться».

Но это казалось только сначала. А потом пришел стыд. Как он это все говорил! Истеричная баба, и та не вела бы себя так позорно. При воспоминании о том, как он кричал, вскакивал с места и, наконец, убежал, не дослушав, ему становилось стыдно.

Этот стыд мешал ему думать обо всем остальном. И только на второй или третий день он наконец припомнил и впервые задумался над самой сутью разговора в райкоме. И тогда ему показалось, что секретарь вовсе не изворачивался и даже спорил с ним довольно резонно. По общим вопросам, конечно. А вот по частным, по поводу его дела...

Между прочим, Карцев все чаще вспоминал третьего, безмолвного участника разговора, того скромного, светловолосого парня. В его глазах было столько интереса к нему, Карцеву, и какое-то даже сочувствие, пожалуй. Только охвативший Карцева азарт, только волнение помешали ему тогда обратить внимание на этого человека. Кто он такой, почему присутствовал при разговоре и почему так упорно молчал?

Он сейчас все больше думал о нем, думал с невольной и непонятной симпатией. Чем-то, видно, расположил его к себе этот молчаливый парень. Но стоило Карцеву в своих размышлениях дойти до этого места, и он неизменно усмехался. Чужь! Ведь совершенно незнакомый человек. Просто тошно ему, просто мечтает видеть рядом с собой настоящего друга, честного, преданного, умного. Нет, не может жить человек без такого друга. Его уже не охватывало прежнее злобное чувство, когда все кругом казались врагами. Найти друга можно, и это будет совсем другой человек, чем те, с которыми он связан сейчас. Эти мысли преследовали Карцева всюду: дома, на работе, в дороге.

А тут еще Гусиная Лапа затеял странное, непонятное дело — заставил долбить стену в подвале какого-то дома. Что было там, за ней, никто не знал. Гусиная Лапа только загадочно усмехался. И никто не смел его послушаться. Гусиная Лапа был способен на все. А каждый хотел еще пожить на этом свете. Вот только Генка... Мысль о нем тоже не давала покоя Карцеву.

Генка Фирсов по кличке Херя, рыжий, щербатый парень с лошадиным лицом, на второй вечер, отбив себе молотком палец, обозлился и заявил, что боль-

ше долбить эту проклятую стену не будет. И исчез Генка. Да, страшный человек Гусиная Лапа, и никто о нем ничего не знает, даже как его настоящее имя, никто не знает. Вот разве только один Розовый...

После той памятной ночи, когда они пытались взломать палатку, а потом избили человека, Карцев по возможности сторонился Розового. Он не мог забыть его звериной вспышки, когда тот схватился за нож. Но и открыто ссориться с ним он не решался. А Розовый вел себя так, будто между ними ничего не произошло. Когда смены их совпадали, они вместе выходили с завода, шли со всем рабочим людом, солидно обсуждая, какой сегодня попался наряд, сколько «выгнали» деталей и прочие заводские дела. А потом прощались коротким кивком, и Розовый многозначительно предупреждал: «К вечеру, значит, чтоб был». И Карцев приходил...

Родителям он говорил, что они на заводе готовятся к вечеру, репетируют. Отец верил и рассеянно кивал головой. Он был вечно погружен в свои дела. Они там в институте разрабатывали какой-то новый проект, но пока неудачно, с ним были одни неприятности, и отец ходил угнетенный и озабоченный. Да и вообще дружбы с отцом не получилось, и желания поделиться с ним чем-нибудь тоже нет. Далекий он какой-то. Вот мать, она определенно что-то чувствует, часто плачет ночами и смотрит на него такими глазами, столько в них страдания и укора, что душа переворачивается. Но и ей ничего не говорил Карцев: нелзя, страшно.

...В тот день они работали в одной смене. И в обеденный перерыв Розовый подошел к Карцеву, отозвал в сторону.

— Слышь, Профессор,— сказал он небрежно.— Тут одна красоточка помирает по тебе.

— Знаю я твоих красоточек.

— Не. Эта не из таких,— заверил Розовый, оживляясь.— Культурная. Сердечный друг ей, понимаешь, нужен.

— Вот бы и стал.

— Не. Ей такие не нужны. Папаша-то, небось, профессор. Вот ты ей в самый раз будешь. А уж красотуля!— Розовый даже зажмурился от восторга и прищелкнул языком.— Поискать — не найдешь. Эх, мне б культуры — ну, все тогда.

— Откуда же ты ее знаешь?

— Одним глазом видел. А так подружка ее рассказывала. Ну, а я ей про тебя выдал, на всю железу. Будь спокоен, понимаешь. Вот у той и загорелось. Хочу, говорит, этого Толика охмурить.

Розовый лукаво подмигнул.

А Карцеву вдруг стало весело. Что ж, в самом деле! Почему бы и не встретиться? Надо в конце концов рассеяться. А то так можно, пожалуй, и свихнуться от дурацких мыслей и сомнений. А если она еще и в самом деле красotka...

— Какая же она из себя? — как можно равнодушно спросил он.

— Значит, так... — со смаком начал Розовый. А кончил деловито, как о чем-то решенном: — Зовут ее, между прочим, Раечка. Встречаемся сегодня вечером. Готовь монету. Гульнем так, что закачается и упадет. Дело знаем.

И он снова, уже заговорщически, подмигнул.

Карцев с волнением стал ждать вечера. Новое знакомство все больше распаляло его воображение. Девушка была, очевидно, красива, даже по описанию Розового.

В тот день Карцев вернулся домой необычно возбужденный, даже повеселевший. Мать встретила его, как всегда, настороженным, вопрошающим взглядом. Отца дома не было.

Матери он бодро сказал:
— В общем, мамочка, жизнь — штука разнообразная. — Потом чмокнул ее в щеку и просительно добавил: — Ты мне рубашку не подгладишь?

Немного спустя Марина Васильевна услышала из кухни, как сын в комнате пропел:

Помирать нам рановато,
Есть у нас еще дома дела...

И слабо улыбнулась. Что это с ним? Все дни был такой угнетенный, раздражительный. И вдруг... Но спросить побоялась.

В назначенный час Карцев встретился с Розовым.
— Ну, давай твою красотку, — усмехаясь, сказал он.

— Будет, в лучшем виде все будет, — пообещал тот.

Потом к ним присоединился Пашка, и они, уже втроем, направились к месту встречи.

Раечка Туманова, маленькая, изящная, черноволосая девушка с веселыми карими глазами, работала чертежницей.

Год назад она провалилась на вступительных экзаменах в медицинский институт.

Раечка собиралась пропустить год и снова сдавать экзамены. Но отец решительно заявил: «Хватит. Пусть ума сначала наберется. Я не вечен».

И вот она очутилась в конструкторском бюро. Раечка считала отца извергом, который решил ее доконать. И только природная ее жизнерадостность и неистребимое кокетство да еще тайное покровительство матери позволяли ей сравнительно легко переносить все неприятности.

Знакомые мальчишки наперебой приглашали ее на танцы и вечеринки, напропалую ухаживали за ней, и Раечка веселилась, забывая обо всем, и была в тот миг счастлива.

Когда-то, в школе, она охотно занималась комсомольской работой, ей нравилось затевать походы, участвовать в горячих диспутах, играть в драмкружке. В школе она чувствовала себя равной со всеми и всем нужной. Ее энтузиазм и увлеченность зажигали других. Раечка все время что-то придумывала и организовывала. Здесь же, в конструкторском бюро, все были старше и серьезнее ее, здесь она чувствовала себя маленькой и неопытной. Она не решалась просить поручений, и ей не решались их давать, ведь поручение — это ответственность, это — серьезное дело. Ну, а разве можно что-то серьезное поручить этой легкомысленной девочке?

Так разделилась у Раечки жизнь на нудную работу среди взрослых, неинтересных, очень скучных людей и на влекущую, радостную феерию вечеринок, танцев, где все были свои, и мальчишки



и девчонки, веселые, влюбленные, беспечные. Раечке нравились то робкие, то наглые объяснения в любви, жаркие поцелуи и объятия, она все больше погружалась в этот запретный, как ей казалось, таинственный, вычитанный сначала из книг мир.

Однажды на танцах она познакомилась с высокой, белокурой девушкой, очень красивой, очень самоуверенной и смелой, веселой и циничной, знавшей и испытывавшей, как вскоре поняла Раечка, многое такое, что ей еще неизвестно и что ей страстно хотелось узнать. Она с удивлением и радостью увидела, как заинтересовалась ею эта девушка. Так возникла дружба.

Они теперь часто появлялись вместе, тем более что внешне были совсем несхожи, и это удачно оттеняло привлекательность каждой из них, — Раечка это инстинктивно чувствовала.

В тот день Галя, так звали ее новую подругу, позвонила ей на работу и весело сказала:

— Раек, умоляю, освободи вечер. Надо вскружить голову одному мальчику. Только ты это можешь. В общем, повеселимся.

Раечка обрадованно прошептала:

— Чудесно! Мы так давно не болтали с тобой!

Только что она получила очередной «влет» от руководителя группы за не вовремя сданный чертеж и ощущала острую потребность «повеселиться».

...Они встретились в центре, возле большого театра. Раечка с подругой и трое парней, из которых

один сразу обратил на себя внимание Раечки: высокий, чуть сутулый, лицо ироничное, умное, со смелым разлетом бровей и темными, загадочными глазами. Парня звали Толей. Он решительно, даже развязно взял ее под руку. Они ушли немного вперед, и Карцев, наклонившись, со снисходительной усмешкой спросил:

— А в какой области лежат ваши интересы?
— А ваши? — смутившись, спросила Раечка.
— В области внешних сношений.
— Вы дипломат? — робко спросила она.
— О нет. — Карцев снова усмехнулся. — Я, видите ли, свободный художник. Почти абстракционист. Вас это не пугает?

Раечке стало весело, и она кокетливо стрельнула глазками.

— Совсем не пугает. Даже наоборот.
— Привлекает?
— Ну, пожалуй, если вам так хочется.
— Простите, — иронично произнес Карцев, — вы ведь собираетесь кружить мне голову. Каким именно способом?
— Откуда вы это взяли?
— Абстракционисты основывают свое искусство на впечатлении, непонятном для окружающих. Так я ошибся?

Девушка все больше ему нравилась, и Карцев изо всех сил стремился произвести впечатление.

— Возможно, что и ошиблись, — кокетливо улыбнулась Раечка.

— Очень жаль. Мне так давно не кружили голову. Потом они сидели в ресторане. Карцев был в ударе и непрерывно острил. Девушки хохотали, Розовый в восторге хлопал себя по коленям, а Пашка все больше мрачнел.

— Предлагаю выпить за теплое отношение к женщине! — кричал Карцев.

Он был уже изрядно пьян, но все же заметил, как Раечка покраснела и опустила глаза. «Я пошляк, — вдруг совершенно отчетливо пронеслось у него в мозгу. — Боже мой, какой я пошляк!» Он сбился на полуслове, а потом поспешно объявил:

— Всем танцевать! Джентльмены, приглашайте дам!

И протянул Раечке руку.

«В этой девушке что-то есть, — с внезапным волнением подумал он. — Под всем, что снаружи, что-то есть еще, лучшее. — Потом вдруг мелькнула неожиданная мысль: — А ведь у меня тоже».

Они закружились, ловко лавируя среди других пар. Карцев вел Раечку нежно и твердо, улыбаясь ей и ловя ее ответную неуверенную улыбку. Девушка казалась в этот миг удивительно трогательной, хрупкой и доверчивой. Ему вдруг захотелось, чтобы она была счастлива. Наклонившись, он погрузил лицо в ее пушистые волосы и, понизив голос, спросил:

— Раечка, вы сейчас счастливы?

Она подняла глаза, засмеялась и шаловливо ответила:

— Сами догадайтесь.

И вдруг, словно что-то особое почувствовав в его вопросе, она прибавила уже совсем другим тоном:

— Если по правде, то только сейчас...

Когда вышли из ресторана, Галя отозвала Раечку в сторону и лукаво спросила:

— Втюрилась?
— Очень симпатичный, — ответила Раечка.
— А он в тебя?
— Не знаю...

— Учти, Раек, — вдруг с угрозой произнесла Галя, — если этот малый не будет вон того слушаться, —

она кивнула на Розового, — его могут сильно порезать. А может быть, даже хуже. Так что воздержуй, если хочешь закрутить всерьез.

— Что ты говоришь?!

— Знаю, чего говорю.

Карцев проводил Раечку до дома. Ему было удивительно легко и радостно на душе, как давно уже не было. И причиной этого была маленькая девушка, которая шла сейчас рядом с ним. Он только не мог понять, почему она вдруг стала такой молчаливой, почему глядит на него так испуганно и тревожно.

В подъезде он попытался обнять ее, но Раечка смущенно отвела его руки.

— Вы меня боитесь, Раечка?

— Нет. — Она покачала головой. — Я за вас боюсь. Очень...

Карцев улыбнулся.

— А я за вас.

Она вдруг спросила:

— Толя, почему в жизни все так непонятно?

Он осторожно погладил ее по голове, хотел пошутить, но вдруг почувствовал, что шутка не получается.

— Ну, не так уж все непонятно, — пробормотал он.

— Вы просто ничего не знаете! — чуть не плача, воскликнула Раечка. — А мне страшно. Просто страшно, вот и все...

Они долго, обнявшись, стояли в подъезде, притихшие, встревоженные, но почему-то еще и счастливые в этот миг. Кто-то вошел в подъезд, кто-то спустился по лестнице — они никого не замечали.

...А в это время Галя прощалась с Пашкой во дворе своего дома. Там сейчас было темно и пусто, в ветвях над головой свистел ветер, и желтые блики от фонаря скользили по снегу и по лицу Гали, и от этого она казалась Пашке еще прекрасней. Ветер раскачивал фонарь, причудливые тени металась вокруг Пашки, и голова его сладко кружилась от выпитого вина, от близости Гали, от ее поцелуев, и он чувствовал, что нет для него в этот миг ничего дороже этой девушки.

В который раз уже жарко поцеловав его, Галя сказала:

— Я, Пашенька, люблю смелых ребят, отчаянных.

А ты такой, я вижу.

— Никто пока трусом не назвал, — усмехнулся Пашка. — Езжу нормально.

— Ах, мне бы с тобой. Люблю так...

— А чего? Куда хочешь, махнем.

— И ночью можно? — задорно блеснула глазами Галя.

— Можно. Диспетчер свой, договоримся.

— Ой, правда?!

— Точно. Скажи только, когда.

— Ну вот, например... — Галя чуть помедлила. — Например, в среду?

— Все. А куда?

— Далеко. Не побоишься?

— Да с тобой куда хочешь, Галочка...

Он жадно обнял ее и стал целовать в губы.

Освободившись, Галя мечтательно сказала:

— А на своей лучше, правда, Пашенька?

— Будет и своя. Погоди. Вот денюжат только поднакоплю.

Галя лукаво улыбнулась.

— Деньги быстро заработать можно, если не боиться.

И Пашка так же лукаво ей ответил:

— Это мы тоже умеем. Будет случай, не упустим.

— Будет, Пашенька. — Галя многообещающе кивнула головой. — Может... может, как раз в среду и будет. Не побоишься тогда?

— Да ты что? За кого меня держишь?

— Ой, какой ты у меня отчаянный!..

Галя крепко обняла Пашку и прижалась губами к его губам.

Они долго целовались.

Потом Галя, зябко поведя плечами, сказала:

— Побегу, Пашенька. Холодно.

— Что ж поделаешь, иди, — вздохнул Пашка.

— А ты, Пашенька, на среду готовь машину, на вечер. А завтра днем ко мне загляни. Я тебе кое-чего еще скажу. Хороший ты мой... — И она нежно провела рукой по его лицу.

Пашка снова было рванулся к ней, но Галя, улыбаясь, ловко выскользнула из его рук и, отбежав, тихо спросила:

— Значит, договорились?

— Все будет, — твердо сказал Пашка.

Так в плане Гусиной Лапы появилась последняя точка...

ГЛАВА VI

Волк

Они жили не в самом городе, а в поселке возле депо. И Егору Спиридоновичу до работы было, как говорится, рукой подать. Улочка буквально через три дома уже упиралась в черный от копоти депоовский забор. И не то что паровозные гудки, а даже дробный стук колес, лязг буферов и разноголосый гул станков в мастерских доносились до их домика днем и ночью.

Егор Спиридонович работал машинистом. В депо его ценили за умение и смекалку, но и побаивались: уж больно вспыльчив и крут был он, а в гневе себя не помнил и мог натворить неведомо что. Но и на другой день, остыв, извинения не попросит, с неделю будет ходить, угрюмо поглядывая на обиженного им человека, сердясь и на него и на себя. Тяжелый был характер у Егора Спиридоновича, но честен он был зато на редкость и спиртного в рот не брал, разве только по большому случаю, да и то самую малость. Потому доверяло ему начальство, а вот друзьями не обзавелся, не было у него друзей.

Терпеть его могла одна только супруга Анна Степановна, женщина тихая, ласковая, уступчивая.

Двое сыновей росло в семье. Петька да года на три моложе его Ванюшка. С виду оба на отца смахивали, темноволосые, кареглазые, приземистые. Но характером пошел в отца только старший — Петька: он был замкнут, норовист и упрям, — а младший был веселым и ласковым.

Когда отец давал подзатыльники Ванюшке, он ревел в голос, уткнувшись в колени матери, а получив что-то вкусное или какую-нибудь безделушку, успокаивался быстро. И сразу добрая улыбка появлялась на его заплаканной рожице.

Но когда подзатыльник доставался Петьке, тот, сверкнув глазами, молча убежал из дому и пропадал где-то до поздней ночи, а потом неделю смотрел на отца зверенышем, тая обиду.

Когда Ванюшка возвращался из школы, он с упоением рассказывал все, что случилось за день в классе, показывал тетрадки, табель.

От Петьки же нельзя было добиться ни слова о его школьных делах. За уроками он долго не засиживался. Стоило только кому-нибудь из приятелей стукнуть в окно, как он тайком от матери уже выскакивал на улицу и пропадал до ночи. Возвращался все такой же угрюмый, молчаливый, иногда с синяками, в разорванной рубашке и упорно не отвечал на взволнованные вопросы матери.

А скоро начались новые неприятности. Анну Степановну вызвали в школу и показали испещренный двойками дневник старшего сына. Потом вызывали не раз. Домой приходила учительница. Петьку ничем нельзя было пронять: не действовали ни слезы матери, ни уговоры учительницы, ни ремень отца, ни вызовы к директору. Он не желал учиться. Его оставили на второй год.

В то лето началась война. Егор Спиридонович получил повестку одним из первых.

Уже на перроне, когда подали состав с теплушками, под нестройную медь оркестра и надрывные женские рыдания Егор Спиридонович обнял жену и дрогнувшим голосом сурово сказал: «Ну, мать, прощай. Трудно тебе со мной было, знаю. Сейчас еще трудней будет. Ну, да авось выдюжим. И вон их расти». Он повернулся к сыновьям.

Они стояли рядом, невысокие, крепко скроенные, словно грибки боровички, оба кареглазые, скуластые, и ветер разметал темные, одного отлива волосы на лбу у обоих. Петька смотрел себе под ноги, угрюмо и спокойно, лишь закусил губу. У Ванюшки мелко-мелко дрожал подбородок и глаза были полны слез; тихо всхлиывая, он неотрывно смотрел на отца.

Такими они, наверное, и остались у него в памяти до той самой роковой ночи весны сорок третьего года, когда вражеская пуля сразила пробиравшегося через линию фронта отчаянного полкового разведчика Егора Лузгина, кавалера многих боевых орденов.

А два года спустя такой же весенней ночью исчез из дома его старший сын Петька.

За неделю до этого Петька — он работал учеником слесаря в железнодорожных мастерских — под вечер пришел с улицы в таком виде, что Анна Степановна, побледнев, только всплеснула руками. Штаны и рубаха на нем были изорваны в клочья, из ран и ссадин сочилась кровь. Петька еле держался на ногах.

Глотая слезы, Анна Степановна кинулась раздевать сына, уложила в кровать, промыла и перевязала раны. Петька стонал от боли, ругался сквозь зубы и не отвечал на расспросы матери. Ванюшка суеился тут же, испуганный и притихший.

Только поздно ночью Петька скупо и отчужденно рассказал матери, что с ним случилось.

Оказалось, пятеро ребят, в том числе и Петька, залезли в чей-то сад ломать сирень. И хозяин, не крикнув, не предупредив, спустил на них собаку, огромного, злобного пса. Другие успели перескочить через ограду, Петька же сорвался, и пес кинулся на него. Хозяин не подбежал, не отогнал его...

— Убью гада!.. — мрачно закончил Петька.

Анна Степановна лишь горько и бессильно плакала. Был бы жив Егор, нешто он бы позволил!..

А через неделю... нет, Петька не убил того человека, но вечером, с трех сторон облив керосином стены, поджег его дом и исчез.

Только месяца через три или четыре его задержали где-то в Средней Азии, еще ничего не зная о совершенном им преступлении, просто за бродяжничество, и Петька попал в детприемник. Он прикинулся тихим, покорным и испуганным, каза-

лось, чистосердечно, охотно рассказал, кто он и откуда, стал проситься домой, с готовностью выполнял все, что от него требовали, а потом, коварно обманув поверившую ему женщину-инспектора, бежал из детприемника.

Спустя долгое время он был вновь задержан, уже не один, а с целой шайкой подростков-воришек, совершавших кражи в поездах. Тут уж было дело серьезное, и убежать не удалось. В ходе следствия всплыло и дело с поджогом. Был суд, и Петька Лузгин получил свой первый «срок»: два года заключения.

В детской колонии он вел себя нагло, отказывался работать, подговаривал других и ходил «в авторитете». А когда в третий раз угодили в карцер, то перегрыз себе там вены на руках. Выйдя из санчасти, Петька организовал жестокую расправу с председателем совета отряда. И снова его судили, срок был увеличен до пяти лет.

Через год Петька был переведен из детской колонии во взрослую.

Группа отпетых бандитов-рецидивистов «правила» в бараке: вершила там суд и расправу. «Качали права», кое-кого «ставили на нож», издевались над слабыми и травили непокорных. Администрация в лучшем случае не вмешивалась, держала вооруженный «нейтралитет», иногда обрушивала жестокие репрессии на правых и виноватых, «паханы» ходили порой в любимчиках. Шел сорок девятый год. Бериевские инструкции и нравы калечили, уродовали людей.

Через пять лет Петр Лузгин под кличкой «Гусиная Лапа» вышел на свободу.

В это время Анна Степановна с младшим сыном жила под Москвой. Петька приехал к ним.

Первые дни он вел себя смиренно. Даже явился в милицию для прописки. Его не прописали: оказывается, слишком близко от Москвы захотел он обособиться.

— Устраивайся на работу, тогда посмотрим, — колебавшись, сказал ему пожилой капитан.

— Правильно, начальник, — подмигнул ему Петька, развалившись на стуле. — На кой ляд я вам нужен тут! Одно беспокойство, так?

Капитан сердито проворчал:

— Ступай, ступай! Рассуждать еще тут будешь!

И облегченно вздохнул, когда за Петькой с треском захлопнулась дверь.

Как ни странно, но Петька попытался устроиться на работу. Однако всюду ему под разными предлогами опасно отказывали, хотя чаще говорили как есть:

— Без прописки оформить не можем. Порядок такой.

Петька в ответ лишь усмехался, с каждым разом все яростней.

Дома он ничего не рассказывал, держался враждебно и замкнуто. С каждым днем все враждебнее.

Анна Степановна боялась его расспрашивать, боялась оставить Ванюшку одного с ним, боялась за всякого, кто заходил к ним в дом.

В один из дней Петька, никому не сказав, опять исчез из дома. Он гулял на свободе всего год или два. И за это время исколесил немало. Жестокими делами отметил он свой петлистый путь по стране.

Но по его следам уже шли, его искали.

И в конце концов он был пойман. Снова суд. Все преступления оказались раскрыты, все доказано. И приговор: пятнадцать лет, а может быть, выйдет на свободу и раньше: все зависит от него самого. Тогда впереди у этого человека останется еще полжизни, которую он сможет прожить по-людски, как все. Так и объяснил ему молодой, горячий судья.

В колонии его встретила совсем другие люди и другие порядки. «Паханы» попритихли, и многие из них шли на работу, «качать права» никто не осмеливался, верх брал «актив». Нарушителей режима, любителей «старинных», «законных» воров брали «к ногтю», тон задавали «работяги».

Гусиная Лапа долго присматривался, а потом сорвался: в неумном гневе ранил кого-то из «актива». Суд — и новое наказание. Потом перевели в другую колонию. Там он долго не выходил на работу, а однажды в новом припадке беспамятной ярости наелся гвоздей и снова стал грызть вены, отказывался от операции. Его пришлось усыпить... Потом третья колония, уже с усиленным режимом. Там задержался надолго. А потом побег...

И вот сибирским экспрессом тайком от всех Гусиная Лапа добрался до Подмоскovie.

План был хитрый. И все, казалось, могло его осуществить, все с самого начала.

Экспресс приходил в Москву на рассвете и последнюю остановку перед ней делал ночью. Петр там и сошел, сошел не «пустой»: он давно уже приглядел в вагоне два самых «богатых» чемодана. Владельцы их, как и все остальные пассажиры, в это время еще спали.

У выхода из вагона, на перроне, дежурила другая проводница, не та, которая видела, с каким багажом сел он три дня назад в поезд.

И еще «пофартило» Петру. Не успел отойти поезд и исчезнуть в ночи красненький фонарик последнего вагона, как к другой стороне перрона подали электричку. И через час Петр со «своими» чемоданами уже был на месте — в небольшом городке Московской области.

А уж куда идти дальше, где скрыться и кого потом отыскать, это он знал. Тайное, надежное место он присмотрел давно, еще когда метался по этому городу, искал работу. Вот только уцелела ли та нора за столько лет?

Он брел по ночным, пустынным улочкам, прижимаясь к заборам, сторонясь фонарей, и все думал: «Цела ли?»

Оказалась цела...

Но это было еще не все.

Теперь следовало отыскать Васюку Длинного, именно его. Длинный не проходил ни по одному делу, за которые судили когда-то Гусиную Лапу, выходит, об их знакомстве уголовка не догадывается. Искать Длинного надо было тихо, не торопясь, особо не высываясь.

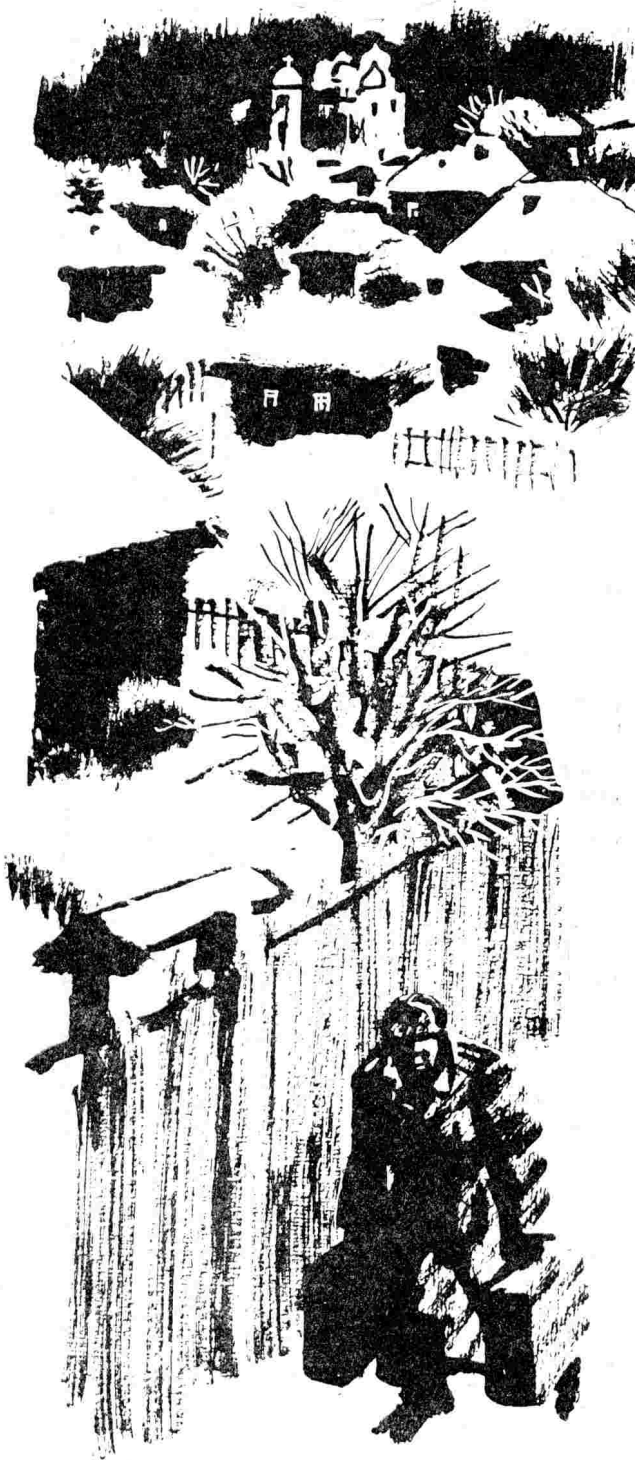
Гусиная Лапа залез в своей норе, притаился, как обложенный со всех сторон зверь. Пока что отъедался, отсыпался, соображал. Знал, что ищет его, и вот соображал, не наследил ли. И еще тревожился насчет Длинного: не «погорел» ли за эти годы; если «сидит», то за кого тогда зацепиться?

И тут продолжало везти Гусиной Лапе.

Как-то вечером он наконец решился и осторожно, глухими, темными переулками прокрался к дому, где жил Длинный, неслышно открыл калитку и спрятался в снегу за кустами, недалеко от крыльца. Долго ждал, терпеливо. Сырой холод пробрался, казалось, до костей. А он все ждал, лежал, не шелохнувшись, стуча зубами.

И дождался... Сначала прошла какая-то женщина, за ней другая, старенькая, потом пробежал пацан с сумкой. И уже совсем поздно, когда в окнах дома погас свет, появился Длинный...

Много они с Длинным выпили в тот вечер. Наутро он проснулся с тяжелой башкой, мучила изжога



С того дня в норе у Гусиной Лапы стали появляться людишки. Осмелев, он как-то поехал с Длинным в Москву, всего каких-нибудь два часа электричкой. Потом уже ездил не раз.

В одну из таких поездок он свел знакомство с парнем по имени Колька, уже потом у того появилась кличка «Розовый». Совсем еще пацаном был этот

Розовый, недавно только паспорт получил. Но шустрым оказался, с пониманием, лихой, в общем, пацан.

Вот тогда-то, после знакомства с Розовым и двумя-тремя его приятелями, и пришла в голову Гусиной Лапе счастливая мысль.

Упорно, терпеливо, хитро натаскивал он этих пацанов, учил, запугивал, разжигал жадность, злость, рассказывал о вольной жизни, об отчаянных делах, с чувством пел то слезливые, надрывные, то лихие воровские песни, поил водкой, угощал, безжалостно высмеивал их нерешительность, издевался над колебаниями и опасениями.

И добился своего, сбил волчат в стаю, злобную, дерзкую, готовую на все. Только мигни им, только науськай, кому хочешь перегрызут горло.

Однажды он вывел их впервые на «дело», плевое, конечно, но все-таки дело. Сам наблюдал со стороны, не вмешивался. Хоть и переборщили его «жорики», грубовато сработали, с кровью, но это тоже хорошо, тоже полезно.

А дело было такое. Висмотрели пьяненького, завлекли в темное, пустое место и там уже без всякого — повалили, заткнули рот, раздели догола, измордовали в кровь и оставили замерзать на снегу без памяти.

Ох, и напоил же он их в тот раз и расхвалил до небес! Невесты что о себе, кажись, подумали, будто уж и заправскими блатниками стали. Пусть! Отчаянней будут! Он только подливал масла в огонь, восхищался и между делом учил, чтобы в другой раз почище работали.

И в другой раз действительно было почище. А потом Розовый увел чей-то мотоцикл. Чуть не от своего дома увел! Ну, вкатил ему за это Гусиная Лапа, «дал ума»! А потом напоил, подкинул денюжат. А мотоцикл сразу же переправил к Длинному, тот где надо перебил номера и «спустил». Короче, пошли дела, «жорики» старались. Гусиная Лапа, само собой, в долгу не оставался.

Однажды Розовый привел его к ларьку около вокзала. И с того дня появилась у него «зазноба», появилась «любовь». Правда, все время чувствовал Гусиная Лапа, не до конца еще «своя» Галка, опасался особенно ей говорить о делах, но уверен был: станет какой надо, эта девка такая! Ишь как загорались глазенки, когда дарил он ей кое-что из барахла. А уж как плясала, когда выпьет! И он исподволь, тихонько приучал ее, завлекал. Уж больно хороша была Галка, тянуло его к ней, и все тут. Хоть Длинный косился, и зудел, и накручивал против нее, как мог.

И еще Длинный подбивал его на какое-нибудь большое дело. Но он до поры отмалчивался. Осторожно вел себя Гусиная Лапа, понимал: если погорит, то хана, все припомнят ему — верная «вышка». Этого Длинному не понять, да и не знает он про все. И не узнает. Умел держать язык за зубами Гусиная Лапа, никакая пьянка не могла заставить его проговориться.

Вот потому и отмалчивался он, когда зудел ему Длинный про большое дело, отмалчивался и выжидал, прикидывал про себя, что и как, обмозговывал все втихую.

Иной раз ночью выползал он из своей берлоги и бродил, бродил без цели по темным, глухим улочкам, хоронясь от редких прохожих. Дышал, подставляя лицо морозному ветру, слушал хруст снега под ногами, косился на звезды.

Мир в такую ночь казался необъятно большим, а сам ты песчинка на ветру, носит ее по всей земле. И подступала тоска, аж выть хотелось...



В одну из таких ночей прокрался он к материнскому дому, неслышно подполз к освещенному, затянутому шторой окну, приник к нему, сплющив нос и губы, старался разглядеть, кто там двигается в комнате, чья тень. Но не разобрал. Долго стоял, продрог, но ушел только, когда погас свет. И еще как-то раз ноги сами привели его к этому дому. И опять ушел ни с чем, ничего не узнав. По дороге вдруг представилось: померла мать...

И на следующий день пил с Длинным вмертвую, а в какую-то минуту неожиданно признался ему, что есть одна мысль, можно такое дело повернуть, что небу жарко станет. А там была не была, хоть «вышка»...

Однажды он назначил встречу Розовому и под вечер приехал в Москву. Валил снег, крупно, густо, без ветра, и в какие-то мгновения, когда вдруг смолкал уличный гул, слышно было, как в морозном воздухе шелестели снежинки. Все кругом было белым-бело.

Петр с удовольствием влился в поток людей и шел по улице, рассеянно поглядывая то на еле двигавшиеся по глубокому снегу машины, то на витрины магазинов, где сквозь причудливые ледяные узоры на стеклах проступали расплывчатыми пятнами выставленные там товары.

Внезапно перед Петром возникла огромная, совершенно прозрачная витрина, ослепительно сияющая голубыми и желтыми огнями. Он невольно остановился и на секунду даже зажмурил глаза. Это был ювелирный магазин. За стеклом на черном бархате были разложены бесчисленные коробочки с кольцами, ожерельями, серьгами и кулонами, с золотыми часами...

Петр остановился и долго смотрел на искристую россыпь камней за стеклом. Потом он перевел взгляд в глубь магазина, увидел толпившихся у прилавков людей и, задумчиво постояв с минуту у витрины, вошел в широкие стеклянные двери, при этом он аккуратно застегнул пальто, поправил кепку.

Долго оставаться в магазине он не решился: нечего было там мозолить глаза. Он лишь бегло осмотрел прилавки, постарался запомнить их расположение. Ему даже удалось заглянуть через открытую дверь в подсобку, когда выходившая оттуда девушка в синем халатике с фирменным значком на кармашке, держа в руках пеструю коробку, заболталась о чем-то с подружкой. Он осторожно проследил потом за этой девушкой и заметил, как вынимает та из пестрой коробки маленькие коробочки с

дорогими кулонами. После этого Петр поспешил уйти из магазина.

На улице он задумался. Всплыли в памяти рассказы о подобных делах. Много слышал он таких рассказов, и брехни в них было тоже много. «А что, если...» — вдруг подумал он и тут же отогнал мысль. Опасно, больно уж опасно! Но шальная мысль эта все зудела, зудела, как назойливая муха, не давая покоя, бередя воображение, соблазняя неслыханным кушем в случае удачи. И почему он должен обязательно «погореть» на этом деле? Если все сделать с умом, тонко, чисто...

Он снова оказался возле ювелирного магазина. Было уже поздно, магазин был закрыт. Тяжелый металлический занавес за стеклом витрины наглухо закрывал ее от взоров прохожих. За дверью, в освещенном стеклянном тамбуре, сидел сторож, подняв овчинный воротник тулупа, и, казалось, дремал.

Петр деловито прошел мимо по другой стороне улицы, потом пересек мостовую и, не доходя до магазина, свернул во двор соседнего дома.

Он понимал, что сейчас не время осматривать подходы к магазину, но ничего не мог поделать с собой.

В тот вечер он и в самом деле мало что сумел рассмотреть. И на следующий день приехал снова.

На этот раз он внимательно обследовал весь район, все окрестные дома и дворы.

Петр ни с кем не делился своим замыслом. Он только, скрывая от всех, теперь каждый день ездил в Москву. Даже Длинный ничего не знал, и Розовый тоже. Он не позволял себе зайти даже к Галке.

Так продолжалось долго, почти месяц. За это время Петр узнал многое. Он мог уже с закрытыми глазами представить себе весь огромный двор, куда задним своим фасадом выходил дом, в котором размещался магазин. Он теперь знал все закоулки этого двора, все ведущие в него ворота и калитки, знал, как соединяется он с соседними дворами, изучил подъезды всех домов, которые этот двор окружали, — как он и предполагал, некоторые из них оказались проходными и через них можно было пройти в другой двор, а оттуда — на ближайшие улицы. Он теперь знал, кто из жильцов и детей бывает во дворе, когда они приходят туда и когда уходят, когда зажигаются во дворе фонари, кто из жильцов поздно возвращается домой и в каких квартирах особенно долго не гасят свет. Он даже побывал в подвале дома и изучил его планировку, расположение котельной, подсобных помещений, коридоров и самых темных тупичков.

Словом, готовился Петр к этому опасному делу основательно и не спеша, хотя спешить следовало: денежки и барахло из тех двух чемоданов давно кончились, мелкие дела с «жориками» из компании Розового давали мало дохода, а тянуло к кутежам, аж с утра уже сосало под ложечкой, да и «кравалечка» требовала подарков и веселья. Но Петр из последних сил сдерживал себя: уж больно дерзкое и опасное дело задумал он, уж больно много ставилось тут на карту.

Но вот настал день, когда впервые приехал он в Москву вместе с Длинным.

Обратно возвращались поздно, последней электричкой, продрогшие и усталые. В вагоне они были почти одни.

Наклонясь к Петру, Длинный шепнул:

— Ох, и концерт же дадим, будь здоров! Ох, и дадим!..

— Ты давай не дергайся, — угрюмо осадил его Петр. — Приткий больно! Семь раз отмерь сперва!

— Это точно. А как брать будем?

Петр задумчиво проговорил:

— Есть там одна стенка... подходящая.

В дальнем конце подвала он действительно обнаружил такую стенку. По его убеждению, она вела в магазин, он даже определил, в какое именно место, — там, где торговали часами и где вплотную к стенке стояли высокие, глухие снизу шкафы, которые на ночь опломбировали.

Стенка в подвале привлекла внимание Петра еще и потому, что в тот темный, глухой тупик, заставленный ящиками, давно уже никто не заглядывал. Изодня в день ящики стояли все так же, не прибавлялось новых, не исчезали старые. Для верности Петр проделал хитрый опыт: поперек от стенки к стенке перед самыми ящиками протянул почти незаметную черную нитку, еще одну — в двух метрах от первой и третью — у самого начала тупика, возле двери в склад. На другой вечер нитки оказались нетронутыми, на следующий — тоже, так они провисели чуть не неделю, пока Петр сам их не скинул.

Без труда Петр установил, что последние рабочие и служащие жэка уходили из подвала после восьми вечера. На ночь оставался только дежурный в котельной. Но она размещалась в другом конце подвала, там вечно гудели какие-то моторы, и ни один посторонний звук не проникал туда сквозь плотно прикрытую, обитую войлоком дверь.

Итак, стенка. Ее предстояло продолбить. Для этого требовались инструмент, время и... руки.

Время уже было определено: от девяти вечера хоть до утра, до пяти утра, во всяком случае. Что-бы установить этот предел и вообще окончательно проверить безопасность выбранного места, Петр под конец решил еще на один рискованный опыт. Он остался на ночь там, устроившись среди ящиков. И все прошло благополучно. До рассвета никто не приблизился к ящикам. Никто даже не появился в длинном, полутемном коридоре, хотя Петр, осмелев, некоторое время осторожно, но сильно бил по стенке припасенным заранее молотком. Значит, безопасное время для работы было.

Раздобыть необходимый инструмент тоже не составило труда.

Оставались руки. Работа предстояла трудная, не на один час и даже не на одну ночь. Сначала Петр решил, что они сделают все это вдвоем: он, Длинный и Розовый. Но потом передумал. Им надо было беречь силы, им предстояло проделать самое главное, самое рискованное и трудное: орудовать в магазине, взламывать там шкафы, ящики и на себе уносить все добро. Только им троим. Больше никого впустить туда нельзя, да и делиться добычей ни с кем больше он не собирался. Кстати сказать, и среди них троих равноправия не предполагалось. Ну, а если вздумают гавкать, то на этот случай он кое-что припасет, крови он давно не боится, и чужая жизнь для него — копейка.

Но это все другое. А вот руки, которые будут долбить ту проклятую стенку, надо найти какие-то другие, не их троих руки.

Вот тут-то он и подумал о своих «жориках». А что? Трепать им все, ясное дело, нельзя. Им надо чего-нибудь наворотить совсем о другом. Вот так, втемную, затянуть их можно, а уж потом непременно рассказать и запугать до смерти, намертво привязать, чтобы и тявкнуть боялись.

Окончательно утвердился в этой мысли Петр после той ночи, когда они вздумали брать палатку. Ничего «жорики» действовали, даже Профессор, и тот...

Поэтому на следующий вечер после дела с палаткой он снова собрал свою стаю, только на этот раз в другом месте, не в подворотне напротив дома Розового, как всегда. Там собираться было опасно после вчерашней драки, когда «отделали» хозяина машины. Он, может, и вовсе «загнул» в больнице, кто его знает.

— Есть, жорики, новое дельце, — подмигнув, сказал Гусиная Лапа. — Фартовое дельце. Знатную денегу можно зашибить! — И он зорко оглядел обступивших его парней.

Перед разговором, как водится, выпили: без водки Гусиная Лапа не приходил. Лица у всех раскраснелись, заблестели глаза. Даже на хмуром, настроженном лице Карцева сейчас блуждала пьяная усмешка.

— Поработать только придется, — предупредил Гусиная Лапа.

Розовый лукаво спросил:

— Перышком?

— Молоточком, — в тон ему ответил Гусиная Лапа. — И втихую.

Парни весело загоготали.

— Это как же понимать? — спросил кто-то.

— Глянете — поймете. Пошли.

Заинтригованные таинственным делом, все охотно двинулись за Гусиной Лапой.

Вел он их хитро, долго петлял переулками, проходными деорами и когда наконец, каким-то путаным путем привел в нужный двор, никто не знал, где очутился, а о магазине, расположенном в темневшем за деревьями доме, и подавно не догадывался, как и о том, на какую улицу этот дом выходит.

Гусиная Лапа точно рассчитал время: во дворе уже никого не было. Осторожно, по одному спустились они в подвал, и по темноватому, пыльному коридору Гусиная Лапа провел их в знакомый тупик. В грудех ящиков там был проделан проход.

Когда все собрались и кое-как разместились в узком пространстве между глухой кирпичной стеной и ящиками, Гусиная Лапа, понизив голос, сказал:

— Перво-наперво закон: об этом деле молчать до гроба! Если кто твякнет, дознаюсь и хоть на краю света достану. Тогда уж вот! — Он вытянул растопыренную ладонь со знаменитой татуировкой и медленно сжал в кулак толстые, корявые пальцы, так медленно и безжалостно, с такой силой, что Карцеву на миг показалось, будто страшные эти пальцы сжали чье-то живое горло.

— Поняли, жоррики? — с угрозой спросил Гусиная Лапа и по напряженным, хмурым глазам парней убедился: поняли.

— А теперь так, — продолжал он уже деловито и властно, — вот она, сердечная, — и похлопал рукой по стене. — Ее долбить будем. Тихо так долбить, с умом. Ни одна душа не услышит. Как чуток останется — все. Дальше мое дело, вы к нему касаться не будете.

При последних словах он уловил облегчение на лицах кое-кого из парней. А Карцев спросил настойчиво:

— Чего там, за стенкой-то?

Гусиная Лапа загадочно усмехнулся.

— Увидите, жоррики. Не пожалеете. И пить будем и гулять будем. Девкам такие подарочки поднесете — зацелуют. Деньжат будет — во! — И он провел рукой по горлу. — Навалом!

— Живем! — восхищенно хлопнул себя по коленям Розовый. — Я, понимаешь, давно столько их не держал.

И разом исчезло напряжение, на лицах засветилась жадная радость.

— Чем долбить-то? — спросил кто-то.

— Все есть, жоррики. Все. — Гусиная Лапа вытащил из ближайшего ящика припасенные инструменты. — Пока двое долбят, остальные на стреме стоять будут, покажу, где. И сам недалеко буду.

— Работа солидная, — сказал Розовый, пощупав стену, — за раз не управимся.

— За раз и не требуется, — ответил Гусиная Лапа.

— Три-четыре ночи провозимся — и порядок. Спустя некоторое время в подвале глухо и осторожно застучали молотки...

На следующий вечер собрались опять. Как и накануне, Гусиная Лапа привел их все тем же путаным путем, и опять никто не мог сообразить, где находится дом, в подвал которого они поодиночке спустились.

В стенке уже наметилась неглубокая, с рваными краями ниша. Рубить стало труднее. Руки быстро уставали, на пальцах появились кровавые ссадины, трудно было дышать от кирпичной пыли.

Работавший вместе с Карцевым Генка Фирсов по кличке «Харя» вдруг глухо застонал и выронил моло-

ток. Из перебитого пальца густо текла кровь. Генка отчаянно замотал в воздухе рукой, потом прижал ее к животу и сквозь зубы процедил:

— К... матери это дело!.. Сдалось оно мне!..

— Давай перевяжу, — сказал Карцев, вытаскивая носовой платок, и сочувственно прихватил шепотом: — Пока не кончим, никуда не уйдешь, Харя. Что ты, не знаешь, что ли?

Генка обмотал палец платком и, отдышавшись, упрямо буркнул:

— Говорю — все, значит, все! — и, хмуро посмотрев на Карцева, добавил: — И тебе советую. Дело это знаешь чем пахнет?

Они, как всегда, солидно выпили перед тем, как прийти сюда. Пили прямо из бутылки по очереди, почти не закусывая. У Карцева еще шумело в голове, и он поминутно сплевывал густую, горькую слюну. Слова Генки доходили до него, как сквозь вату, и в ней словно застревал и не доходил до сознания их опасный, угрожающий смысл. Карцев вяло махнул рукой.

— Ладно тебе.

— Не ладно, — упрямо мотнул рыжей головой Генка. — Раскумекаешь — поздно будет.

Он сейчас уже не казался пьяным, а длинное, щербатое лицо его было совсем бледное.

В этот момент откуда-то из-за ящиков появился Розовый, он, видимо, все слышал. Сжав кулаки, он надвинулся на Генку, и без того маленькие глазки его на круглом лице зло сузились.

— Трухаешь, слизь? — с угрозой спросил он.

— Пошел ты знаешь куда!..

— Будешь долбить?

— Не буду!

— А-а, так, значит?

Розовый занес кулак, но тут вмешался Карцев.

— Ты не очень, слышь?

Розовый резко повернулся к нему, губы его уже дрожали от бешенства.

— А ты мало получил тогда, Профессор? Еще хочешь?

Рука его скользнула в карман. «Нож!» — мелькнуло в голове у Карцева, и он, уже не думая, что делает, поднял над головой тяжелый молоток.

Видно, Розовый сообразил, что драться сейчас невыгодно, потому что быстро отступил в проход среди ящиков и, прежде чем убежать, истерично крикнул:

— Поглядим еще! Живыми отсюда не выйдете!

Когда они остались одни, Генка хмуро спросил:

— Вдарил бы его молотком или так?

— Вдарил бы, — тяжело дыша, ответил Карцев.

И Генка просто сказал:

— Ну, спасибо, раз так.

Помолчали. Потом Карцев нерешительно сказал:

— Сейчас он Лапу приведет. Давай уж!.. — и поднял валявшееся на полу зубило.

— Не буду, — упрямо повторил Генка.

Карцев, согнувшись, вяло застучал молотком. Руки его дрожали, голова стала совсем тяжелой.

А через минуту за ящиками послышались тяжелые шаги, и, загородив собой весь проход, появился Гусиная Лапа. В слабом свете фонарика, укрепленного на выступе стены, видно было, что мясистое лицо его спокойно, он даже как-то сочувственно посмотрел на скрюченную Генкину фигуру в углу, потом сказал:

— Пошли, Харя.

Генка через силу поднялся, Гусиная Лапа посторонился и пропустил его вперед.

Больше Карцев не видел рыжего Генку. Он даже не посмотрел ему вслед, не обернулся. Тяжелый

взгляд Гусиной Лапы словно пригибал его к полу. И он, холодея, все бил и бил молотком, боясь вырвать его из онемевших пальцев.

Когда они, много позже, молча выползли из подвала, перепачканные и измотанные, среди них не было Генки. Никто не спрашивал, где он, никто не упоминал о случившемся. Но Карцев чувствовал: все об этом знают, и все думают о Генке. А потом, уже в каком-то другом дворе, Карцев заметил, как Гусиная Лапа подозвал к себе Розового. Вот тогда-то он и услышал обрывок странной фразы, сказанной Гусиной Лапой: «...подалее пусть уедет...», — и, неизвестно почему, озноб прошел у него по спине.

И тогда же, в тот вечер — этого уже не слышал Карцев, — Гусиная Лапа сказал Розовому:

— Шофер нужен, понял? Свой в доску. Пока тут возмись, чтоб нашел.

— Ага. Постараюсь.

Прошло, однако, два дня, а Розовый все еще не нашел нужного парня.

За это время Гусиная Лапа посчитался с Генкой Фирсовым.

Того нашли только через месяц, а то и позже, нашли далеко от Москвы, в глубоком заснеженном овраге, с переломанными лыжами и разбитой головой. Все следы кругом были занесены. На ближайших железнодорожных и автобусных станциях уже никто не помнил рыжего парня с лыжами и тех, кто был с ним. Областной уголовный розыск принялся копаться в этом загадочном убийстве настойчиво, но на первых порах безрезультатно...

Между тем со стеной было уже все кончено. Со всем тонкий слой кирпича отделял теперь подвал от магазина, такой тонкий, что днем Гусиная Лапа явно слышал голоса оттуда. Один удар — и проход будет свободен. Поэтому в тот вечер Гусиная Лапа в последний раз предупредил Розового насчет шофера. Петр сильно нервничал. Торопил его и Длинный. Обоим надо было как можно быстрее «отрываться» из Москвы. Они понимали, чем грозит им теперь каждый день промедления.

И вот, наконец, шофер нашелся: Розовый вспомнил о Пашке. Через каких-нибудь два дня не на шутку влюбленный Пашка дал Гале слово быть с машиной в условленном месте.

Когда об этом стало известно Гусиной Лапе, он довольно усмехнулся. То, что в машине очутится еще и Галя, его вполне устраивало. Насчет нее у него были особые планы.

Одним словом, все, казалось, складывалось нормально. Теперь надо было только дожидаться назначенного дня, протянуть всего сорок восемь часов так, чтобы ничего не случилось.

ГЛАВА VII

Большие хлопоты и длинная дорога

На следующее утро после встречи с Харламовым Виктор Панов раньше обычного вышел из дома и спустя полчаса оказался на большой шумной площади перед одним из вокзалов. Здесь торговала «тихая» Галя, о которой ему накануне так ничего и не удалось узнать.

Стараясь быть незамеченным, он остановился в суетливом потоке людей неподалеку от Галиной па-

латки и развернул свежую газету. С этого места девушка была ему хорошо видна. Высокая, белокурая, в кокетливом пестром платочке и серой шубке, с аккуратными нарукавниками, Галя быстро, с улыбкой и шутками отпускала товар, считала деньги. «Симпатичная девушка», — подумал было Виктор. С некоторыми из покупателей Галя шутила смело, почти дерзко. Кое-кто даже задерживался у ее прилавка. Но ни один из них не обратил на себя внимание Виктора, это были случайные люди, явно Гале незнакомые.

«Нет, это, конечно, не тихая девушка», — сказал себе Виктор. — Совсем не тихая. Хотя заметной роли в группе, вероятно, не играет. Так, подружка Харламова, и больше ничего. — Он взглянул на часы. — Что ж, визуальное знакомство состоялось». Надо было спешить, чтобы не опоздать на оперативку у Бескудина.

Туда вызван был и Федченко, а ведь Галя живет на его участке, он должен ее знать.

Виктор бросил последний взгляд на девушку, неторопливо сложил газету и направился к станции метро.

По дороге он обдумывал свое сообщение на оперативке. Да, пока все дело еще в тумане, пока он мало что знает, очень мало для каких-то решающих шагов. Разговор на оперативке предстоял малопривлекательный. За четыре напряженных, трудных дня Виктору стали ясны всего трое, в общем-то, второстепенных членов группы: Карцев, Харламов и вот эта Галя. Впрочем, Харламов, пожалуй, не так уж второстепенен.

Виктор чуть не опоздал. Все были уже в сборе. Бескудин сидел за письменным столом, откинувшись на спинку кресла. Остальные сотрудники расселись вдоль стен на диване и стульях. Виктор сразу заметил массивную фигуру Федченко. Тот сидел, перекинув ногу на ногу, держа на коленях папку. Медное, крупное лицо его было непроницаемо спокойно, и только громадные усы придавали ему воинственность.

Поначалу обсуждали другие дела. Потом Бескудин обернулся к Виктору.

— Ну, давай, что у тебя нового. Давай.

Виктор коротко доложил.

Когда он упомянул о вчерашней встрече с Харламовым, многие заулыбались, а Бескудин резко спросил:

— Где он сейчас, этот Харламов, знаешь?

— На работе. Только что звонил в цех, — с напускным спокойствием ответил Виктор, но, не сдержавшись, добавил: — Однако после смены он победит, Федор Михайлович, обязательно победит. Поэтому...

— Ясно, ясно, — недовольно оборвал его Бескудин и кивнул Устинову. — Посмотреть за ним надо будет. Раз уж так получилось.

— Люблю здоровую инициативу, — проворчал Устинов. — Но ведь у меня, Федор Михайлович, тоже не санаторий с тем делом по машине. Владелец в больнице. Двое суток без сознания.

— Знаю, — быстро согласился Бескудин. — Все знаю. Но посмотреть, говорю, придется. — И досадливо закончил: — Что же теперь поделаешь? — Потом обернулся к Федченко. — Двое из троих на вашем участке. Чем поможете?

Тот пожал широченными плечами и, уловив недовольство Бескудина, сердито пророкотал:

— Чем же тут поможешь, если люди университеты кончают и ничего слушать не хотят? И мне руки связал. «Никаких шагов», — сказал, — без меня не предпринимать». А выходит, и сам на месте стоял

и другим двинуться не дал. Это, уважаемые товарищи, не работа, я вам скажу. Четыре-то дня собаке под хвост. Заместо того, чтобы р-раз!— Он сделал энергичный жест рукой.— И все яички в лукошке! Виктор собрался было возразить, но Бескудин сердито остановил его.

— Ты уж погоди.— И с любопытством посмотрел на Федченко.— Ну, и как бы вы поступили? Как, спрашиваю?

— А так. Позвал бы этого Тольку Карцева к себе. Он желторотый еще. Обрисовал бы ему: мол, так и так, куда катишься? В тюрьму ворота широкие, а оттуда узкие. Враз там очутишься. Да он бы у меня через час с полными штанами сидел. Я бы уже знал все, чего и он не знает.

— На испуг, значит, взяли бы? — лениво поинтересовался Устинов.

Он сидел напротив Федченко, такой же громадный, широкоплечий, круглоголовый, и на минуту могло показаться, что это тот же Федченко, только скинувший с себя лет двадцать, сбросивший усы и разгладивший жесткие складки на щеках и шее.

— Да хотя бы и так, на испуг,— сурово ответил Федченко.— Ради него же, дурака, если на то пошло.

Виктор, не сдержавшись, воскликнул:

— Мне нужен не перепуганный и озлобленный человек, а союзник!

— Союзника в другом месте надо искать,— отрезал Федченко.— А из него сейчас такой союзник, как из меня... балерина.

Все рассмеялись, улыбнулся даже Бескудин. Но тут же нахмурился. Забарабанил пальцами по столу. И в комнате постепенно воцарилась настороженная тишина. Федченко шуткой своей несколько не смягчил вину Панова, это было ясно. И Бескудин строго, с ноткой раздражения сказал:

— Потеря времени налицо, как ни крути. Налицо, говорю. Это раз. Потом не обдуман твой номер с Харламовым. Не обдуман, говорю. Скажи, пожалуйста, руку при всех ему пожал. Так ведь он же с головой, этот парень, я так полагаю. Он же скумекает, откуда ветер дунул.

— Пока он скумекает, другие из него котлету сделают, а может, уже вчера же, вечером, сделали,— не вытерпел Виктор.— Поэтому сегодня, после работы, он обязательно...

— Это все не то,— махнул рукой Бескудин.— Не то, говорю. Думаешь, оправдываться побежит? И мы сразу на главаря выйдем? Это мы еще поглядим, побежит или нет. Ну, а если не побежит? Да и вообще. Ты же их только насторожил раньше времени. Об этом подумал? А это — главное сейчас: чтобы они спокойны были, пока у нас руки пустые.— И хмуро заключил: — Наломал, одним словом, дров. Наломал, говорю.— Он повертел в руках карандаш, потом спросил: — Ну, а с Карцевым дальше как думаешь?

Виктор объяснил свой план.

Бескудин с усмешкой оглядел собравшихся.

— Тут еще, может, чего и получится у нашего философа, а?

— План, кажись, дельный,— сдержанно откликнулся Устинов.

— Ну, ну,— кивнул головой Бескудин и обернулся к Федченко.— А вас прошу включиться активно. А то вон что получается.

И Федченко с облегчением подумал: «Ну, держись, попрыгунчик. Руки у меня теперь развязаны».

В райком комсомола Виктор примчался с опозданием: по дороге пришлось заехать совсем в другой

конец города. Хорошо еще, что Бескудин дал машину. После всех неприятностей на оперативке это было хоть и слабым, но все же утешением, ибо, кроме всего прочего, означало, что Бескудин, кажется, поверил в его план.

Виктор уже без труда ориентировался в длинном коридоре райкома. Подойдя к двери кабинета второго секретаря, он услышал доносившиеся оттуда голоса. Виктор осторожно приоткрыл дверь.

— Можно?

— Входи, конечно,— спокойно сказал сидевший за столом Онищенко.— Ждем тебя.

Напротив него на диване сидели Виктор Шарапов и Леля в знакомом красивом джемпере.

Плотный, черноволосый Шарапов сидел, тяжело опираясь руками о колени, и хмурил густые брови. Леля забилась в угол дивана, раскрасневшаяся и явно чем-то взволнованная.

Они только что, видимо, спорили и умолкли на полуслове, когда вошел Виктор.

— Я им передал пока наш разговор с Карцевым,— сказал Онищенко.

Шарапов исподлобья, сердито посмотрел на Виктора и раздельно произнес:

— Он подлец, ваш Карцев. Я бы исклчил его из комсомола, даже если бы и не было того случая.

— К счастью, это зависит не от одного тебя,— отозвалась Леля, потом подняла глаза на Онищенко.— Такие взгляды у восемнадцатилетнего парня не могут возникнуть сами по себе. Тут есть и наша вина! Я много думала. Мы не умеем, мы почему-то не умеем перевоспитывать таких, как он.

— Глупости! У него не взгляды, а просто демагогия,— зло возразил Шарапов.— И мы правильно сделали...

— Нет, неправильно!

— Ладно, хватит,— остановил их Онищенко и посмотрел на Виктора.— Ну, что ты скажешь? И вообще, чего ты стоишь? Садись.

Виктор опустился на диван рядом с Лелей.

— Прежде всего я хотел бы,— сказал он,— услышать твое мнение, Онищенко, насчет Карцева. Мы тогда даже не успели обменяться впечатлениями.

— Я решил разобраться.

— Ну и разобрался?

— Не совсем.

— Чего же тебе не хватает?

Они говорили ровным, спокойным тоном, словно состязаясь в выдержке.

— Твоего мнения хотя бы,— ответил Онищенко.

Виктор усмехнулся.

— И только?

— Куда ты клонишь?

— А фактов тебе хватает?

Что-то особенное прозвучало в тоне Виктора, что заставило всех насторожиться.

— Если у тебя они есть, то выкладывай,— спокойно предложил Онищенко.

Виктор кивнул головой.

— Есть. И я их, конечно, выложу. Но сначала хочу сказать вот что. У меня эти факты появились потому, что мне их не хватало. С таким же успехом они могли появиться и у вас.

— Нам хватало,— заметил Шарапов.

— Только, пожалуйста, не расписывайся за всех! — запальчиво откликнулась Леля.— Мне, например, все время чего-то не хватало, если иметь в виду Карцева. Именно его. И не только мне. Вчера заходил Саша Вайнштейн... Вы знаете,— она обернулась к Виктору,— ребята так волнуются. Их взбудоражил ваш приход. И меня, честно говоря...

— Погоди, Леля,— остановил ее Онищенко и обернулся к Виктору.— Давай, наконец, твои факты. Мне их тоже, если хочешь знать, не хватает. Давай! — В тоне его прозвучало нетерпение.

— Сейчас. Но прежде я хочу кое-что напомнить моему тезке.— Виктор посмотрел на Шарапова.— Помнишь, ты сказал, что вы не милиция и не суд, чтобы копаться в деталях?

— Помню,— хмуро кивнул Шарапов.— И сейчас это повторяю. Мы должны были дать принципиальную оценку этому факту, чтобы все извлекли урок. И дали.

Виктор усмехнулся.

— Ну, а я милиция, как вам известно. Я привык копаться в деталях. Тем более что иногда они превращаются... Ну, например, вам что-нибудь говорит такая деталь: в ту памятную ночь в общежитии Бухарову разбили нос?

— Это одному из пьянствовавших? — спросил Онищенко.

— Да.

— Они все перепились,— заметил Шарапов.— Кто-то из них его и ударил. Только и всего.

— А кто именно? — пылливо спросил Виктор.

— Я же говорю, они все были пьяны. Кроме Карцева, конечно,— ответил Шарапов.

— Нет. В этот момент там был еще один трезвый человек.

Шарапов решительно покачал головой.

— Не было. Наши ребята еще не подошли.

— Ребят не было, а человек был.

Все удивленно посмотрели на Виктора.

— Кто же он такой? — с любопытством спросила Леля.

— Сейчас я вам его покажу.

Виктор поднялся с дивана и приоткрыл дверь в коридор.

— Тетя Поля! — крикнул он.— Зайдите, пожалуйста.

В комнату неуверенно вошла пожилая, худенькая женщина в платке и стоптанных валенках.

— Садитесь, тетя Поля,— сказал Виктор, подвигая ей стул.— И расскажите, пожалуйста, товарищам, кто ударил тогда того студента, Бухарова. Ну, в общем, что мне рассказывали, повторите.

Женщина неловко опустилась на стул и смущенно расправила пальто на коленях.

— Чего ж тут рассказывать-то,— не поднимая головы, произнесла она.— Ну, дежурила я, значит, в ту ночь. Слышу, в первом часу уже, шумят на втором этаже. Ну, я, значит, и поднялась. Гляжу, около семнадцатой комнаты — она как раз у лестницы — ребята возятся. Пьяные, конечно. Я ж их всех, кто живет, знаю.— Она подняла голову и смотрела теперь на одного Онищенко, догадавшись, видимо, что он тут главный.— Один, правда, пришлый был. И, верно, тверезый. Ну, этот... — Она бросила взгляд на Виктора.— Как его, господи...

— Карцев? — подсказал тот.

— Во-во.

— А вы его тоже знали, тетя Поля? — мягко спросила Леля.

— А то нет? Часто, небось, приходил-то. Вот, значит, он-то этого Бухарова Саньку и стукнул. Ключ он у него отнимал. «Отдай,— кричит,— пьяная свинья! Чего вы тут над девушкой измываетесь!» Ну, и, значит, запер он дверь от них. А эти, ироды, лезут, гогочут. А у меня захолонуло сердце-то, ноженьки дрожат — ни крикнуть, ни топнуть.— Женщина осмелела и говорила уже свободнее.— А потом уж я на третий побежала, за старшими, значит. Вот так оно и было.

Все внимательно слушали ее, а когда она кончила, никто не решался заговорить.

— Ну что ж, тетя Поля,— вздохнув, сказал наконец Виктор.— Спасибо вам. Идемте, я вас в машину провожу, если, конечно, у товарищей вопросов нет.— И он посмотрел на остальных.

— Да нет, пожалуй,— задумчиво сказал Онищенко.

Когда Виктор вернулся, говорила Леля:

— ...мне просто стыдно! Честное слово, стыдно! Сколько же он пережил! — У нее в глазах стояли слезы.— И как мы вообще так могли, я не понимаю!

— И все-таки надо разобраться,— твердо сказал Шарапов,— а потом уж решение менять. Мало ли что эта тетка скажет!

Онищенко, как всегда, невозмутимо, заметил:

— Разобраться, конечно, надо. Но лучше это делать,— он выразительно посмотрел на Шарапова,— перед тем, как принять решение.

— У меня только одна просьба, братцы,— сказал Виктор.— Разберитесь к завтрашнему дню. Мне надо как можно быстрее с этим парнем встретиться. С ним у меня еще ой-ой сколько возни.

— У нас тоже,— сказал Шарапов.

Виктор возразил:

— Но по разным линиям. А мне через него еще кое-кого спасать надо.

— Разберемся. Звони,— неопределенно сказал Онищенко.

Из райкома Виктор ушел со смешанным чувством надежды и опасения, причем если честно сказать, то опасений было больше. Вероятно, еще и потому, что слишком много он поставил на одну-единственную карту.

Правда, в этот момент Виктор еще надеялся, что Харламов приведет сегодня Глеба Устинова к главной цели. И тогда... Но вечером стало известно, что Харламов привел опять к «тихой» Гале.

Следующее утро застало Виктора на знакомой при вокзальной площади, вблизи от палатки, где торговала Галя.

Не прошло и часа, как он заметил, что недалеко остановился небольшой голубой «пикап». Из него выскочил худенький, чернявый паренек и деловито направился к Галиной палатке. Но чем ближе он подходил, тем нерешительней становились его движения, на лице появилась смущенная, чуть заискивающая улыбка.

С первого взгляда Виктор почувствовал, что где-то уже видел этого парня, но только спустя некоторое время наконец вспомнил: это был парень, с которым так горячо толковал Харламов, отведя в сторону от других ребят, в тот вечер, в переулке, когда Виктор решил подойти к нему. И парень этот, оказывается, шофер. Судя по всему, он совсем недавно познакомился с Галей и тут же, очевидно, влюбился в нее, иначе этот бойкий паренек сейчас не краснел бы так и не робел, разговаривая с ней. А раз их знакомство недавнее, то, наверное, и с Харламовым он сблизился недавно. Недавно. А парень-то — шофер!

Пока незнакомый парень разговаривал с Галей, Виктор успел записать номер машины и из ближайшего телефона-автомата передал его товарищам, попросив немедленно выяснить все, что возможно, о водителе машины.

Когда Виктор вернулся, парень все еще крутился возле палатки, пережидая, пока Галя отпустит

очередного покупателя, чтобы снова заговорить с ней. Виктор перешел поближе.

— Ступай, Пашенька, ступай,— нетерпеливо и вкрадчиво говорила Галя.— До вечера, значит!

— Неохота ступать-то,— смущенно отвечал парень.

— Ну, мало что,— улыбалась Галя, стреляя по сторонам глазами.— На работе же я. И у тебя машина, небось, уже замерзла.

— Не. Она у меня ученая.— В голосе его прозвучали горделивые нотки.— С пол-оборота заводится. В конце концов Галя все-таки уговорила парня, и он ушел.

И тут же Галя обратилась к последней из покупателей:

— Гражданочка, предупредите, чтоб за вами не вставали. Мне на базу звонить надо.

Она торопливо отпустила последних из покупателей, потом захлопнула окошечко и повесила на нем уже не раз, видимо, послужившую ей записку: «Ушла звонить».

Через минуту Галя выпорхнула из палатки, аккуратно заперла ее на большой висячий замок и побежала через площадь, ловко лавируя среди машин, рядами стоявших перед вокзалом.

Виктор последовал за ней.

На противоположной стороне площади Галя скрылась в дверях продуктового магазина. Через минуту туда зашел и Виктор. Он заметил, как девушка проскользнула за прилавок в подсобное помещение, и, не колеблясь, прошел за ней, небрежно бросив на ходу продавщице:

— Мне к директору.

В подсобном помещении людей не было, но в стороне за тонкой фанерной перегородкой Виктор услышал голос:

— ...Да, да. Привет, Раек. В общем, повеселимся... Что?.. Да. Очень славный.

Виктор притворился, что поджидает кого-то, отступил за груды ящиков с таким расчетом, чтобы Галя, проходя, его не заметила. Со своего места он хорошо слышал ее голос за перегородкой.

— ...Ну, чудно. Целую. До вечера.

Спустя несколько минут Галя вышла из магазина и направилась к своей палатке.

«До вечера,— повторил про себя Виктор.— Раек... Рая, значит, какая-то...» Круг все больше расширялся, и в центре его была Галя. Да, тут есть над чем задуматься. Виктор посмотрел на часы. В райком звонить еще рано. О шофере Паше тоже, конечно, сведения еще не собраны. Между тем Галя... Надо еще присмотреться к ней.

Когда Виктор подошел к знакомой палатке, Галя уже бойко торговала, успевая весело поглядывать по сторонам.

И тут вдруг произошло неожиданное: их глаза встретились. Галя улыбнулась Виктору и многозначительно покачала головой. Ему ничего не оставалось, как улыбнуться ей в ответ.

Но было очевидно, что одной улыбкой не отделаешься. Галя заметила его. Надо было как-то объяснить свое присутствие здесь. И Виктор решил.

С самым беззаботным видом он подошел к палатке и, улучив подходящий момент, сказал:

— Вы так мне кивнули, как будто мы знакомы. А я еще только собирался.

Галя лукаво улыбнулась.

— А я вам помочь решила. Смотрю, мается человек.

— Правда? — как можно правдоподобнее обрадовался Виктор.

— Ага. Да еще такой симпатичный. Хотя, конечно, женатый.

— Представьте, холостой. Дожидаюсь все случая.

— Ну, конечно.— Она засмеялась.— Все вы холостые для такого вот случая.

— Нет, правда.

— А я ведь и проверить могу.

— Это как же?

— А вот пригласите меня вечером,— лукаво подмигнула она.— Небось, жена-то не пустит.

«Только этого не хватало»,— подумал Виктор и с улыбкой сказал:

— Вот и поймал вас. Пойдемте сегодня?

Галя покачала головой.

— Какой вы быстрый. Сегодня как раз и не могу.

— Ну вот, а говорите. Но тем хуже для вас. Я тогда снова к вам приду. Можно?

— А чего ж? Милости просим.— Она опять засмеялась.— Может, вы тот самый, про кого мне одна женщина нагадала?

— Чего же она вам нагадала? — поинтересовался Виктор.

— Будет, говорит, тебе один знакомый, а у него большие хлопоты и длинная дорога.

Виктор засмеялся.

— Во, во! Это как раз обо мне.

Про себя он подумал: «Черт возьми, уж не намеки ли? Ведь хитрющая девка». Но потом решил, что это уж слишком.

— А вы меня давно заметили? — чуть сконфуженно спросил Виктор немного погодя.

— Ага. Еще вчера. И как вы сейчас подошли, сразу узнала.

Виктор с облегчением вздохнул: она, казалось, не врала и явно принимала его за очередного уха-жера.

Спустя некоторое время он посмотрел на часы и с неудовольствием сказал:

— Пора, пожалуй. А то на работе схватятся.

— Что ж у вас за работа?

— А это в другой раз. Я у-у какой ответственный,— и он весело подмигнул.

Но на душе у него было совсем не весело. Хлопот становилось все больше, и дорога оказалась куда длиннее, чем он предполагал.

Они простились.

Галя посмотрела ему вслед долгим и подозрительным взглядом. Что-то беспокоило ее в этом новом знакомом.

На работе Виктора ждал Устинов.

— Радуйся и пляши.

— Это с чего же? — насторожился Виктор.

— Кое-что светить начинает по той машине.

— Ну, так ты и пляши.

— В том-то и дело, что ты должен,— и Устинов с несвойственным ему восхищением добавил: — У нашего нюх — это что-то исключительное.— Он имел в виду Бескудина.— Помнишь, два дня назад ты еще говорил, что это не та группа?

— Неужели все-таки она? — недоверчиво спросил Виктор.

— Наш, кажись, в десятку попал — она! Опознают ведь Харламова твоего.

— Кто опознает? — Виктор все еще сомневался.

— Во-первых, владелец машины. Вчера первая беседа у нас была. Он в тот вечер узнал троих ребят, в том числе и Харламова. Они все в его переулке живут. Во-вторых, с ног сбились, но нашли одну женщину, которая эту драку видела. Также с этого переулка и тоже узнала Харламова.

— Если был он, то был и Карцев.
— Возможно. Хотя его не рисуют. Но тут есть один момент. Видишь, какое дело. На месте происшествия нашли кепку. Дорогая, светлая, ворсистая такая кепка. А владельца-то нет пока.

— То есть как?
— А так. Неизвестная кепка. В переулке ее никто не видел ни у кого из ребят. Выходит, был с ними чужой.

— Интересно взглянуть на эту кепку,— заметил Виктор.— Она где?

— В отделении.

— Заедем. Авось, пригодится.

Возвратившись к себе, Виктор получил справку о шофере Павле Авдееве. Кроме всего прочего, там были приложены и его характеристики по месту жительства и работе. Отзывы были хорошие, хотя и отмечалась его склонность к лихачеству. Среди Пашкиных приятелей Харламов не значился. Догадка Виктора подтверждалась: их знакомство было недавнее, и, судя по всему, инициатором его был Харламов. Между тем жили они в соседних домах. Следовательно, Павел понадобился зачем-то Харламову, и понадобился срочно. И Галя тут играла не последнюю роль. Да, Авдеева нельзя было упускать из виду. Но и распыляться тоже было нельзя. Главная цель была иной. Виктор это понимал.

Теперь предстояло позвонить в райком. Условленный час настал. И Виктор поймал себя на том, что волнуется.

Костя Онищенко оказался на месте, это был удивительно пунктуальный человек.

— Слушай,— сказал он Виктору.— У нас тут целая заваруха начинается с этим Карцевым. Я даже на бюро сегодня докладывал.

— Да в чем дело? Неужели не ясно?

— Тут дело глубже, дорогой мой. Принципиальнее,— неуступчиво и спокойно возразил Онищенко.— Если допустить, что один раз дров наломали, то второй раз будет уже и вовсе недопустимо.

— Но как ты, лично ты, смотришь на это дело? Почему ты говоришь «если допустить»?— Виктор с трудом сдерживался.

Но Онищенко отвечал все так же спокойно:

— Два разных вопроса. Лично я считаю, что одним восстановлением Карцева ограничиться нельзя. Надо делать выводы.

— Значит, ты поверил! Так почему же...

— Но есть и второй вопрос. Ты выслушай до конца.

— Ну-ну. Интересно даже.

— Верят не все. Значит, надо так разобраться, чтобы и они убедились: все тут честно, все справедливо. На ошибках тоже надо воспитывать людей. Понимаешь ты меня?

— Я-то тебя понимаю. Вот ты меня не хочешь понять. Мне же некогда ждать!

— Ничего не поделаешь,— ответил Онищенко.— Важные решения не принимаются с кондачка. Тебе это не надо доказывать. А вот ребятам в институте... Ты бы посмотрел, что там творится. Они уже чуть не всей группой собираются идти к Карцеву.

— Ни в коем случае, слышишь!— закричал Виктор.— Пока я сам с ним не поговорю!

— Ну так поторопись.

— Но я же хочу говорить с ним, опираясь на ваше решение. Справедливое решение.

— Решения пока нет,— отрезал Онищенко.— Я тебе все, кажется, объяснил.

Виктор на секунду задумался, стараясь успокоиться, потом медленно сказал:

— Ну, хорошо. Тогда я буду говорить с ним ина-

че. Завтра же. И, если можно, у тебя в райкоме. В милицию его вызывать сейчас нельзя.

— Пожалуйста,— согласился Онищенко.— Но только этот разговор должен быть партийным разговором. Учи.

— Вся моя работа партийная. И я коммунист, как и ты,— строго ответил Виктор.— Это ты тоже учи.

После работы Карцев шел в райком комсомола. Чуть сутулясь, шагал он в своем кургузом пальто, пряча лицо в поднятый воротник и глубоко засунув руки в карманы. На узком, хмуром его лице со сведенными у переносицы бровями изредка проступала сдержанная улыбка.

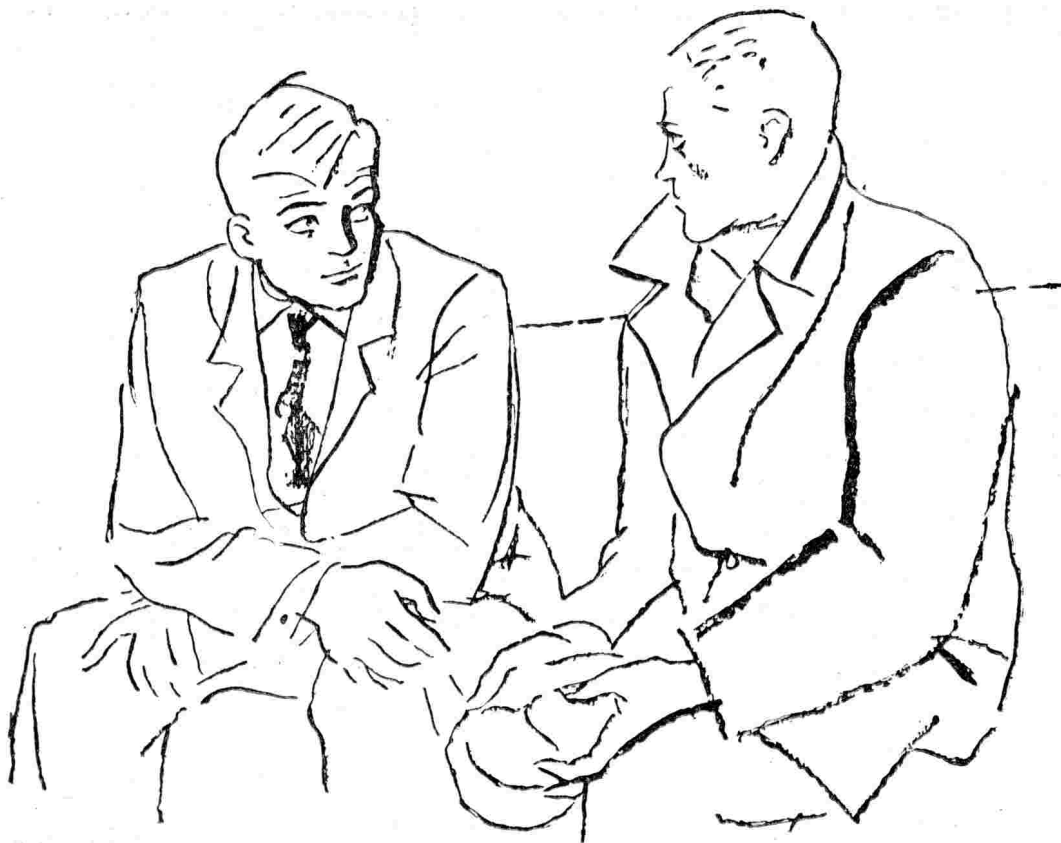
Странной вереницей проносились в голове мысли. Сначала он думал о Раечке. Девушка казалась ему сейчас ближе всех и дороже всех. Перед ним стояли ее испуганные, робкие глаза. Но почему она сказала: «Я боюсь за вас»? Чего она, глупенькая, боится? Он казался себе рядом с ней таким уверенным, таким сильным. Это за нее, маленькую, надо бояться. Ему так хотелось ее защитить от кого-то, научить ее чему-то важному, главному. Он вдруг вспомнил ее слова: «Почему в жизни все так трудно, так непонятно?» Это ей-то, глупенькой, трудно? Вот ему— да, ему действительно трудно. Но ради нее он готов побороть любые трудности. Черт возьми, уж не влюбился ли он? С первой встречи! Да он просто легкомысленный человек! Конечно. Взять хотя бы тот разговор в райкоме.

При воспоминании об этом разговоре его опять охватил стыд. Как он вел себя там! Интересно, кто вызывает его снова? Уж не секретарь ли райкома? А может быть, тот молчаливый светловолосый парень, который так смотрел на него тогда? Неужели они разобрались? Неужели что-то меняется в его судьбе?

Но тут же Карцев*подумал и о другом. Нет, он уже слишком тесно связан сейчас с Розовым, с Гусиной Лапой. При мысли об этом последнем озноб прошел по спине. Этот человек так выделяет его из всех, он заступился за него в тот вечер, когда Карцев подрался с Розовым. А как он сказал, когда они начали долбить ту проклятую стену в подвале: «Если кто твякнет, дознаюсь и хоть на краю света достану!» Зачем все-таки долбили они стену? Что там, за ней? Почему сказал Гусиная Лапа, что денег у них потом будет навалом? И когда это случится? Он вдруг вспомнил, как вчера вечером в ресторане подвыпивший Розовый мигнул Гале и сказал: «Доживем до среды, тогда не то еще угощение закажем». Среда... Ведь это завтра!

Что произойдет завтра? Что задумал Гусиная Лапа? Он на что угоден способен. Нет, страшно было даже подумать, что этот человек вдруг станет его врагом. «Ну, тогда все, тогда смерть»,— с тоской подумал Карцев и почему-то сразу вспомнил Генку Фирсова. Неужели с ним уже посчитался Гусиная Лапа? Ведь прошло уже дней пять, как он пропал. Куда же он делся, этот Генка? И Карцев почувствовал себя беспомощным, слабым, связанным по рукам и ногам. И он еще хочет кому-то помочь, еще думает о Раечке, он еще хочет добиться какой-то правды в райкоме, в институте! Зачем? Кому это теперь надо?..

Все же Карцев заставил себя переступить порог райкома комсомола, прошел по шумному коридору и нерешительно приоткрыл указанную в записке дверь. И вдруг увидел, как навстречу ему встает из-за стола знакомый светловолосый парень.



— Ну, здравствуй, Толя. Жду тебя,— приветливо сказал Виктор и указал на диван.— Садись-ка сюда, потолкуем.

И сам сел рядом.

— Я тебя не буду сейчас расспрашивать, как ты живешь и что ты думаешь,— сказал Виктор.— Захочешь, расскажешь потом сам. Я просто продолжу наш первый разговор здесь, в райкоме.

Карцев слабо пожал плечами.

— Как вам угодно.

— Ты тогда так быстро ушел, что...

— Это было глупо,— поспешно вставил Карцев.

— Это было понятно,— возразил Виктор.— Ты волновался. Если хочешь знать, то я тоже волновался.

— Но молча.— Карцев усмехнулся.

— Это, между прочим, еще труднее. Но тогда мне нечего было тебе сказать.

— А теперь, значит, есть?

— Пожалуй, да. Я кое в чем, кажется, разобрался. Но знаешь что,— улыбнулся Виктор,— давай сначала познакомимся. А то как-то неудобно, я с тобой знаком, а ты со мной нет.

— Вы со мной знакомы?— с усмешкой спросил Карцев.

— Да.— Виктор посмотрел ему в глаза.— Ты не веришь?

— Как сказать.

— Ладно. Может быть, потом поверишь. Ну, а меня зовут Виктор. Фамилия — Панов. Я кончил исторический факультет. И уже собирался писать диссертацию. Деятнадцатый век. Но потом... Ты даже не поверишь. Пошел работать в милицию.

— Ого! — изумленно произнес Карцев.

— Вот именно. Но представь себе, что судьбы сегодняшних людей, трудные, конечно, судьбы, даже порой драматичные, показались мне важнее и интереснее всех моих академических увлечений героями и событиями прошлого. Можешь ты в это поверить?

Виктор говорил так искренне и убежденно, что Карцев невольно поддался его настроению.

— Пожалуй, могу,— сказал он.

И тут вдруг до него дошел второй смысл услышанного им.

— Так вы из милиции?

— Ну конечно. И я,— улыбнулся Виктор,— умею проверять факты лучше, чем твои товарищи в институте.

Карцев равнодушно махнул рукой.

— Это уже не имеет значения,— и вдруг испытующе спросил:— Вы что же, арестуете меня?

— Ну вот еще! Тебя, Толя, пока арестовывать не за что.

— «Пока...» — усмехнулся Карцев.— А какая разница: сегодня или, например, завтра, в... в среду? Он вдруг спохватился и испуганно посмотрел на Виктора.

Но тот, словно не заметив его испуга, насмешливо спросил:

— А ты разве собираешься что-нибудь натворить завтра? Брось. Я же знаю, почему ты машешь рукой. Тебе просто на все наплевать. Так ведь?

— Представьте себе.

— Не верю,— решительно тряхнул головой Виктор.— Это — настроение, и только.

Карцев грустно усмехнулся.

— Это судьба, как вы изволили заметить.

— Знаешь что? — сказал Виктор.— Я не буду повторять тебе избитое выражение: человек — хозяин своей судьбы. Я тебе это постараюсь доказать. Вот слушай. У меня есть знакомый парень, он физик, талантливый причем физик. Это был энергичный, деятельный человек. Он многого добился, ставил какие-то необыкновенные опыты, выступал на диспутах, писал статьи, доказывал, спорил. Жил кипучей жизнью. Потом купил машину, гонял по всем дорогам. У него была семья, рос сын. И вдруг...

— Погиб? — быстро спросил Карцев.

— Нет, что ты. У него появилось сердццебиение. Вероятно, переутомился. Пустяк, в общем. Но он испугался. И как! Он забыл обо всем. Он улегся на диван и стал прислушиваться к этому своему сердццебиению. Он не верил врачам. Он весь ушел в свою пустяковую болезнь. Месяц проходил за месяцем. Он не вставал с дивана, ослаб, одурел от мыслей о близкой якобы смерти. Он на глазах превращался в развалину, у него угасла воля к жизни. — Ну и ну,— произнес пораженный Карцев.— А друзья, а жена?

Виктор грустно покачал головой.

— Мы пока ничего не можем сделать. Потому что он не помогает нам. Он потерял всякую власть над собой. У него нет желания, нет воли вернуться к нам.

Карцев с вызовом посмотрел на Виктора.

— Зачем вы мне это рассказываете?

— Мы с тобой заговорили о судьбе.

— Но ведь обстоятельства бывают сильнее человека! — запальчиво возразил Карцев.— Разве вы этого не знаете?

— Знаю. Но если человек борется, то ему всегда можно помочь. И тогда, вместе можно побороть любые обстоятельства.

— Для этого нужны верные друзья.— Карцев невольно вздохнул.— Иначе... иначе, знаете, что может случиться?

Он вдруг невольно подумал: «Что, например, случится завтра?»

И по удивительному наитию, как бывает только между очень близкими людьми, Виктор тоже подумал об этом. Странное упоминание о среде не вышло у него из головы.

Он медленно, с ударением произнес:

— Это точно. Случиться может всякое. Не сегодня, так... завтра.— Он вдруг заметил, как вздрогнул Карцев при этих словах.— И тут действительно нужны верные друзья. Среди твоих знакомых таких сейчас нет.

— Вы так думаете?

— Мне кажется, я их знаю. Во всяком случае, некоторых.

Карцев усмехнулся.

— Это чисто милицкий прием брать человека на пушку.

— Просто ты нас не знаешь,— покачал головой Виктор.— И жаль, что ты мне не веришь. Я тебе честно сказал, почему пошел работать в милицию. Иначе я бы писал свою диссертацию.

— И спокойнее и доходнее,— иронически заметил Карцев.

Он был смущен и пытался скрыть это.

— Да, конечно,— просто согласился Виктор и вдруг спросил: — Скажи, а тебе никогда не хотелось кому-нибудь помочь?

Карцев удивленно посмотрел на него. В голове

пронеслась неожиданная мысль: «Неужели он знает Раечку?»

— Представьте, нет,— резко ответил он.

— Что ж, может быть, ты еще и встретишь человека, которому захочешь помочь,— сказал Виктор.— Тогда ты поймешь меня.

— А вы, значит, уже встретили такого человека? — В голосе Карцева все еще звучала ирония.

Но Виктор подметил в его тоне и что-то новое, какую-то задумчивость, словно Карцев, ведя разговор, одновременно размышлял про себя о чем-то.

— Я таких людей не встречаю,— ответил Виктор.— Я их ищу.

— Очень благородно.

— Пожалуй. Хотя это и громкое слово. А ты, кажется, не любитель таких слов?

— Их слишком часто употребляют.

— Вот именно.

Карцев не выдержал и засмеялся.

— А знаете, вы, кажется, неплохой человек. И я все время забываю, что вы из милиции.

— А как насчет милицеских приемов? — улыбнулся Виктор.— Чтобы брать на пушку?

— Ну, это вам не удастся. Пока... Вот, как с вашим знакомым.

— Это верно. Что ж, я подожду. Мне кажется, что ты захочешь бороться. За себя и, может быть, за кого-нибудь еще.

«Опять,— подумал Карцев.— Неужели он все-таки ее знает?»

— Может быть,— неопределенно ответил он.

— Ну вот что, Толя,— сказал Виктор,— а теперь я хочу об одной вещи тебе сказать и об одной попросить. Я убежден, что тебя исключили неправильно. Это ошибка. В этом убедятся и ребята. Уверен. Они крепко задумались. Наверное, придут к тебе. Веди себя правильно. Не пори чужь. Я знаю, они ищут правду. Помогите им. Борись, черт возьми! Словом, ты понимаешь, что я хочу сказать?

— Понимаю,— коротко ответил Карцев.

— А просьба такая. Запиши мой телефон. Так, на всякий случай. Ладно? Может быть, я тебе пригожусь... в среду.

— Пожалуйста.

Карцев сказал это как можно равнодушнее.

Они вышли из райкома вместе и простились у троллейбусной остановки.

По дороге Виктор думал о том, что разговор состоялся хороший и Карцев, в общем, тоже парень неплохой, хотя он пока ничего не рассказал и ничего ему, Виктору, не помог. Задача по-прежнему остается нерешенной, и он тут ни на шаг не продвинулся вперед. И не продвинется, если только завтра, в среду — его, кажется, не на шутку взволновала почему-то эта среда! — Карцев не позвонит ему. А если он сам ему завтра позвонит?

Виктор чувствовал: Карцев сейчас единственное звено, за которое надо и можно ухватиться. Он чувствовал каждой клеточкой своего возбужденного мозга: надвигаются какие-то события, решающие события. И Карцев должен ему помочь тут. Должен, черт побери!

Когда Карцев вернулся домой, уже стемнело. Мать накрывала на стол: ждала к обеду отца. Увидев сына, Марина Васильевна обрадованно сказала:

— Ну вот. Наконец-то все вместе сядем за стол. Иди мой руки. Уже так поздно!

И с привычной тревогой оглядела его. Редкий случай: сын выглядел спокойным, почти веселым. На всякий случай она спросила:

— Ты вечером опять уходишь?

Вопрос прозвучал робко, в нем было столько скрытой тревоги, что Карцев невольно улыбнулся, успокаивающе, чуть ли не нежно. «Ведь она все время волнуется».

— Никуда я не уйду. — Он беспечно пожал плечами. — Почему это я должен обязательно уходить? И отправился мыть руки.

Вскоре пришел отец, и все сели за стол.

Последнее время это бывало нечасто, и мать радовалась, что наконец-то все вместе обедают и будут вместе потом весь вечер.

Отец повернулся к сыну:

— Какие новости у молодежи?

— В райком вызывали, — сообщил Анатолий.

— Та-ак. Хорошо, — бсдро откликнулся Владимир Семенович и вдруг удивленно посмотрел на сына. — В райком?..

И Марина Васильевна с тревогой переспросила:

— Ты говоришь, в райком?

В этот момент в передней зазвонил звонок. Отец пошел открывать.

В комнату донесся раскатистый чужой голос:

— Сынок дома?

И растерянный голос отца:

— Дома... А в чем, собственно, дело?

— Сейчас узнаете, в чем дело.

Анатолий выбежал в переднюю. За ним уже спешила Марина Васильевна.

В дверях они увидели массивную фигуру в милицмейской форме. Медно-красное от ветра лицо вошедшего, хмурое и твердое, с воинственными усами, ничего хорошего не предвещало.

— Ваш участковый уполномоченный, — все так же раскатисто отрекомендовался вошедший. — Капитан милиции Федченко, — и, в свою очередь, осведомился: — Гражданин Карцев?

— Да, это я...

Федченко перевел взгляд на Марину Васильевну.

— Гражданка Карцева, если не ошибаюсь?

— Да. Но в чем дело, боже мой?

— А это, выходит дело, сынок? — не отвечая ей, произнес Федченко, повернувшись к Анатолию. — Карцев Анатолий?

— Вас, кажется, спрашивают, в чем дело? — с вызовом спросил Анатолий.

— Вот ты-то мне, милый человек, и нужен, — усмехнулся Федченко. — Для беседы.

Он все еще стоял в дверях, заполняя собой чуть не всю маленькую переднюю.

— Ну, если вам надо побеседовать с сыном, — через силу произнес Владимир Семенович, — пожалуйста, проходите... — И он неуверенно указал на дверь комнаты. — Я только не понимаю...

— Поймете, гражданин. Скоро все поймете, — мрачно проговорил Федченко. — Знакомая история. Сначала, значит, распускаете, а потом не понимаете.

— Позвольте, — вспыхнул Владимир Семенович. — На каком основании... эти намеки?

— Вы можете объяснить, — звенящим от волнения голосом воскликнула Марина Васильевна, — что все это означает?

Федченко усмехнулся.

— Сперва он мне все объяснит. И не тут. Хотел было милиционера за ним послать. — Он кивнул на Анатолия. — А потом думаю: дай-ка обстановочку проверю. Родителей повидаю и тому подобное. — И, обращаясь к Анатолию, сурово добавил. — А ты собирайся на беседу пока что.

— То есть как это «пока что»? — взволнованно спросила Марина Васильевна, прижимая руки к груди. — И почему... Почему не здесь вам побеседовать?

— Обстановочка не та, гражданка. И попрошу спокойствия. Вот так.

— Я не могу спокойно!.. Я не могу, когда так, вдруг... на ночь глядя...

Голос ее дрожал все сильнее.

Владимир Семенович нервно провел ладонью по редким волосам и растерянно произнес:

— Я тоже полагаю...

Но тут вмешался Анатолий. До этого он все время молчал. Сначала он попросту испугался этого мундира, этого уверенного, грозного тона. В голове замелькали смятенные обрывки мыслей: «Арестовать пришел?.. Но за что?.. Панов сказал ведь... Узнали про все?.. Только что узнали?.. Но что же они узнали?.. Мама сейчас расплачется...» Его охватило одно желание: только бы этот человек ушел, любой ценой ушел, поскорее ушел из их дома. Мама не должна при нем плакать. А там — что угодно. Лишь бы скорее он ушел.

Карцев сорвал с вешалки пальто.

— Идемте, — резко бросил он Федченко и, обращаясь к матери, добавил мягко, почти просительно. — Мама, успокойся. Все выяснится. Это... это — недоразумение.

Последние слова беспомощно повисли в воздухе. Но Анатолий так порывисто и решительно распахнул дверь, так стремительно выскочил на лестничную площадку, что Федченко, видимо, решив, что парень может и убежать, торопливо последовал за ним, пробормотав:

— Ну-ну, ты потише, милый человек.

Но Карцев, боясь, что он задержится, что еще что-нибудь скажет, устремился вниз по лестнице. И Федченко не осталось ничего другого, как поспешно спуститься вслед за ним.

До отделения милиции они дошли молча, не проронив ни слова.

Федченко шагал по-хозяйски размашисто и уверенно, глядя прямо перед собой. Карцев торопливо шел рядом, сутулясь, пряча руки в карманы пальто; кашне, небрежно обмотанное вокруг шеи, выбилось наружу.

В пустом, плохо освещенном кабинете на втором этаже Федченко наконец нарушил молчание и повелительно бросил:

— Раздевайся.

Сам он аккуратно повесил свою шинель на вешалку у двери, прошел к письменному столу и плотно уселся в кресло.

Карцев снял пальто. Федченко подождал, пока он, одернув кургузый, старенький пиджак, сядет на стул около стола, потом большим пальцем, не торопясь, расправил усы и, откинувшись на спинку кресла, пробасил:

— Ну, рассказывай, милый человек. Все, как оно есть, рассказывай.

Карцев усмехнулся. Ленивое, ироническое равнодушие вдруг охватило его. Это было словно реакцией на пережитое только что волнение. Он был почти рад, что сидит в этой комнате, что никого больше нет тут, только они двое. А что этот «дуб» может сделать ему, что он вообще знает?..

— Закурить разрешите? — с преувеличенной любезностью осведомился он.

— Давай, давай. Хочешь моих?

Федченко как будто даже обрадовался. Торопливо вытащил из кармана надорванную пачку «Беломора», протянул ее через стол.

— Благодарю. Предпочитаю свои, — все тем же тоном ответил Карцев.

Они закурили.



«Если уж тот, Панов, ничего не знает...» — подумал Карцев. Внезапно его кольнула тревожная мысль: «А что, если все это заранее так придумано? Один прощупывает, ведет интеллигентный разговор. А второй, вот этот, рубит сплеча, берет на испуг и выкладывает все карты? Может, они уже знают и про Розового, и про Гусиную Лапу, и про него самого? Может, уже арестовали тех двоих? А с ним, как кошка с мышкой...» И Карцева вдруг с новой силой охватила страх. Ну, конечно! Как это он сразу не понял! Они договорились так вести игру, Панов и этот... И к страху его добавилась злость, на них, на себя за то, что поверил Панову там, в райкоме, дал ублажать себя этому лицемеру, этому...

Карцев чуть не задохнулся от нахлынувшей на него злости и, глядя Федченко в глаза, раздельно произнес:

— Я с вами не желаю разговаривать... Не желаю!..

Последние слова он яростно выпалил прямо в лицо Федченко, ухватившись побелевшими пальцами за край стола.

Федченко в первую минуту опешил от неожиданности — он настроился было совсем на другой разговор. Но тут же от его миролюбия не осталось и следа. Медленно багровея, он сжал тяжелые кулаки и угрожающе произнес:

— Тебе что, на свободе гулять надоело? В тюрьму ворота широкие, а назад, ой, какие узкие! Понял? — И, увидев, что Карцев собрался ответить, он грозно стукнул кулаком по столу. — Цыц, щенок! И не таких обламывал! И не такие пробовали у меня стойку выдерживать! Герой, видишь, нашелся! Ты еще слезами умоешься! Поздно только будет!

Он навалился грудью на стол, подавшись к Карцеву, и все стучал, стучал кулаком, словно вбивая невидимые гвозди. И Карцев почувствовал, как от этих ударов у него начинает ломить в голове, почувствовал боль от каждого удара, будто эти гвозди входили в него. И он крикнул, уже не соображая, что он кричит:

— А вы не стучите! Слышите?.. И я вам не щенок!.. И вообще сажайте! Пожалуйста! К черту все!..

— Ишь ты какой! — меняя тон, насмешливо произнес Федченко и снова откинулся на спинку кресла. — «Сажайте». Сперва, милый человек, ты мне все расскажешь. Понятно?

— Ничего я вам рассказывать не буду!

— Расскажешь. Не такие рассказывали.

Карцев, стараясь успокоиться, снова закурил. Руки его дрожали. Он вдруг подумал: «Надо бы узнать, что им известно». И глухо спросил:

— О чем вам рассказывать?

— О чем? Это другой разговор. Рассказывай, с кем спутался. Чего натворить успели?

«Знают. Неужели знают?» — промелькнуло в голове у Карцева. И он попытался схитрить. Пристально глядя на уголек сигареты и поминутно сдувая с нее пепел, он сказал:

— Я не знаю, кого из моих знакомых вы имеете в виду, говоря «спутался».

— Ах, не знаешь? — ядовито переспросил Федченко. — Ну, давай начнем с Харламова Николая, для примера. Знаешь такого?

— Допустим, знаю.

— То-то. А что про него знаешь?

— Работает со мной на одном заводе.

— Та-ак. А еще где он с тобой работает?

Карцев почувствовал, как похолодело у него в груди. Он с силой затянулся и вдруг закашлялся, тяжело, надрывно, до слез. Ему было стыдно этого кашля, этих слез, но он ничего не мог поделать.

Федченко терпеливо ждал. Потом тяжело повернулся в своем кресле. Сбоку от него на тумбочке стоял графин с водой, полоскательница и стакан. Он налил воды и подвинул стакан через стол к Карцеву. Тот, даваясь от кашля, отрицательно замотал головой.

— Гордый как-с, скажи на милость! — усмехнулся Федченко.

Когда кашель наконец прекратился, Карцев смахнул слезы и, тяжело дыша, спросил:

— Вы еще долго меня тут пытаться собираетесь?
— Ты это насчет пыток-то брось,— хмуро посоветовал Федченко.— Говори лучше, где с Харламовым встречаешься.

— Нигде не встречаюсь.

— Врешь ведь?

— Не вру. И вообще советую...

— Ты мне не советуй! — громыхнул Федченко.— Советчик нашелся!

— Ну, так я требую!.. Не желаю с вами разговаривать, вот и все!

— Нет, не все, милый человек. Разговаривать придется. Мы тут не в куклы играем. И нянчиться с каждым сопляком не будем, учти. Материальца у нас против тебя — вот так! — Федченко провел рукой по горлу.— Если я чего и спрашиваю, то только чтобы твою откровенность проверить. Сознание твое, то есть.

— На пушку берете? — дрожащими губами усмехнулся Карцев.

Он вдруг вспомнил Панова. И тот тоже, только по-своему, хотел его «взять на пушку». В друзья набивался. А он, дурак, развесил уши, поверил.

— На пушку? — угрожающе переспросил Федченко.— Значит, думаешь шутки шутим с тобой? Говори, что у тебя там с Харламовым, ну?

— Ничего!

— Та-ак. Ну ладно, Карцев Анатолий. Коли так, то пеняй на себя.

Федченко поднялся и тяжело прошелся по кабинету. Потом остановился перед Карцевым, задумчиво поглядел на него, расправил усы и с досадой произнес:

— Дурак ты, дурак! Вот что я тебе скажу.

— Это точно,— вырвалось у Карцева, и он горько усмехнулся.

— Не веришь, значит, мне?

— Одному такому, как вы, поверил. А теперь все, излечили.

— Добра же тебе хотим, дураку.

— Я вижу...

«Даже не спрашивает, кому я поверил,— подумал Карцев.— Конечно, сговорились. И этот арестует. Ему ничего не стоит».

А Федченко снова зашагал по кабинету, раздраженно теребя усы, потом опять остановился перед Карцевым.

— Выходит, сознательности в тебе нет, исправлять свое поведение не собираешься. Так надо понимать?

— Как хотите, так и понимайте.

— Вот видишь? И еще грубости говоришь.

— Вы мне их больше наговорили.

— С такими, как ты, милый человек, только строгостью и можно. Ты разве другой подход понимаешь?

— Я никакие подходы не понимаю.

— Именно,— охотно согласился Федченко.— Никакие. Я-то понял, что кое-кто уже всякие церемонии с тобой разводил. А ты им — шиш. Так, что ли?

«Это он на Панова, кажется, намекает,— подумал Карцев, и в душе на миг шевельнулось какое-то сомнение.— Как будто даже доволен, что я тому ничего не сказал».

— Так, что ли? — повторил Федченко.

«Чего он выпытывает? — подумал Карцев.— Не знает, что ли?»

— Так,— отрезал он.

— Ну, а теперь слушай,— строго произнес Федченко, внутренне довольный, что хотя бы не он один потерпел неудачу с этим обозленным, дерзким парнем.— Я уже сказал: материала на тебя у нас хватает. Но пока отпускаю. Ступай. И помни: на ниточке ты у меня висишь. Днем и ночью об этом помни. И я с тобой церемонии, как другие, разводить не буду. Чуть что — и готов ты, милый человек, спекся!

...Было уже совсем поздно, когда Карцев вернулся домой.

— Ну, наконец-то! — кинулась к нему Марина Васильевна.— Я прямо места себе не находила. Кошмар какой-то!

— Чего он от тебя хотел? — буркнул Владимир Семенович.

Раздеваясь, Карцев как можно беспечнее сказал:

— Дурак он и милиционер. Вот и все.

К его удивлению, Марина Васильевна покачала головой.

— Там есть умные люди, Толик. Мне... мне говорили.

Рано утром Карцева вдруг позвали к телефону. Звонил Панов.

— Толя? Ты сегодня как работаешь? Сегодня среда.

— Знаю. Работаю с трех.

— Не могли бы мы встретиться?

— Нет,— сухо, с накапливающим раздражением ответил Карцев.

Панов встревоженно спросил:

— Что-нибудь случилось?

— Ничего особенного.

— Ну, а когда мы увидимся?

— Когда повестку пришлете или... или милиционера!

— Ничего не понимаю,— с расстановкой произнес Панов.— Может, объяснишь?

— Сами все знаете лучше меня.

Виктор повесил трубку и закурил.

С Карцевым определенно что-то случилось. Парня словно подменили. И разом все рухнуло, все, что с таким трудом сделал он, Виктор, за эти дни. Причем это произошло в тот решающий момент, когда Карцев был ему особенно, как никогда, нужен.

Наступила среда!

(Окончание следует)



● В. Фролов

ОТКРЫТИЯ И НАДЕЖДЫ

Обозрение

Театр, настоящий театр начинается теперь не с вешалки. А с того момента, когда вас, обладателя счастливого билета, останавливают на дальних подступах, в вестибюле метро или на улице, с вопросом: «Нет ли лишнего билетика?»

Это гвардия завязтых театралов, приезжих и москвичей, знающих смысл и толк в любом актере и режиссере. Они в каждом городе. И во многих городах есть теперь театры, любимые молодежью, всеми зрителями. В поисках билетов на хорошие спектакли они простаивают в очередях, бомбардируют администраторов и знакомых, имеющих ходы и «связи» в храмах Мельпомены, идут на жертвы, приобретая билет с «нагрузкой» — в «Современник» или же в театр на Таганке плюс билет на какой-нибудь рядовой спектакль. Если же все возможности исчерпаны, они не теряют надежды. Вы слышите: «Нет ли лишнего билетика?»

И в тот же вечер у иных теат-

ров немногочисленно; молодежь не стремится туда, не спорит об этих театрах, равнодушна к их афишам...

Это, разумеется, лишь предвещание театра. Итак...

МОЛОДОСТЬ, МОЛОДОСТЬ!..

Я часто бываю в театрах и, откровенно говоря, уже привык, что роли трагистов и героинь играют актрисы, которым давно уже за сорок лет, а в «Гамлете» выходит мужчина, давно справивший пятидесятилетний юбилей. Отчего же это происходит? Причин много. Самых разных. Чаще всего героини еще хорошо выглядят, а пожилые женщины, играющие мальчиков (трагистов), отлично натренированы. Есть могучее «штатное расписание», есть местком и общественные организации, стоящие на страже производства. Все они объединяются в огромную силу, которая стоит пе-

ред юношей или девушкой, пришедшими из театрального института. Да, да! Увы, это не столь редкое явление! И все-таки молодость у нас берет свое.

Актер складывается, как правило, к двадцати пяти годам. Этот возраст — своеобразный рубеж: приходит зрелость, определяется индивидуальность. Москвин, например, сыграл труднейшую роль царя Федора Иоанновича в двадцать пять лет и стал сразу знаменитым артистом. Хмелев в эту же «возрастную» пору создал на сцене МХАТа такие образы, как Алексей Турбин и коммунист Пеклеванов, принесшие ему всенародную известность. Артисты изображали своих сверстников, и одно это давало им возможность с необыкновенной достоверностью проникать в глубины изображаемых характеров.

Конечно, молодость еще не гарантия успеха. Необходим талант, нужны духовное богатство, высокая культура и ответственность перед собой и своими товарищами. Любить не себя в искусстве, а искусство!

Эти качества сами не приходят. Они вырабатываются со школьной скамьи, определяются в юности, затем шлифуются в театральных институтах. Почти все наши актеры — питомцы студий, среди них попадаются люди, пришедшие из самодеятельности, но они — редкое явление. И тут есть своя закономерность. Студии и институты дают не только необходимый минимум знаний, но они еще приучают будущего актера к постоянному профессиональному тренажу, к выносливости, к тому, что всегда отличает профессионала от любителя, у которого накапливаются свои достоинства, но которому не всегда удается преодолеть «любительские» штампы, поверхностное, «приблизительное» овладение ролью.

Актер — это профессионал. Только постороннему наблюдателю эта профессия кажется легкой и красивой. На самом же деле это адская творческая работа, поглощающая человека, ее избравшего, целиком. Если учесть еще, что дело актерское сугубо индивидуальное, что судьба актера зависит от тысячи причин, для множества профессий вообще не существующих, тогда станут в какой-то мере ясны трудности, с которыми приходится встречаться каждому молодому актеру. После училища или театрального института он входит в огромный мир, и никому не известно, станет ли он настоящим мастером или же года-

ми будет выходить на сцену в эпитафиях.

Никто не знал Иннокентия Смоктуновского до тех пор, пока его не «открыл» Г. А. Товстоногов, сразу же «угадавший» в нем князя Мышкина. Смоктуновский тогда играл где-то в провинции. Товстоногов пригласил его в Большой драматический театр, поручил ему роль Мышкина в «Идиоте», и сразу всем стало ясно, что это огромный талант, сверкающий редчайшими красками. Случилось так, что Смоктуновский потом ушел из Большого драматического театра, снимался в кино, сыграл Гамлета в фильме режиссера Козинцева. И после большого перерыва снова пришел в этот театр, уезжающий на гастроли в Англию. Снова в «Идиоте» Смоктуновский в Лондоне играл Мышкина, и английская пресса нарекла его великим актером нашего времени.

По-разному складываются актерские судьбы. Иные из дебютантов быстро растрачивают свои силы, мелькают в бликах славы, стираются среди преуспевающей посредственности. Смотришь иной раз актера на сцене — и видишь в нем усталого молодого человека, преждевременно состарившегося, играющего себя, только лишь себя, в разных ролях демонстрирующего одни и те же средства «вживания» и «приспособления». Тут профессиональность служит лишь средством прикрытия полной духовной опустошенности. Это преждевременный снобизм.

Выбор пути, отстаивание своих взглядов в искусстве — дело нелегкое и чаще всего сопряженное с трудностями и испытаниями. Здесь необходимо проявить мужество, поступиться, бывает, благополучием, чтобы потом не краснеть за себя и своих товарищей. М. Козаков в свое время ушел из театра имени Вл. Маяковского, ушел в «Современник», хотя у Охлопкова он был в большей чести, играл Гамлета, мог рассчитывать на сравнительно покойную жизнь в солидном театре. Козаков понял, что «Современник» ему ближе по духу, по творческому устремлению. И здесь действительно развернулось дарование актера; в последние годы он, сыграв Сирано, Кисточкина, Джерри («Двое на качелях»), старшего Адуева в «Обыкновенной истории», обрел настоящую актерскую зрелость.

Часто приходится наблюдать, как талантливые актеры годами не могут найти себя в искусстве. Театры, накопившие опыт, обладающие постоянным составом группы,

тяжелы на подъем, когда заходит речь о выдвижении молодежи. У них свои «уставы», свои порядки, сложившиеся, к сожалению, не в пользу представителей юного поколения. Вот почему естественно возникает тяга у молодежи к своему театру, к режиссеру, собирающему двадцатилетних, к атмосфере поисков и дерзаний в искусстве.

Этот процесс происходит теперь повсеместно¹.

В Иванове родился народный молодежный театр, поставивший наряду с другими спектаклями «Баян» В. Маяковского, «Реквием» Р. Рождественского, «Параболу» (по А. Вознесенскому) и заслуживший симпатии молодежи. В 1963 году театр получил диплом первой степени на Всесоюзном смотре профсоюзных народных театров.

В Алма-Ате, столице Казахстана, молодые энтузиасты организовали театр «Галерка» — своеобразный театр-студию, завоевавший успех своими постановками.

Красноярский театр юного зрителя тоже новый коллектив. Он возник из выпускников ленинградского театрального института и сплочен единством творческих устремлений. Зрители, и не только юные, уже успели полюбить этот театр.

В Учебном театре ГИТИСа я видел спектакль школы-студии имени Вл. И. Немировича-Данченко «Девушка с большим ртом» А. Рида. Это не просто дипломный спектакль мхатовской студии. Студенты IV курса актерского факультета, объединившись вокруг Евг. Радомысленского, организовали свой театр, подготовили несколько спектаклей. «Девушка с большим ртом» — это только один из них. Остроумная комедия шотландца А. Рида, написанная в форме современной притчи, с изысканной проной разыграна молодыми студентами. Но дело даже не в этом. Уже сложился театр, уже «наиграли» репертуар, люди полны желания работать в «своем» маленьком коллективе, объединенном единым устремлением, выработавшем свою программу. Будет несправедливо, если они попадут под «распределение», разойдутся по разным театрам. И рухнут мечты, и опять одиночке придется идти тернистой дорогой к большому искусству.

Создание небольших молодеж-

ных театров — дело давно назревшее. Опыт показывает, что молодые театры-студии, состоящие из единомышленников, способны к открытиям в искусстве².

Несколько лет назад в Кишинев приехала группа выпускников училища имени Б. Шукрина, они организовали театр «Лучафэрул». Теперь это самый интересный театр в Молдавии. Молодые «вахтанговцы» (так называют себя актеры «Лучафэрула») трудом добились признания зрителей своей республики. Я познакомился с этим театром, увидел спектакли «Женитьба» Н. Гоголя и «Чертова мельница» Яна Дры и И. Штока.

Меня поразила атмосфера, царящая на спектаклях: она по-вахтанговски солнечна, остроумна, напоена той «волшебностью», которая и придает особую зрелищность театральному представлению. Молдаване (это в полном смысле национальный театр: здесь играют на молдавском языке), воспитанники вахтанговского училища (их учителя — Орошко, Мансурова, Захава), играют, живут на сцене умно, органично, современно. В «Женитьбе», классической русской комедии, находят свою тему, свой угол зрения, свои ритмы. Подколесинская тема поднимается до огромного философского осмысливания не только абсурдной, жестокой эпохи, но еще и бесполезности праздного существования во все эпохи. С какой-то внутренней грустинкой ведет роль Подколесина Ион Унгуряну — великолепный актер и он же главный режиссер театра. Человек огромного роста, печальный, неповоротливый, легкоранимый подлостью, Подколесин бежит от всего, прыгает из окна от невесты. Он лежит на диване, беседует со слугой Степаном, с юрким и пронырливым Кочкаревым, а сам думает совершенно о другом. Ему все давно надоело...

Такая трактовка «Женитьбы» свежа, неожиданна, современна. Она как бы позволяет театру заглянуть в глубины гоголевской сатиры — и тогда сквозь смех обнажаются слезы, видишь грустные глаза Гоголя, которыми он и смотрел на вереницу «женихов», пришедших найти свою выгоду в браке с купеческой дочкой Агафьей Тихоновной. Без надоевшего шаржирования, в тонах все той же пе-

¹ «Новое сегодня возникает всюду...» — справедливо отмечает Н. Крымова, указывая в этой связи на работы кировских, тбилисских и рижских молодых творцов современного советского театра («Комсомольская правда» от 29 июля с. г.).

² Интересно предложение, высказанное в «Комсомольской правде» Л. Жуховицким: организовать в Москве театр дебютов, открытый для эксперимента, для первого знакомства.

чаинки играют Павел Яцковский — эскутор Яичница, неуклюже подсчитывающий доходы невесты; Илие Тодоров — отставной пехотный офицер Анушкин, как струна, затянутый в своем единственном военном мундирчике; Ион Горе — моряк Жевакин, глуповато-доверчивый и непутевый искатель «счастья». Если к этому добавить Кочкарева, в роли которого выступает талантливый Думитру Карачобану, то станет понятна акварельная прозрачность актерского ансамбля, определившая «долговечность» этого спектакля.

В «Луцафэруле» все равны между собой. Главный режиссер Ион Унгуряну — сверстник актеров, он из той же группы студийцев училища имени Б. Шкуина. Ему товарищи доверяли руководство коллективом: он чуть постарше, опытнее как актер. Свои художники, режиссеры (постановщиками спектаклей приглашают и педагогов щепкинского училища, людей, близких по театральным убеждениям), своя манера в искусстве — все это отличает спектакли лучафэрульцев. Их маленький театр на кишиневской узкой улочке всегда полон. Спектакли посещают и молодежь и взрослые, но, конечно, у «Луцафэрула» свой зритель, свои поклонники — это юные граждане, молодые люди. Они жарко спорят о своем театре, принимают самое горячее участие в его судьбе. А споры сопровождают каждый спектакль этого театра. Я приехал в Кишинев, когда в «сферах» искусства велись шумные дискуссии о последнем спектакле «Луцафэрула» — «Чертовой мельнице». В этом умном сатирическом спектакле, поставленном с большим вкусом, я увидел актеров, которые отлично фантазировали, умело пользовались иронией, опять же в традициях вахтанговской «Турандот», создавали умное, жизнерадостное искусство.

Хорошо, что в Кишиневе есть такой театр, немного задиристый, молодой и чрезвычайно перспективный.

ЛИКИ ВРЕМЕНИ

Молодые? Конечно. Но было бы опрометчиво думать, что лишь молодые коллективы и молодые режиссеры являют дерзания и поиск. У нас есть известные театры и опытные мастера, которые проповедуют в искусстве идеи, созвучные времени, работают с юношеской энергией и смелостью. Как много значат для нас имена Н. Акимова, Н. Охлоп-

кова, Р. Симонова! Стоит вспомнить, например, Большой драматический театр в Ленинграде и руководителя этого театра, художника огромного гражданского темперамента — Г. Товстоногова, каждая работа которого — воистину событие театральной жизни. Товстоногов — удивительно современный художник. В разных постановках — и классических пьес, как «Горе от ума», «Три сестры», и в таких спектаклях, как «Поднятая целина», «104 страницы про любовь», — он одинаково современен, одинаково неповторим, одинаково поэтичен. Этот волшебник театра умеет открыть новое в обычном, общепринятом. Его спектакли поражают цельностью философского замысла. Их рисунок строг и отчетливо выразителен. Поэтому так просты и неповторимы артисты товстоноговской школы — Юрский, Лавров, Копелян, Лебедев, Доронина...

Лет десять—двенадцать назад Товстоногов тоже был молодым. Уже тогда за ним ходила слава режиссера, умеющего мыслить масштабно и самостоятельно. Постановка «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского принесла Товстоногову не только звание лауреата Ленинской премии, но и титул мастера.

Может быть, с Товстоногова и начались новаторские деяния, которые мы теперь наблюдаем в театре. Если это и не совсем так, то бесспорно, что пример Товстоногова, его воля стоять на своем в искусстве оказали самое благотворное влияние на судьбу другого театра — «Современника». Вот уже десять лет прошло с той поры, как группа энтузиастов, объединившись вокруг О. Ефремова, начала новое театральное дело. Почти все эти годы «Современник» в Москве был единственным молодым театром. «Современники» стояли, защищаясь от ханжей и перестраховщиков, уверенно утверждая свои взгляды, свою художественную программу. Было что отстаивать. Они не произносили речей в свою защиту. Они работали. Много, упорно, неистово. Конечно, не все проходило гладко. Были «заносы», были ошибки и поражения. Но в процессе творчества вырабатывалась манера, угол зрения, подход к выбору пьесы, к ее сценической интерпретации.

Любая пьеса, будь то романтическая драма о Сирано, или аллегорическая комедия Шварца «Голый король», или народная трагедия «Без креста», разыгрывается в театре только как современная.

Из последних работ театра мне

бы особенно хотелось отметить постановку комедии В. Аксенова «Всегда в продаже». В ней есть принципиальная удача, открывшая целое явление в жизни. Я имею в виду образ Женечки Кисточкина (арт. М. Козаков) — ловкого, изворотливого молодого человека, преуспевающего на ниве журналистики.

Позволю одно сравнение. На сцене «Современника» поставлена драма Джона Осборна «Оглянись во гневе». В самом начале пятидесятых годов эта пьеса в Англии начала новое направление в современной английской драматургии. Герой Осборна Джимми Портер был ярким выразителем молодого поколения «раздраженных».

Хорошо, что почти десять лет спустя «Современник» все-таки поставил эту пьесу. При всех недостатках постановки (замедленный ритм, слабая игра некоторых исполнителей) она и теперь знакомит нас с определенным социальным типом, сложившимся в жизни Запада. Герой Джона Осборна — нигилист, проклинающий английское общество «сытых».

Женечка Кисточкин — совершенно иной характер. Он ничего не отрицает. Казалось бы, не отрицает. Он стремится устроиться среди приличных и хороших людей, подчинить их себе, извлечь пользу и выгоду из доброты, честности, из людских колебаний и несчастий. Он приспосабливается к нашему образу жизни. Он активен и даже неистов, этот плут Женя Кисточкин. У него особая, так сказать, философия. По своей цинической сути она враждебна основам советского общества.

Здесь обычная комедия, изобличающая Кисточкина, оборачивается в трагикомедию.

Надо сказать, что в «Современнике» научились играть и ставить спектакли в манере, когда зритель не разжевывают прописных истин, не оглушают его звоном пустопорожних фраз. Режиссура стремится найти ходы к философской основе драматического материала, определить свое отношение к изображаемому через мысль-метафору, через неожиданные сцепления различных аспектов спектакля. Поэтому О. Ефремов решает комедию А. Володина «Назначение» как притчу, давая зрителью возможность самому понять абсурдность и нелепость комического положения Лямина — героя, который, став директором, изо всех сил, «административно» хочет научить своих сотрудников добру. Философский, смысловой

стерженек пьесы «запрятав» в глубине, на доньшке комедийного действия.

Самая последняя работа театра, «Обыкновенная история» И. А. Гончарова (пьеса по роману написана В. Розовым), — новая грань мастерства режиссуры (Г. Волчек), таких актеров, как О. Табаков, М. Козаков, А. Толмачева.

Умный, молодой «Современник» пережил пору своей «студийности». Теперь он живет и работает в «системе» других театров. Как сложится его судьба? Много дерзких планов, замыслов у театра. И наши надежды с ним — с «Современником».

Но вот еще один театральный коллектив, младший современник «Современника», пробудивший волну любви, споров, исканий, — театр на Таганке.

В Московском театре на Таганке установилось свое отношение к пьесе. Вообще-то пьесы, по сути дела, нет в таких спектаклях, как «Герой нашего времени», «Анти-миры», «Десять дней, которые потрясли мир», «Павшие и живые». Театр приспособливает материал романа или стихов к тому, что он хочет показать. Пьеса-сценарий есть, но она существует как бы в единственном экземпляре, в том, как ее поняли и поставили в этом и только в этом театре. Ни в каком другом театре «любимовская» пьеса-экспозиция пойти, мне думается, не может.

Значит, театр на Таганке стремится утвердить свое понимание театральной литературы. Что это, хорошо? Да, спектаклями «Десять дней», «Павшие и живые» театр убедил нас, что его отношение к литературному материалу целесообразно. Театр на Таганке — сам себе драматург.

Есть, однако, драматург, который занял исключительное место в судьбе именно этого театра, — Бертольд Брехт. Начавшись с Брехта, с его «Доброго человека из Сезуана», театр ныне обратился к «Жизни Галилея».

Сложнейшая трагедия немецкого писателя-антифашиста решена синтетическими приемами современного театра. Теперь уже можно с полным правом говорить о театре синтеза, о таком силе выразительных средств, в котором поэзия, пантомима, эпос и лирика, щедрая палитра световых красок, фантазия и пластика актеров подчиняются мысли, глубочайшей философии. Театр мыслит крупно, ассоциативно, он заставляет нас пережить сполна всю трагедию ученого, сломленного инквизицией римской церкви.

«Жизнь Галилея» — спектакль значительный во многих отношениях. Он, во-первых, показал новый взлет театра, открыл его новые силы и, конечно, творческие силы режиссера-постановщика и создателя этого театра Ю. Любимова.

Во-вторых, этот спектакль, если можно так сказать, актерский, в нем радуется строгий ансамбль, радуется артист В. Высоцкий, открывший новыми гранями дарования в Галилее. В театре на Таганке родился актер удивительный по умению пластически, мужественно сыграть такую роль, которая подвластна только большим художникам Мудрый, мятежный, смятый подонками-монахами, ироничный, жизнелюбивый («из мяса весь»), доказавший, что Земля-то вертится, веривший в эту идею века и в своем «заточении», в те мгновения, когда он отрекся от этой истины, великий поэт и гражданин и в то же время печальнейший комик трагикомедии...

Спектакль творят умные актеры, которые, кажется, все могут: играть воображаемые предметы, танцевать в дикой пляске «баллаганного» театра, создавать до предела реалистические образы. Синтез пестрых форм современного театра становится методом сценического искусства. Дети-пионеры в красных галстуках после смерти Галилея выбегают с игрушечными «шариками», и они все верят. Лучше не придумаешь символа, означавшего торжество Галилея. Дети скандируют или поют песенки о вечной славе Человека, а «хор» дождов-монахов бубнит зонги о черных силах зла. Все на контрастах, на стыках мысли. И это — зрелище.

Таковы возможности, раскрывшиеся в работе, в упорной работе молодых на Таганке.

Теперь обратимся к еще одному детищу театральной молодости в Москве.

Все мы считаем теперь театр имени Ленинского комсомола обновленным и новым театром. С приходом в него главным режиссером А. Эфроса, с первого спектакля, поставленного им, с драмы В. Розова «В день свадьбы», стало ясно, что театр решительно преобразуется, что в его искусстве все устойчивее и полнее проявляет себя мужественная правда. Такие постановки, как «Мой бедный Марат» А. Арбузова, «104 страницы про любовь» и «Снимается кино» Э. Радзинского, «Каждому свое» С. Алешина, выявили направление поисков театра. Их все ставил А. Эфрос. Во всех так или иначе

проявился режиссерский стиль этого талантливого художника.

Психологический, интеллектуальный анализ характеров, событий, стремление обнаружить за сложностью, а порою и парадоксальностью простоту и поэзию души молодого современника — вот что, пожалуй, отличает режиссерский почерк А. Эфроса. Полутона, вторые планы, пластические, чуть затаенные переходы от одного состояния к другому. Это реализм, окрашенный душевностью, лирикой, и в то же время реализм гражданских идей, острого осмысления современности.

Искусство А. Эфроса солнечное, молодое. Режиссер знает психологию и мир современной молодежи. Молодых на сцене театра Ленинского комсомола играют молодые. В спектакле «В день свадьбы» блистательно засверкало мастерство А. Дмитриевой — тонкой актрисы психологического плана. Тихая, любящая девушка из рабочего поселка пережила огромную драму, придя к трагическому решению — сказать Михаилу за свадебным столом: «Миша, иди... Я тебя отпускаю». В этих словах — такая боль, такая мука и такое понимание свободы, что зал, потрясенный искусством актрисы, поняв ее, разражается громом аплодисментов.

Можно назвать имена молодых актеров, которые раскрыли свое дарование в спектаклях, поставленных А. Эфросом. Режиссер открыл юный и лирический талант О. Яковлевой. Произошло это на спектакле «104 страницы про любовь». Сдержанность чувства, тонкое девичье обаяние, живой ум девушки из Аэрофлота, стюардессы, ее психологическая полемика с Евдокимовым — все это обещало большую судьбу актрисы.

Прекрасно сыграл сложную роль режиссера кино Нечаева А. Ширвиндт. В спектакле «Снимается кино» это центральная роль, отлично написанная драматургом. И в ней умный, сосредоточенно думающий, постоянно выбирающий пути к истине, к правде Ширвиндт находит бесконечные мотивы «за» и «против» в сомнениях своего героя, которого он выводит к единственно верному пути — к бескомпромиссной жизни в искусстве.

В этом лирическом и по-граждански мужественном спектакле каждая, даже небольшая роль напоена беспокойной мыслью, которую несут и мастер сцены С. Гнацишвили и молодые актеры В. Ганшин, В. Лакирев, А. Каневский. Если к этому добавить, что в спектаклях театра Ленинского комсомола

«нашли себя» А. Дуров, А. Круглый, М. Лифанова — актеры, уже накопившие немалый опыт, но еще по привычке считающиеся молодыми, что в полную силу начинают работать двадцатилетние — А. Збруев, Г. Сайфулин, то станет понятен смысл преобразований А. Эфроса. Он взял решительный курс на молодых. И они принесли в спектакли юный задор, темперамент молодого сердца, дерзость своего ума.

«Современник», театр на Таганке, театр имени Ленинского комсомола — это как бы три совершенно разных направления в молодом театральном искусстве. К ним примыкает и драматический театр имени К. С. Станиславского в Москве, возглавляемый молодым режиссером Б. Львовым-Анохиным. Это умный и ищущий театр, где также берется курс на театральную молодежь, на репертуар, отвечающий запросам молодых современников. «Материнское поле» (по повести Ч. Айтматова), сатирическая комедия Л. Зорина «Энциклопедисты», документальная хроника о революции «Шестое июля» М. Шатрова — спектакли, поставленные главным режиссером, стали этапами в новом осмыслении драматургии, в поисках своей темы в искусстве. Последняя работа театра — трагедия современного французского драматурга Ж. Ануя «Антигона», впервые идущая на большой советской сцене. И то, что это сложнейшее произведение, разоблачающее фашизм и его последствия, насыщенное трагическим пафосом, оказалось под силу режиссеру и талантливым актерам, говорит о многом. И снова в труднейшей роли блеснула молодая актриса Л. Никишихина; ее «маленькая» Антигона — удивительно смелая и героическая женщина, отстаивающая свободу мысли и человеческое достоинство перед всемогущим и коварным Креоном.

Конечно, эти театры не могут характеризовать все разнообразие молодого искусства в Москве и тем более за пределами столицы. Есть, повторяю, еще театры, спектакли в других городах и республиках, в которых бьется дерзание молодых. Но мне кажется, что в этих коллективах определились некоторые общие, наиболее характерные искания уже сложившихся молодых коллективов.

ИГРАЙ, ТЕАТР!

В той общей тенденции, которая наметилась в нашем театральном искусстве, я нахожу новые черты инициативы, серьезные «заявки» на самостоятельность со стороны еще не признанных, энергичных и талантливых молодых людей. Если к профессиональным театрам почти вплотную подходят совершенно юные коллективы, значит, создается та непрерывность движения, которая так необходима для нашего театрального искусства. Вновь возникающим труппам «от бога» даны талант и вера в свою звезду. И больше пока у них ничего нет. Ни помещения для постоянных репетиций, ни своего зрительного зала. Всего этого надо еще добиваться. Но как хорошо, что им трудно! Есть на что затратить горение души, есть что преодолевать. А когда будет «легко», не потухнет ли огонь этот, не обрстет ли жирком «благополучия» надежда на будущее?

Я возвращаюсь к тому, с чего начал статью. Новые, неожиданно талантливые, истинно молодые театры...

Недавно в Москве начала выступать со своим спектаклем «Театр Федерико Гарсиа Лорки» маленькая труппа актеров, окончивших студию при театре имени Моссовета. Они было разошлись по разным московским коллективам, однако их снова объединила любовь к театру, который они хотят создать. Во главе этих отличных ребят стоит их сверстник, ученик Ю. Завадского — Борис Щедрин.

Юные студии разыгрывают водевили, которые своими корнями уходят к народному балагану, к «площадному» искусству. Легкое и изящное зрелище они сумели насытить современной мыслью, приемами, позволяющими им вносить в кукольный фарс «Балаганчик донна Кристобая» и в жестокий фарс «Чудесная башмачница» трагические мотивы, неожиданно окрашивающие забавные пьесы в серьезные тона. Лорка — трагический голос современности, лира революционной Испании — осмысливается ими не только в водевиле, но и в «Прологе», где читаются стихи великого поэта XX века. И эта особая философичность наполняет представление не только

заразительным весельем, но и грустью, болью. Фарсовые шутки оборачиваются трагедией потерянного счастья, непонятной любви.

Свободно и легко играют студии. Отлично чувствуют себя и в сносшибательном трюке, и в популярных песенках, и в клоунских шутках. Кажется, им все подвластно в этом увлекательном театре: буффонада, ирония, пародия и серьезные переживания...

Мне рассказали, как в одной из московских школ несколько лет назад ребята-старшеклассники организовали театр. Окончив школу, они поступили в институты, но театра своего не оставили, собирались, репетировали, показывали спектакли. В прошлом году в есенинские дни они сыграли драму С. Есенина «Пугачев». И снова разбрелись...

В самодеятельности выросли театральные коллективы, которые уже переросли рамки любительского искусства, стали профессиональными. Что же им делать?

К таким коллективам относится эстрадная студия МГУ «Наш дом», которая существует с 1959 года. 250 спектаклей показали студии. Их спектакли «обкатываются» администрацией, билеты лихо распродаются в кассе, а театр не имеет нормальных условий для репетиций, существует в качестве пасынка у дирекции клуба МГУ.

Разыгрывая пьесу-гротеск М. Розовского «Целый вечер как проклятые», студенческий театр дает бой мешанству, издевается над механическими фигурами «разных и одинаковых, единых и разъединенных, тупых и острых» обывателей. Последняя работа театра — «Вечер русской сатиры» — нуждается в самостоятельном разборе. Гражданская серьезность в выборе незаигранных текстов, ритмичность и особая непринужденность — таков этот вечер сатиры...

Мне хотелось рассказать об огромном фронте молодого театрального искусства, о чертах нового, которые выявляются, крепнут в повседневной практике театра. Эти черты радуют и вселяют надежды. Не только днем нынешним живет театр, но и своим будущим. А будущее нашего искусства зависит от тех, кто дерзает в искусстве сегодня. От их открытий.

ИИ

СРЕДИ КНИГ

Среди знаменательных дат этого года отмечается и 150-летие со дня рождения в 1816 году Эжена Потье — поэта-коммунара, создавшего бессмертные стихи «Интернационала» — гимна коммунистов и пролетариев всех стран.

Стихи Потье положил на музыку французский рабочий-коммунист Пьер Дежейтер. Их блистательно перевели Аркадий Коц и Аноп Анопан, Янис Райнис и Ханс Пеегельман, Петрас Куркулис и Акакий Церетели, Иродион Эвдовили и Сино Пашалишвили, Микола Вороной и Янка Купала, Абулкасим Лахути и Сергей Чавайн, Тимофей Семенов и Максим Прокопьев... Уже более полувек «Интернационал» звучит не только по-русски, но и на украинском, белорусском, армянском, грузинском, латышском, эстонском, литовском, таджикском, марийском, чувашском, удмуртском, якутском и многих других языках народов нашей страны, на языках всего мира.



В биографическом очерке, посвященном памяти автора «Интернационала», Ленин назвал его «одним из самых великих пропагандистов посредством песни».

Романтические (и драматические!) страницы истории песенной пропаганды коммунизма воссоздает в книге «Музыка — революции», вышедшей в издательстве «Музыка», искусствовед Симон Дрейден. Он рассказывает о судьбах авторов и переводчиков «песни песней» пролетарской революции, которой вот уже сколько десятилетий по праву признан «Интернационал». Он восстанавливает в правых историческую правду о большевистской пропаганде этого и других гимнов рабоче-

го класса. «В нурганах книг», нередко забытых, а то и совсем неведомых даже специалистам, на столбцах подпольных и зарубежных газет, в фондах десятков архивов исследователь находит множество фактов, показывающих, как русская революция несла в массы, хранила и развивала высокую музыкальную культуру.

Книга С. Д. Дрейдена — это книга о служении искусства революции и содействии революции искусству. И служению этому посвящали свои дарования не только профессиональные революционеры типа Луначарского или Кржижановского, Гусева или Кедрова, Буренина или Подвойского, но и подчас даже такие далекие от непосредственной революционной борьбы артисты, как Федор Шалапин или Леонид Собинов, Борис Сибир или Михаил Гнесин...

В идейном арсенале революции хранится «старое, но грозное оружие» мощной песни, штурмующей небо.

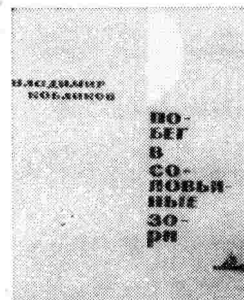
Я. БОРИСОВ

В предисловии к новой книге Владимира Кобликова «Побег в соловьиные зори» (Приокское книжное издательство) Константин Паустовский пишет: «Кобликов — пылкий и кеторопливый писатель, преданный своему писательскому делу, своему призванию. Он никому не подражает и пьет, выражаясь иносказательно, из своего собственного стакана». Его тема — юность. Юность страны. Юность родного Калужского края. Юность, с ее жаждой познания и открытия нового, с ее неизменными «побегами в соловьиные зори», будь то возникающая в Заполярье или в Саянской тайге стройка, будь то неожиданное и на первый взгляд непонятное стремление уехать на лодках (только на лодках!) в девственную глубину Смоленских лесов.

Владимир Кобликов не рассказывает, с какой целью его герои отправляются в путешествие. Правда, у них есть снасти. Но они не рыбачат (разве только от случая к случаю). У них есть мольберты и краски. Но они почти не рисуют. Все эти вещи взяты в дорогу скорее по привычке, чем по необходимости.

Так зачем же юноши и девушки отправляются в путешествие? Спроси их — они сами не ответят. Зато сразу же, с первых же ночевков на берегу лесной реки, чужая жизнь не-

известных прежде людей настолько сливается с жизнью юных путешественников, что иначе все это и не представляешь... И оказывается, что «побег в соловьиные зори» был, в



сущности, побегом к тому, что дает близость с родной природой, народом, его историей — прошлым и настоящим, неразделимость которых открылась герою книги в неведомых до сих пор деревушках, на крутых берегах Угры, в нетронутой глубине калужско-смоленских лесов...

М. ВОРОНЕЦКИЙ

В лучшей своей поэме, «Анастасия Фомина», Владимир Морозов поведал о женщине, которая, отказывая себе во всем, в трудные и голодные годы войны взяла из детдома больного мальчика, выжила и вырастила его. Так поступали в те годы многие. Страна спасала своих детей. И как нам горько, что мальчик, нашедший своего отца и приехавший в город Анастасии Фоминой через десять лет после этого, уже взрослым, не застает спасительницу свою в живых... Женщина, отстоявшая ему жизнь, умерла от туберкулеза. «...Анастасия Фомина, прости меня. Я опоздал. Надвинув шапку по бровей, надвинув брови на глаза, скатился с лестницы твоей, как по щеке моей слеза...»

В. Морозов служил в Советской Армии на Севере. Он был хорошим солдатом. В преддверии полярной ночи он писал: «...мы зимней смазкой смажем карабины с придирчивой строгостью врачей». Он



оберегал землю, на которой
был рожден и которую любил.

Я знаю, что не слов красивых
ждешь ты, моя трудолюбивая страна.
Ведь ты слабей не станешь,
оттого что не стану я твердить, как ты
сильна. Шинель сниму, мне мать
пиджак примерит. Я выйду ночью слушать
соловья... В любви клянутся те, кому
не верят. А ты ведь веришь мне, земля
моя!

Володи Морозова не стало
семь лет назад. Это нелепо и
несправедливо! Но в Москве,
Петрозаводске и в других го-
родах остались друзья (их не-
мало!), остались читатели, их
число будет все расти и расти.

Недавно Карельское книж-
ное издательство выпустило
итоговую книгу поэта (соста-
витель — А. Титов).

Был бы сейчас Володя, ве-
роятно, он, всегда очень тре-
бовательный к себе и своему
творчеству, какие-нибудь стро-
ки сократил, какие-нибудь
строки переделал. Однако это
тот случай, когда что сказа-
но — то сказано, и уже не пе-
ресказать, не переиначить...

Н. ЗЛОТНИКОВ

Всадник, мчащийся на ко-
не, — это лейтмотив вышед-
шего в Тбилиси романа
Григола Абашидзе «Лаша-
рела» — первой книги из задуманного писателем большого цикла. Книга охватывает пер-
вую треть XIII века — время
царствования Георгия Лаша,
сына царицы Тамар. Это, по-
жалуй, было самое сложное и
самое смутное время из всей
истории средневековой Грузии.
И не случаен образ всадника,
не случаен и многозначен. Он,
всадник, один из тех, кто орга-
низирует заговоры против сла-
бохарактерного государя, из
тех, кто вершит дворцовыми
кознями и изменами, он и друг
и враг, он и из высшей знати

и из низов (как, например, ос-
корбленный Лашой верный его
слуга, а затем народный мсти-
тель Духуми), он и посланник
Киевской Руси и лазутчик Чин-
гисхана. Но не только поли-
тические и ратные дела грузинского царства воплотил в себе этот образ: всадник — это и воспоминания о правлении Давида Строителя и Тамар, при которых Грузия достигла многого; это и символ любви, которая так красива и романтична на страницах «Лашарелы». Восточный колорит, пропагандирующий все повествование, временами звучит даже музыкально — ведь песня, легенда, народная поэзия, мудрость Шота Руставели и его одаренных последователей органически вошли во все события, характеры и коллизии «Лашарелы». Галерея персонажей хроники многолика...

Роман завершается: первый отпор грузинского войска, данный полчищам Чингисхана. Лаша стоит на холме, и перед ним, сменяя друг друга, мелькают всадники, а в душе — ра-



дужные и грустные раздумья двадцатидевятилетнего царя о будущем грузинского государства. И они, эти думы, не остаются равнодушными тех, кто сегодня, спустя почти восемь веков, узнает о них, потому что Григол Абашидзе — автор романа — говорит обо всем страстно, взволнованно, и его искреннее волнение захватывает всех, кто знакомится с «Лашарелой», потому что каждому дорога история нашей многонациональной Родины.

Наталья ЛАГИНА

Книга очерков К. Скопиной «Всем людям родня» (изд. «Молодая гвардия», М., 1966 г.) рассказывает о тех, для кого работа — «кусочек собственного сердца», чье счастье в том, что «живешь там, где необходимо».

Герои ее очерков — Светлана Рунова, Федор Селянин, Геннадий Неустроев, Илья Воеводин — не вымышлены.

Это реальные люди, из «золотого комсомольского фонда», которые и в книге действуют под своими именами.

«Как сделать так, чтобы людям захотелось идти в горком? Идти с горем, с радостью, с поиском, с сомнением, с открытием?» — думает молодой секретарь комитета комсомола города Игарки Светлана Рунова, девочка из Посыета, вчерашний сотрудник Научно-исследовательской мерзлотной станции. — Как сделать так, чтобы у людей были все время «очень нужные, разные любимые дела»? Как? И она поднимает молодежь города на борьбу за каждого человека, за его будущее. «Не дадим жить по-старому! Не дадим спать, жиреть, пить, опускаться!» — становится девизом комсомольцев, смыслом их и ее, Светланы Руновой, жизни.

В борьбе за человека находит свое призвание и вожак нижнетуринских комсомольцев Федор Селянин. «Сейчас мне кажется, — пишет он, — что, став научным работником, я бы не познал той радости, какую дала мне комсомольская буча. Иной раз мне даже кажется смешным мой прежний взгляд на счастье». А ведь и он и Светлана Рунова — главные герои книги — мечтали совсем о другой деятельности. Комсомольскими работниками они



стали случайно — товарищи выбрали. Но, отдавшись целиком этой работе, они познали всю радость «комсомольской бучи», корчагинского счастья — бороться и искать, найти и не сдаваться.

О таких людях и рассказывает книга очерков К. Скопиной.

А. КУРИЛОВ

● Н. Жуков

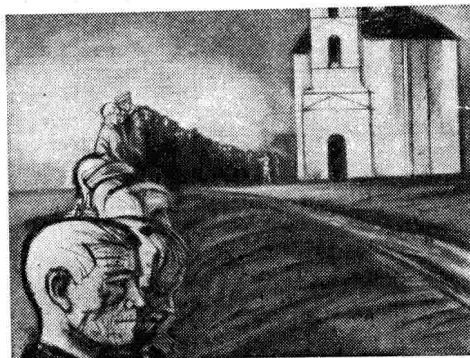
ПРАЗДНИК ИСКУССТВА КНИГИ

Более года, как вновь распахнут реконструированный выставочный зал художников МОСХа на Кузнецком мосту. Честь открытия зала была предоставлена старейшему русскому скульптору С. Коненкову. После выставки его работ демонстрировались произведения солнечной кисти Мартироса Сарьяна, затем была очень разнообразная и красивая Всесоюзная выставка акварели, вслед за ней зрители любовались живописью певца русской природы С. Герасимова... И вот, казалось бы, после такого пышного и многоцветного букета большого искусства выставка книжной графики в тех же залах может показаться скучной, сухой, однообразной, не способной наполнить светлое и просторное помещение энергией большого искусства, тем более, что скромность форматов и инструментов, создающих графику, тянет ее к камерности, к настольному положению: на стенах такого помещения она может раствориться. Но все опасения оказались несостоятельны. Выставка книжной графики явилась событием и праздником для всего нашего графического искусства. Она продемонстрировала огромное разнообразие творческих почерков, массовое рождение молодых талантов, глубину поиска и очень высокую графическую культуру художников разных возрастов. Осмотрев выставку, зритель ощутил силу творческого подъема ее авторов.

Вместе с художниками старшего поколения, уже десятки лет занимающими переднюю линию достижений современного советского искусства книги, художниками, с честью защищающими авторитет его на зарубежных выставках, вместе с ними высту-

пают десятки дебютантов, удививших зрителей зрелостью мысли, умением прочесть книгу, найти и понять именно свою роль в ней. Знакомясь с составом авторов, видишь, что подавляющее большинство вышло из Московского полиграфического института. Как известно, художественное обучение в этом институте более двух десятилетий ведет А. Д. Гончаров — ученик и воспитанник В. А. Фаворского.

В истории искусства известно много примеров высокого поклонения учеников своему учителю. Но я не ошибусь, если скажу, что Гончаров всей своей жизнью, творчеством и педагогической деятельностью показывает в нашем современном искусстве пример благородной преемственности традиций, пример верности духовным идеалам Фаворского. Гончаров сумел унаследовать от Фаворского святое служение искусству книги; и в личном творчестве и в педагогической деятельности он передает мудрость понятых им законов искусства учащейся молодежи. Это весьма доказательно видим мы на последней выставке книжной графики в работах учеников А. Д. Гончарова.



Часто бывает, что учитель для ученика становится по величине своего опыта диктатором почерка, манеры мышления, он подавляет. Каждый урок превращается в гипноз по передаче его индивидуальности другим. Такие свойства, мне думается, весьма отрицательны для учителя.

Талант и достоинство педагога в том, чтобы вселить в ученика веру, любовь и энергию, преданность труду, искусству, жизни, сознание необходимости овладевать всем наследием накопленной культуры, не уставать от трудностей и находить себя. А. Д. Гончаров обладает этим даром подлинного учителя. На выставке мы видим художников сложившейся творческой индивидуальности, совершенно разных по творческим концепциям, как, например, Бишти и Збарский, Красный и Белюкин. Они очень различны по способам приложения своего опыта и способностей, но их всех объединяет высокая графическая культура, вкус и знание природы книги, состоящей из множества весьма капризных элементов, находящихся за пределами рабочего стола художника. Но знание всего этого так же необходимо художнику, как необходимо архитектору — при проектировании дома — знание строительных материалов.

Достоинство этой выставки — в ее современности и новаторстве ре-

Вверху: В. ФАВОРСКИЙ. Иллюстрация к «Новой жизни» Данте.

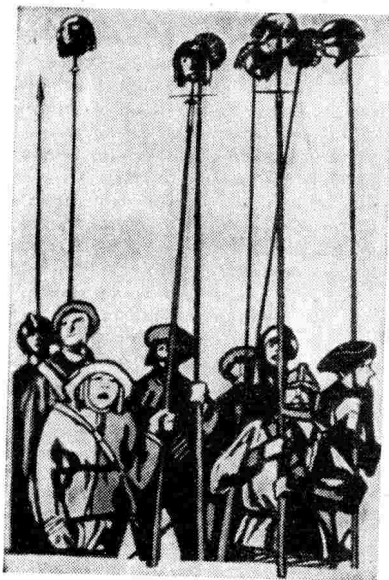
Внизу: В. ВАСОВ. Иллюстрация к рассказу М. Шолохова «Судьба человека».



Л. ЛАММ. Иллюстрация к книге «Здоровье женщины».

шений. На прошлых выставках книги было много подражательства. Часты были примеры работы «под Шмаринова», большинство иллюстраций делалось углем. На этой выставке видишь десятки различных техник, почерков, рожденных не подражательскими стремлениями, а существом смысла и характера книги.

Есть случаи, когда произведение писателя побуждает художника к рождению работ большого обобщения. Говоря это, я имею в виду в первую очередь два графических листа художника Басова:



А. ВАСИН. Иллюстрация к пьесе Бертольда Брехта «Матюшка Кураж».

рассказу Шолохова «Судьба человека» — строй наших пленных у церкви и головы женщин на фоне железнодорожных путей. Эти работы вырастают в самостоятельные произведения огромного эмоционального воздействия, поистине шолоховского масштаба.

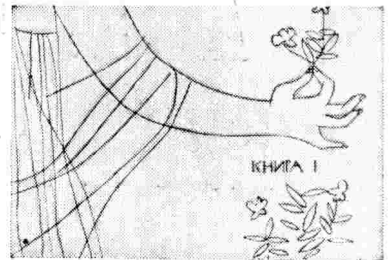
В работе над книгой есть благодарный и неблагодарный материал. Казалось бы, художественная литература дает большие возможности художнику, она заманчивей, нежели литература из области техники или науки. На выставке есть примеры, опровергающие эту истину: оформление книги «Кибернетика и жизнь» художника Н. Лутохина или «Здоровье женщины» художника Л. Ламм. Авторы умело нашли изобразительные средства, совмещающие будничное с необъятным. Они не выбирают в этих случаях легких решений, а находят интересные изобразительные средства, образно раскрывающие характер книги.



Н. ЛУТОХИН. Иллюстрация к книге «Кибернетика и жизнь».

За последний период сильно выросло влечение художников к гравиюре. Применение ее в книге эффективно влияет и на внешнюю сторону книги и на факсимильность воспроизведения и качество печати. В этой технике служат примером В. Фаворский, А. Гончаров, А. Хижинский, А. Кравченко, Е. Бургункер, Н. Калита и другие. Появилось много новых решений. Использование цвета в оформлении книги и иллюстрациях встречается на выставке у многих авторов, с блеском демонстрирующих высокий вкус, декоративность ре-

шения и изобретательность приемов. Именно это ощущаешь в первую очередь в работах Мавриной «Чудо города», Фаворского в «Сказке о царе Салтане», Галанина в «Храбром портяжке», Кокорина (в иллюстрациях к рассказам А. Толстого), у Мулляр — в «Чудотворной» и др.



Ф. ЗБАРСКИЙ. Иллюстрация к книге Овидия «Любовные элегии».

Изысканность линии не надуманная, а оправданная — в работах художника Б. Алимова «Мой сад», Ф. Збарского к произведениям Овидия, Ю. Красного — в иллюстрациях к новеллам Сервантеса.

В этой маленькой статье я не могу перечислить все, что мне понравилось, а понравилось мне многое, поэтому я прошу прощения у тех авторов, фамилии которых я не упомяну из-за краткости моего обзора. Последнее, что я хотел бы сказать: возросла культура внешнего оформления книги — обложка, супер и пр. В этом жанре образцы вдохновения и вкуса видишь в работах Е. Ганушкина «Оружейная палата», С. Телингатера «Нравы Растеряевой улицы», Ю. Ракутина «Военный груз», С. Сергеева «Трудная книга» и «Герои подполья», А. Билль «Сказки об Италии», В. Носкова «Еврипид. Трагедии», Д. Бисти — супер-обложка «Барон на дереве», Ю. Копылова «Африканское искусство», Г. Дмитриева «В. Э. Мейерхольд. Статьи, письма, речи». Чувствуется настоящее призвание и любовь к одежде книги, культура шрифта, умение малым в малом сказать выразительно и красиво о большом.

Широкое участие таких опытных художников со своим стилевым решением книжной иллюстрации, как Васин, Ливанов, Филипповский, Маркевич, Алфеевский, Лемкуль, Каневский, Митурич, Минаев, дает представление о богатом разнообразии действительно творческих характеров, украшающих искусство советской книжной графики.

ЧЕЛОВЕК:

В ЧЕРА,

СЕГОДНЯ,

ЗАВТРА

Рисунки В. Зуйкова.

ОТКУДА Взялась БАБУШКА?

Хотите посмотреть на «аристократа»? На человека, в жилах которого течет кровь Ромула и Геракла, Владимира Красное Солнышко и фараона Псамметиха?

Что же, взгляните в зеркало! И даже если я что-нибудь напутал в вашей родословной и Ромул или Владимир там отсутствуют, в ней найдется достаточно царей и героев, чтобы оправдать любые титулы, которые мне захочется вам приписать. Посудите сами! Уже дедушек и бабушек у вас четверо, прадедушек и прабабушек — восемь, и с каждым поколением число предков удваивается. Помните древнюю легенду о человеке, который изобрел шахматы? Он попросил дать ему за первую клетку доски одно зерно, за вторую — два, за третью — четыре и так далее. И выяснилось: чтобы расчитаться с ним, не хватит зерна на всей планете.

Но у шахматной доски только шестьдесят четыре клетки. А шестьдесят четвертое колено наших пращуров жило всего-навсего полторы тысячи лет назад. Двадцать же поколений — пятьсот лет тому назад — каждый из нас мог иметь 2^{20} , то есть миллион предков. А тысячу лет назад — 2^{40} — триллион. Но на земле десять веков назад обитало самое большее только несколько сот миллионов людей!

Парадокс, не правда ли? Но ему есть объяснение: ваш, скажем, семнадцатый раз прадедушка с отцовской стороны был, к примеру, одновременно шестнадцатый раз прадедушкой с материнской. И тем более вероятно, что все мы в конечном счете родственники друг другу в какой бы то ни было степени.

Конечно, женятся чаще всего люди из одной местности, принадлежащие к одному народу. Но ведь так бывает далеко не всегда. К тому же народы движутся, выходцы из Монголии создают государства в Европе, уроженцы Северной Европы — в Африке, арабы доходят до Тянь-Шаня, а эфиопы покоряют Южную Аравию...

Три великие расы человечества — черная, белая и желтая (или, выражаясь точнее, негроидная, европеоидная и монголоидная) — снова и снова обмениваются кровью. Любой, кто сколько-нибудь знает историю, припомнит еще дюжину примеров. Древнее родство людей снова и снова закрепляется на всех континентах.

Что же касается бабушки, в честь которой названа эта глава... Мальчик Ося, герой Льва Кассиля, так отвечал на вопрос папы о том, откуда взялась его бабушка: «Сама понемножку получилась из обезьянки».

Всем в себе — от формы тела до интеллекта — человек обязан эволюции. А эволюция — процесс, когда возникающие в организме наследственные изменения должны утвердиться или выбраковываться жизнью. Если какое-то новое качество вредно, живое существо гибнет, не оставляя потомства. В природе этот процесс получил от Дарвина наименование естественного отбора.

Человечество научилось использовать способности своих больных и искалеченных сочленов. И победило естественный отбор. Он перестал действовать в человеческом обществе. А без естественного отбора эволюция в ее биологическом понимании неминуема.

Не стоит заново идти по длиннейшему списку предполагаемых предков человека, чтобы выяснить, от какой именно обезьянки взялась бабушка. Сейчас для нас гораздо важнее знать, как именно, какой ценой далось нашим предкам это превращение.

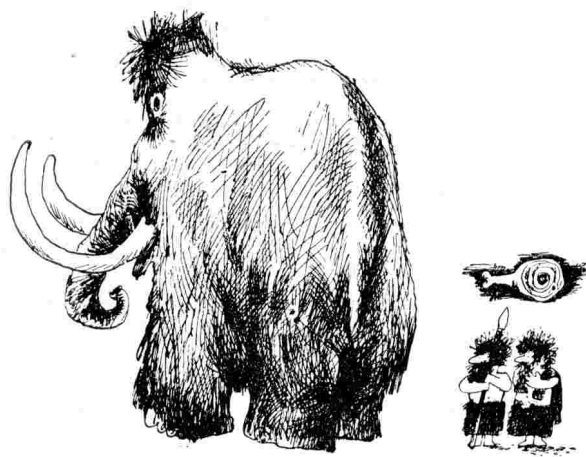
Цена была немалая. Платили жизнями.

Долгой и кровавой была дорога от древней обезьяны к человеку. В начале ее — один из сильнейших зверей на земле. Да, сильнейших. Зря мы представляем себе порой наших далеких предков жалкими, запуганными существами, со всех сторон окруженными «превосходящими силами» врагов. Вспомните, что наши ближайшие родственники — гориллы, шимпанзе, орангутанги — властные хозяева лесов, перед которыми отступают слоны и львы. Можно еще добавить, что наши далекие предки не были тихими, добродушными и миролюбивыми

существами. Некоторые из найденных антропологами остатков костей наших ближайших обезьяноподобных предков сохранили следы прижизненных повреждений, которые, как полагают ученые, нанесены их сородичами. Словом, мы — потомки одного из самых «драчливых» существ на земле!

Поднимаясь по эволюционной лестнице, человек расправился с саблезубыми тиграми, с пещерными медведями и пещерными львами, с мамонтами, наконец. Самых сильных среди своих соседей-зверей он истребил еще в ту пору, когда каменный топор казался последним словом техники.

Но — не будем забывать — человек заплатил за это. Среди зайцев поколение за поколением остаются жить только самые быстроногие. Среди медведей — самые сильные. А среди наших пращуров?



И быстрота ног и сила имели значение... Но, главное, доживали до зрелости и оставляли взамен себя детей самые умные.

Гибли, конечно, отнюдь не только самые слабые, но слабые в первую очередь. Не только самые неуклюжие в обращении с орудиями, но они в первую очередь. Не только самые тупые и свирепые, но эти в первую очередь. С каждым новым поколением человечество чуть-чуть умнело, становилось чуть-чуть сдержаннее, терпеливее и... добродушнее. Добродушнее? Да! Ведь от предчеловека и человека требовалось умение ужиться в стаде, а потом в роде и племени. Неуживчивые гибли или изгонялись и не оставляли потомства.

Гибли, гибли, гибли... Вот цифры, которые могут дать хотя бы некоторое представление о масштабах естественного отбора. Антропологи установили их благодаря раскопкам.

На рубеже каменного и бронзового веков (грубо говоря, 3—5 тысяч лет назад) примерно четверть людей умирала, не достигнув и 21 года. Только треть достигала возраста в 41 год. У кроманьонцев, то есть 20—40 тысяч лет назад, до 21 года умирала треть людей, только восьмая часть доживала до 41 года. Рубежа в 50 лет достигал один человек из каждой сотни. У неандертальцев до 41 года доживал лишь каждый двадцатый, а больше половины оказывалось не в состоянии преодолеть границы 21 года.

И все это относится уже к тем, кого нельзя назвать даже человекообезьянами. А как свирепствовал естественный отбор раньше и еще раньше! Установлено, что обычно для преобразования одного ви-

да через множество ступеней в другой, столь отличный от своего предшественника, требуются многие миллионы лет. Чем интенсивнее естественный отбор, тем быстрее эволюция. Неслыханные темпы эволюции человека свидетельствуют, что и жертв на этом пути было необычайно много.

СПОЛНА ЛИ!

В XIX веке появились ученые, испугавшиеся за человечество, над которым больше не властен естественный отбор. Они рассуждали так. В цивилизованном обществе благодаря, в частности, медицине выживают люди, обреченные в первобытных условиях на быструю смерть. Скажем, с искривленным позвоночником, с плохими зубами, близорукими, с туберкулезом легких. Любой из этих бед сотню тысяч лет назад было бы достаточно для быстрой гибели. А ныне люди с такими недостатками выживают, и не только выживают, но и оставляют потомство.

Плохие зубы и искривление позвоночника могут быть наследственными. Но если так, то с каждым поколением человечество должно не улучшаться, а ухудшаться.

Логика этого рассуждения омрачила последние часы Дарвина. Он боялся за человечество, лишенное естественного отбора. Страх перед якобы возможным вырождением человечества посещал и других ученых. Из лучших побуждений некоторые из них решили создать науку об «облагораживании» человечества — евгенику. Лозунг евгеники: нужно, чтобы детей оставляли только люди с очень хорошей наследственностью.

Но антропологи без почтения относятся к притязаниям евгеники. Она хочет сделать человечество единообразным, подогнать всех людей под один лучший с ее точки зрения образец. Нужно ли это?

Естественный отбор ведь отнюдь не привел человечество к такому единообразию. Не стандартность, а разнообразие людей соответствует тому величайшему разнообразию условий, в которых им приходится жить.

До крайности довели идеи евгеников враги человечества — фашисты. Природа не дает выживать слабым, говорили теоретики фашизма. То же должно делать общество. Они относили это «правило» и к целым народам и к «неполноценным немцам» и истребляли их.

Человеконенавистнический «эксперимент» продолжался двенадцать лет, пока его не прекратили советские солдаты. Но можно вспомнить другой исторический эксперимент, растянувшийся на столетия. Я имею в виду чудовищный обычай древней Спарты убивать новорожденных, кажущихся слабыми. Спарта была могучим военным государством. Но «отбор» не помог ей просуществовать в качестве самостоятельной державы ощутимо дольше, чем Афинам или, скажем, Фивам.

Что осталось человечеству от Спарты? Память о грозных полководцах и суровых законодателях. Но Афины, где любили всех детей, подарили человечеству многих поэтов и драматургов, скульпторов и философов, да и полководцев и великих государственных деятелей дали не меньше, чем суровая Спарта. Я не хочу сказать, что великие люди вырастают как раз из самых болезненных детей, но сама атмосфера жестокости как нормы не дает талантам возможности расти.

Столетия искусственного отбора самых здоровых отнюдь не сделало спартацев новой расой.

Таким образом, против искусственного отбора властно восстают не только чувства, но и факты, не только естественное отвращение к жестокости, но и история, медицина, антропология, генетика.

И ученые мира говорят сегодня о значении для будущего человечества не евгеники, а евтеники. Изменилась всего одна буква, а смысл стал совсем иным.

Евтеника ставит своей целью создание для отдельных людей и целых обществ таких условий, в которых передаваемые по наследству возможности человека будут лучше всего реализованы.

И здесь евтенике протягивает руку другая, несравненно более могущественная наука — марксистско-ленинская философия. Человечество отнюдь не вырождается. И рост людей за последние столетия стал больше, и объем грудной клетки увеличился, и спортивные рекорды растут от десятилетия к десятилетию.

Все это так. Но это еще не позволяет утверждать, что человечество как вид изменяется в лучшую сторону.

Наследственные задатки человечества вряд ли могли за эти немногие сотни и особенно десятки лет измениться хотя бы в малой степени. Еще раз напоминаем: естественный отбор сейчас практически не идет, особенно это верно для стран развитых. Я уж не говорю о том, что даже при интенсивном естественном отборе срок в сотню-другую лет кажется ничтожным.

Что же произошло?

По-видимому, люди стали лучше, больше и разностороннее питаться (конечно, угроза голода еще висит над огромными территориями планеты. Но



раньше голод царил над значительно большими земными пространствами). Сыграли свою роль и успехи медицины. Заметим, что все это как раз из той области, которой должна заниматься евтеника.

Вот любопытные примеры того, как влияют на человека условия жизни. У японцев, переселив-

шихся на Гавайские острова, дети, даже родившиеся еще в Японии, к совершеннолетию резко обогнали по росту родителей. Почти с каждым послевоенным годом среди выпускников московских школ становится меньше близоруких. На севере число близоруких, как правило, больше, чем на юге. Виновата, по-видимому, бедность пищи некоторыми микроэлементами и витаминами.

Но все это означает, что во власти человечества избавиться от близорукости! И если рост и физическое развитие людей в такой степени определяются условиями жизни, то теперь, когда человек становится властен над этими условиями, он становится властен и над своим внешним обликом.

Что же касается спортивных успехов наших современников в сравнении с достижениями предшественников (вплоть до отделенных от нас двадцатью с лишним веками чемпионов олимпиад древности), то, конечно, тут сказалось общее улучшение физического развития европейцев: ясно, что при прочих равных условиях более высокий человек выше и прыгнет. Но главное в другом. Изменились методы тренировок. Порою не могло не сказаться прямое техническое совершенствование спортивных снарядов. Скажем, фибергласовый шест дает прыгуну солидную добавку высоты по сравнению с бамбуковым.

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ!

Итак, человечество становится выше и сильнее благодаря лучшим условиям жизни, словом, изменяется. Пусть в частностях, не имеющих жизненного значения, но меняется. Даже если эти изменения не могут называться эволюционными, с ними приходится считаться.

Как же далеко могут зайти эти изменения? Что ждет нас впереди?

Есть ученые, которые ищут у человека части тела и органы, ставшие ненужными в последние миллионы лет. Потому что, с их точки зрения, в ходе дальнейшей эволюции все эти части и органы должны и вовсе исчезнуть. Взять, скажем, пальцы ног, особенно мизинец и безымянный. Ну на что они сейчас человеку? И — это известно по раскопкам — с каждой сотней тысяч лет, «отсчитанной» назад, эти пальцы становятся больше. Значит, много шансов, что с каждой сотней тысяч лет, отсчитанной в будущее, пальцы ног станут все уменьшаться, пока...

Все меньшая нагрузка падает на органы пищеварения. Функции всех звеньев той системы организма, что перерабатывает пищу — от зубов до кишечника, — в большой степени берут на себя скороводки и кастрюли. А когда человек, как предсказывают иные пророки, перейдет на питание таблетками, эти органы будут обречены если не на полную гибель, то на постепенное уменьшение до совершенно мизерных размеров. Физических усилий от человека потребуются все меньше, мышцы его утратят свое значение. Это должно отразиться на их состоянии.

Пророки такого «человека будущего», отличающегося от нас не меньше, чем мы от игуанодона, были в двадцатые — тридцатые годы очень уверены в себе. Эта уверенность заражала и писателей. Поддался ей в известной степени, например, советский фантаст Александр Беляев.



Вот как он представлял себе идеал женской красоты в скульптурном изображении Праксителя будущего: «Она будет иметь огромную голову без волос, маленький подбородок, рот без зубов, почти мужское телосложение, очень тонкие руки и ноги, пальцы без ногтей...»

Предвосхищая возражения читателей, Беляев писал:

«Если бы горилла мог говорить, то при взгляде на статую Венеры Милосской он, вероятно, также воскликнул бы: какое безобразие! — и перевел бы влюбленный взгляд на свою четверорукую, мордастую, косматую спутницу жизни».

Самое странное в романе не эти строки относительно идеала женской красоты в будущем, а примечание к ним: «Такое описание вполне согласуется с научными данными».

Некоторые ученые пытались разглядеть отдельные черты человека будущего в человеке сегодняшнем.

Как известно, определенный, хоть и очень небольшой, процент новорожденных составляют дети, у которых есть отклонения от нормы, от среднего типа современного человека. Издавна внимание биологов и антропологов привлекали те из отклонений, что напоминали какие-то черты, присущие предкам человека лишь в далеком прошлом.

Хвостатые или волосатые люди, в прошлом пользовавшиеся таким успехом в ярмарочных балаганах, — подлинные гости из глубины времен, — тем и интересны для ученых. Но антропологам известны и такие отклонения от среднего типа, в которых часть ученых увидела «гостей из будущего».

Иногда люди рождаются без верхнечелюстной кости — той, что находится у нас с вами посредине верхней челюсти и несет резцы. У человека обычно на копчик, нижнюю часть позвоночника, приходится 4—5 позвонков. Однако иногда встречаются

люди всего с тремя и двумя копчиковыми позвонками. Но если хвостатые люди — возврат к прошлому, рассуждают анатомы, то люди почти без копчика, остатка хвоста, — это скачок в будущее.

Не так уж редки люди, у которых нижнее ребро развито плохо или вовсе отсутствует. Бывают случаи, когда верхний шейный позвонок (он гордо называется атлантом, по имени героя мифов; тот поддерживал небо, а позвонок — голову) сливается с черепом.

А сам череп! Английский ученый Виллистон несколько десятков лет назад обратил внимание на удивительную закономерность. Чем выше стоит живое существо на лестнице эволюции, тем меньше костей входит у него в состав черепа. У кистеперых рыб 143 таких кости, у рептилий — 84, у примитивных млекопитающих уже вдвое меньше — 42. Череп человека состоит всего из 27 костей, но иногда — из 26 и даже 25. (Именно в этом Виллистон и его последователи увидели признак прогресса.)

Больше всего не везет зубам. Очень многие люди рождаются с неполным их набором. У среднего человека зубы мудрости появляются только в юности. Не считается отходом от нормы, если они совсем не появляются.

Не идет ли дело к тому, чтобы зубы исчезли вообще?

Ученые вспоминают, что среди всех классов позвоночных есть беззубые потомки зубастых предков. Без зубов среди рыб обходится рыба-игла, среди амфибий — жаба, среди пресмыкающихся — черепаха, среди млекопитающих — муравьед. А по мнению Лео Сцилларда, физика и фантаста, человек может поторопиться с этим природу. В его рассказе «Фонд Марка Гейбла» описано общество, в котором зубы вышли из моды. Их попросту вырывают в детстве, а для пережевывания пищи используются металлические челюсти, прикрепляемые к столу. Ну, а среди молодежи будущего считается шикарным заменять собственный пищевод искусственным. Тот устроен так, что можно за едой не думать о сохранении фигуры — лишняя пища сама отводится в сторону.

Не очень веселая перспектива, не правда ли? Против нее восстают ученые, и прежде всего антропологи. Они в большинстве решительно возражают против мысли, будто человек изменится до неузнаваемости.

Фантасты толкуют об огромной голове «человека будущего». Исходят они из того, что у питекантропа голова больше, чем у обезьяны, а у современного человека больше, чем у питекантропа, и полагают, будто черепная коробка человека только и делала, что росла и вширь, и ввысь, и вбок.

Но этого не было!

Кроманьонцы — высокие, сильные люди, жившие на земле тридцать — сорок тысяч лет назад, — принадлежали к тому же виду «Человек разумный», («Homo sapiens»), что мы с вами.

В качестве наших предполагаемых предков они — последняя ступенька, почти незаметная, на эволюционной лестнице длиной в миллион (по меньшей мере) лет. И вот у них-то средний объем мозга составлял 1 600 кубических сантиметров. Это на 200 кубических сантиметров, на одну седьмую, превышает средний объем мозга наших современников.

Мало того. Неандерталец, которого мы привыкли представлять низкорослым чудищем со скошенным подбородком, тоже не уступал нам по размеру мозга. Да что не уступал! Судя по найденным че-

репам неандертальцев, они обгоняли нас в этом отношении, хотя и на несколько меньшее количество кубических сантиметров, чем кроманьонцы.

Так что же, неужто неандертальцы были «умнее» нас? Конечно, нет! Дело тут не в количестве мозга, а в его качестве. Скошенный, низкий и узкий лоб неандертальца был не просто уродством с современной точки зрения. Он свидетельствовал о том, что еще не успели развиться лобные доли, недоразвились височные доли мозга — те его области, что заведуют у нас с вами самыми сложными суждениями и действиями.

Как видите, по дороге в современность мозг не только выигрывал, но и терял в объеме и весе. Значит, качественное развитие не обязательно требует количественного роста.

С какой же стати нам ожидать, что мозг вновь начнет расти, повторяя то, что уже сделал когда-то? Да и нужен ли сейчас этот количественный рост?

Врачи и биологи, психологи и физиологи сходятся на том, что лишь сравнительно небольшая доля мозга используется человеком в полной мере. Известно, что у левой лучше развито правое полушарие мозга, у правой — левое полушарие. Стала знаменитой одна «деталь» биографии великого Пастера. Паралич поразил и вывел из строя половину его мозга. С оставшейся половиной гениальный ученый сделал бессмертные открытия, спас миллионы людей. Словом, человеку еще только предстоит полное освоение собственного мозга. Можно сказать, с этими-то кубическими сантиметрами «дай бог» управиться, куда уж там новые!..

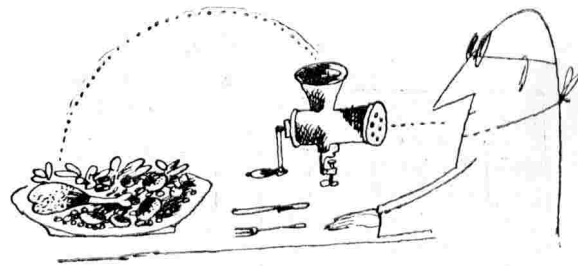
В КАКУЮ СТОРОНУ МЫ ИДЕМ!

Вернемся к изменениям черепа. Говоря точнее, к докладу, который сделал на Московском международном конгрессе антропологов и этнографов советский ученый В. П. Алексеев. Объектом его исследования служили тысячи черепов, стрелка на временной шкале указывала на последний миллион с лишним лет. Алексеев задался целью выяснить, с какой скоростью менялся за этот срок череп человека и его предков на разных этапах.

Предка-обезьяну заменил в его таблицах современный шимпанзе. Подмена была, конечно, условной, но свою роль сыграла. А дальше — синантропы, неандертальцы, люди верхнего палеолита и мы.

Миллион лет отделяет обезьяну от синантропа, двести тысяч лет — синантропа от первых неандертальцев. Только пятьдесят тысяч лет лежат между первыми и последними неандертальцами, уже гораздо более развитыми. Еще двадцать пять тысяч лет — и перед нами люди верхнего палеолита. И остается еще столько же до появления современного человечества.

Длинный, тернистый путь. Что же происходило с черепом, как менялись его ширина и длина, ширина и длина лица?



Увы, все эти размеры, за редкими исключениями, менялись довольно беспорядочно. Лицо становилось то шире, то уже, сближались и расходились глаза, расширялась и вновь сужалась нижняя челюсть...

Что же касается исключений, то только одно из них было полным. Зато какое — угол лба! Поколение за поколением, тысячелетие за тысячелетием лоб становился все более крутым. Ширина и высота черепа, высота лица тоже, в общем, росли, хоть и не без отклонений.

Скорости этих изменений были выше всего на пути от первых неандертальцев к людям верхнего палеолита. Превращение дочеловека в человека уложилось в 75 тысяч лет. Это и было время окончательного становления вида «Человек разумный» («Homo sapiens»).

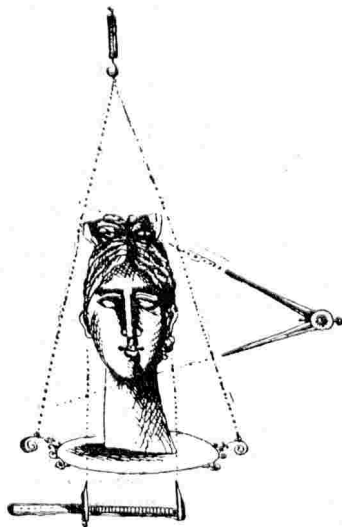
На последнем этапе быстро изменяются только второстепенные признаки, не имеющие жизненно важного значения. Внешнее выражение это находит в формировании человеческих рас, ведь как раз такие признаки и отличают их друг от друга.

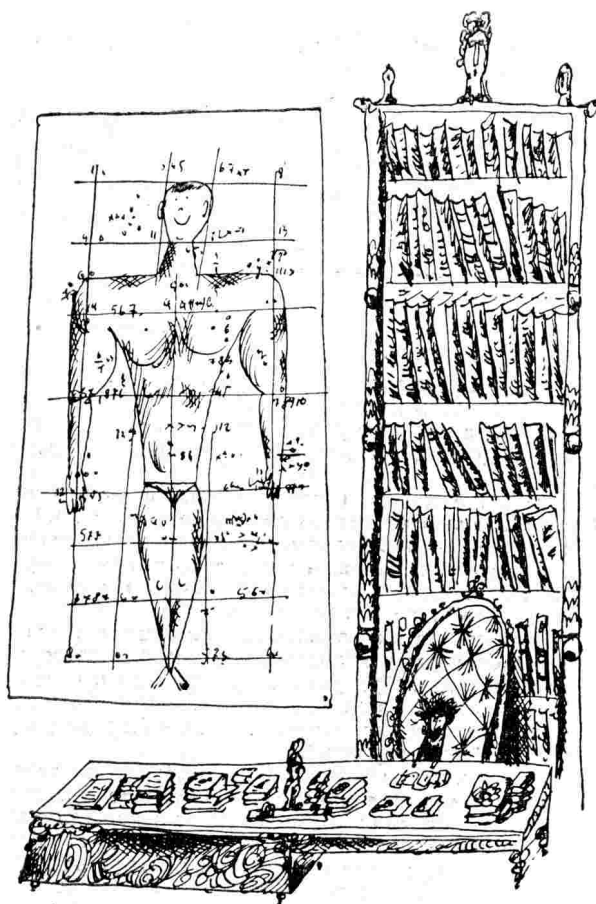
Из всего этого можно сделать недвусмысленный вывод: нужна человеку большая голова или «не нужна», но роста ее в наше время не происходит.

Умерший несколько лет назад профессор А. П. Быстров утверждал, что такой рост попросту невозможен. И ссылаясь на завершение эволюции в силу того, что естественный отбор прекратился.

Что же касается зубов, которым якобы угрожает полное уничтожение, то профессор Быстров полагал эту угрозу несостоятельной. Считается, например, что зубы мудрости первыми покидают нас. У большинства людей они появляются только в юности, у многих — вообще не вырастают. Но у неандертальцев зубы мудрости были, говорит Быстров, примерно в том же состоянии. Они появлялись «на свет» гораздо позже других зубов и 100 тысяч лет назад. Продолжай в эти тысячелетия естественный отбор у человека идти с той же скоростью, что раньше, зубы мудрости уже были бы только воспоминанием. Однако они все же существуют. Поэтому, заключает профессор, нет никаких оснований считать, что наш потомок будет менее зубаст, чем мы с вами.

Вообще изменения человека имели смысл, пока он благодаря им приспособлялся к природе. Эта эпоха кончилась. Теперь человек приспособливает природу.





к себе. Решающими для него стали не природные, а социальные перемены. А они происходят с быстротой, совершенно незнакомой биологии. Эволюция организма не угнаться за эволюцией общества.

Но мы не можем в отличие от наших предков сотню лет назад согласиться с тем, что биологическое развитие современного человека достигло предела. Все, остановившееся в развитии, обречено на гибель. Законы диалектики не знают исключений. А человечеству еще предстоит освоить солнечную систему и Галактику, сделать явью самые дерзновенные мечты Циолковского.

Что ж, выход должен быть найден. О нем говорил еще в начале века русский биолог А. Н. Северцов: человек должен взять на себя управление собственной эволюцией.

Вряд ли человек захочет менять свое лицо и делать свою голову сверхогромной. Но что-то, бесспорно, сочтет необходимым сделать. Не верится, чтобы человек безразлично смотрел в будущем на ненужные или вредные части своего организма, которых не так уж мало.

В. Вересаев отмечает в своих «Записках врача», что «органы человека и их размещение до сих пор еще не приспособились к вертикальному положению человека. Нужно себе ясно представить, как резко при таком положении должно было измениться направление и сила давления на различные

органы, и тогда легко будет понять, что приспособиться к своему новому положению органам вовсе не так легко».

Значит, надо помочь организму и в этом.

Нужно что-то делать с нашими зубами — не заменять ведь их «железными челюстями», согласно Лео Сцилларду.

Человек прекрасен, но в каждом конкретном человеке найдется что исправить и улучшить. И это, конечно, будет сделано. Человек будущего — «Гомо футурус» — не будет похож на героя белаяевской «Борьбы в эфире», тем более на уэльсовского марсианина, состоящего из одной головы. Но и точно таким, как сейчас, он остаться не может.

Что же, сегодня среди нас действительно живут гости из будущего. Только это не уроды, даже на самый придирчивый взгляд. Я имею в виду тех, кто уже сегодня сумел стать хозяином своего тела. В последнее время на страницах газет и журналов много пишут о достижениях культуристов. Среди них есть волшебники, способные сделать себя за несколько месяцев вдвое тяжелее или в полтора раза легче. И это только благодаря спортивным упражнениям. А если на помощь придут биохимия и генетика?

Впрочем, прорицать, какими новыми чертами будет обладать человек будущего, я все-таки не возьмусь. Зато могу твердо предсказать, чего он будет лишен. Он обойдется без лишнего жира и кривых, рахитичных ног, ему не понадобятся очки и, уж конечно, ватные плечи в пиджаках.

Разумеется, люди останутся разными. По-прежнему худые и длинные будут уживаться и даже дружить с невысокими и коренастыми. (Вряд ли человечество, даже если будет в силах сделать это, примет тут какой-то один стандарт.) Но все эти различия будут внутри норм, будут отличаться не больных от здоровых, а здоровых друг от друга.

Не будет среди людей калек и уродов, но останутся богатыри и те, кого можно назвать середнячками. Только эти середнячки смогут, наверное, помериться с сегодняшними чемпионами... Впрочем, я начал уже говорить не о том, чего не будет, а о том, что будет.

В начале статьи я поздравил каждого из своих читателей с блестящей родословной.

Это, конечно, шутка. Не так уж много на свете людей, в чьих жилах течет кровь Пушкина, Ломоносова, Марка Твена. А вот у Леонардо да Винчи детей не было. Как не было их и у Лермонтова или Ньютона.

Но все мы — их полноправные наследники. Потому что человек оказался действительно «венцом творения», вершиной эволюции живой материи. Покончив с властью естественного отбора над собой, он стоит на вершине эволюционной пирамиды.

Но на смену одной эволюции пришла другая, постепенно занимавшая главное место, — эволюция, которую можно назвать культурной. По ступеням ее идут не отдельные люди, а общество в целом. И меняется в ходе ее все человечество.

Икар, единственный сын полумифического Дедала, погиб. Но по всем дорогам мира катятся колеса — наследство Дедала, изобретение его.

Эволюция человечества зависит от каждого из нас. Да, каждый из нас способен сделать сильнее и умнее население целой планеты!

ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД

Эта фотография (она публикуется впервые) сделана в 1928 году на Красной площади после демонстрации молодежи столицы в Международный юношеский день.

Привез мне этот снимок из Берлина Георгий Беспалов, работавший в конце двадцатых годов в Центральном комитете ВЛКСМ. А ему передал фотографию при недавней встрече ответственный сотрудник Центрального Комитета СЕПГ товарищ Габо Левин, также работавший в двадцатых годах в Москве, в Исполкоме Коминтерна молодежи.

И вот я всматриваюсь в фотографию почти сорокалетней давности. Александру Косареву и мне было тогда по двадцать пять лет. Семен Михайлович Буденный не отмечал еще своего пятидесятилетия.

Красная площадь несла еще булыжное покрытие. Теперешних каменных трибун не существовало. Ленин покоился во временном деревянном мавзолее.

На демонстрации передовые отряды районных колонн комсомольцев маршировали одетые в форму «юнгштурм», по примеру «молодых красных фронтовиков» комсомола Германии. История этой формы, которую помнят все старые комсомольцы, такова.

В марте 1927 года на пятой Всесоюзной конференции ВЛКСМ было принято решение об усилении массовой военной работы комсомола. С. М. Буденный, приветствуя конференцию от имени Реввоенсовета СССР, напомнил, что буржуазия всего мира вооружается до зубов, стремясь сколотить военный блок против Страны Советов: «Мы должны всемерно увеличивать обороноспособность нашего пролетарского государства. Каждый гражданин должен себя готовить в военном отношении, быть хорошим бойцом и гордиться этим именем бойца великой миллионной армии пролетарской страны... тогда нам не будут страшны никакие угрозы!»

Александр Косарев 2 июня 1928 года выступил на страницах «Комсомольской правды» со статьей «За



единую форму комсомольцев». Косарев утверждал, что форма помогает товарищескому сплочению ребят, дисциплинирует комсомольцев, способствует их военизации. Агитируя за форму, «так как она не марка, дешева, не стесняет движений, проста — не криклива», он призывал в статье: «Даешь комсомольскую форму «юнгштурм»!» И вот московские комсомольцы — не создавая никаких комиссий, без всяких совещаний, как это у нас часто бывало, — добровольно приобрели себе прочные, простенькие, удобные костюмы с портупеей через плечо и вышли в них на демонстрацию. В первую очередь это сделал Бауманский район.

Старая фотография напомнила мне двадцатые годы и боевую дружбу Ленинского комсомола — шефа военных моряков, конармейцев и летчиков — с нашей славной Советской Армией, заботу комсомола о патристическом воспитании и военно-спортивной подготовке молодежи.

Ал. МИЛЬЧАКОВ

ГДЕ? ЧТО?

Комсомольцы Азербайджана активно включились во Всесоюзный рейд «Комсомольского прожектора» по предприятиям общественного питания. Десятки отрядов проверяют соблюдение санитарных правил, способствуют расширению ассортимента и улучшению качества приготовляемых блюд, улучшению оформления залов и витрин. В рейде участвуют молодые специалисты торговли, общественного питания, здравоохранения.

Комсомольцы Хатырчинского района, Самаркандской области, выступили с инициативой — своими силами создать центры отдыха сельской молодежи. Их инициативу поддерживали комсомольские организации области.

Маршрутами знаменитого «Железного потока» шли простые следопыты школы № 71 Киева. Весь год школьники боролись за право попасть в этот отряд, который совершил двухмесячное путешествие по следам героев произведения Се-рафимовича. Ребята привезли в школу много материалов о подвигах старшего поколения.

Китобоец «Муссон» из тихоокеанской китобойной флотилии «Алеут» повредил винт. Даже на заводе замена винта считается делом трудным. А тут — открытый океан. Но идти в бухту — потерять неделю дорогого промыслового времени. И решили делать ремонт прямо в океане. А, как известно, Тихий океан редко бывает тихим: сильное течение, предштормовая зыбь, леденящий холод. Больше суток, непрерывно сменяясь, провели под водой водолазы Василий Дьяченко, Виктор Баштаков и Владимир Чук. Побединок с океаном закончился победой ребят: с помощью лебедки они установили запасной полутонный винт.



«НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...»

Наш путь — туда, где в октябре сорок первого года гру-дью заслонили Москву от фашистских полчищ курсанты подольских пехотного и артиллерийского училищ, о бессмертном подвиге которых рассказал в февральском номере журнала «Юность» генерал-лейтенант И. С. Стрельбицкий. Мы едем в Ильинское, Детчино, чтобы увидеть своими глазами эти священные места, встретиться с очевидцами боев, собрать новые сведения о героях.

«Никто не забыт, ничто не забыто» — таков девиз похода, организованного Подольским горкомом комсомола совместно с горвоенкоматом. Нас четыреста, допризывников и комсомольских активистов, — восемь рот по пятьдесят человек в каждой.

Трехчасовой путь — и роты высаживаются в начальных пунктах маршрута. Четыре роты — на линии обороны в районе села Ильинское, четыре — на местах боев южной группы курсантов в районе села Детчино. Предстоят два дня пути, затем встреча близ деревни Васисово, где будет поставлен памятник героям.

За два месяца до похода по этим местам прошел разведывательный отряд туристов-школьников климовской школы № 4. Ребята уточнили места боев, составили маршруты, по которым идут сейчас роты.

Комсомольцы нашей второй роты встретились в деревне Рябцево с бывшим учителем, очевидцем боев В. Г. Лепешкиным, у которого сохранился дневник тех лет:

«...13 октября. День прошел спокойно. Лишь у деревень Холопово и Таурово была слышна минометная и пулеметная стрельба. К вечеру она стихла. Войск в нашей деревне не было.

20 октября. Ходил в Детчино. Что там творилось! Ужас, кошмар, зверства. По дороге в Детчино валялись трупы красноармейцев. Большинство из них были разуты и раздеты. Закапывать их фашисты не собирались.

6 декабря, в субботу, день был страшный. Карательный отряд в деревне Рябцево задержал выход...

На снимке: следы войны ребята видели своими глазами...

Фото В. Благодарова.

дившего из окружения красноармейца и тут же его расстрелял. У нас в деревенской бане прятались еще 9 человек. Их обнаружили, вывели за околицу и расстреляли разрывными пулями. К вечеру мы тайно подобрали трупы и похоронили. По документам установили: один был узбек, другой — красноармеец с Урала, его фамилия — Миронсз. Этот день мне никогда не забыть».

Шестая рота с поэтическим названием «Катюша» (командовала ею Галя Фуркалюк) оказывала на маршруте помощь вдовам и престарелым. Ребята пилили и кололи дрова, убирали сено. В детчинском Доме культуры дали большой концерт художественной самодеятельности. У деревни Михеево рота обнаружила братскую могилу, в которой было захоронено 130 солдат коммунистического полка Москворецкого района Москвы. Могила пришла в запустение. Ребята сделали что смогли. Решили написать письмо в Москворецкий райком комсомола, чтобы там взяли шефство над могилой.

И так на пути каждой роты. Траншеи, доты, каски — все эти следы войны ребята видели своими глазами. Жительница деревни Кульнево М. Н. Смирнова поведала о том, как неизвестный пулеметчик в течение двух часов сдерживал фашистов, прикрывая отход своего отряда. И сейчас сохранился бетонный колок, из которого пулеметчик разил метким огнем окруживших его врагов.

А вот рассказ жителя деревни Савиново Н. В. Страхова: «Бой за нашу деревню был 17 октября. Я хорошо помню этот день, хотя мне было тогда 10 лет. Выпал первый снег. Он пролежал сутки, потом растаял. Фашисты шли из Детчино. Траншеи курсантов находились за околицей и вон за тем оврагом, у леса. Силы были неравные, но подольчане все равно приняли бой. Правда, они продержались недолго — с утра до обеда. Мы в это время вместе с соседями находились в бомбоубежище. В бою за деревню принимали участие немец-

кие самолеты. Когда мы вышли из бомбоубежища (вернее, нас выгнали из него фашисты), то увидели, что дом Калиничевых горел. Его подожгли немцы. В доме укрылись курсанты, они отбивались до последнего патрона и гранаты, но не сдались. Вокруг дома валялось около трех десятков фашистов. После мы нашли на месте пожара два обгорелых трупа курсантов и похоронили их. Документов никаких не сохранилось».

В Детчино перед памятником погибшим бойцам, где в числе других похоронен наш подольчанин, старшина 15-й роты пехотного училища К. В. Китаев, восьмая рота провела торжественную линейку. На ней был принят в комсомол допризывник Виктор Голубев.

На третий день похода, несмотря на ливший с утра дождь и пройденные десятки километров, роты в назначенное время походным строем с боевой песней прибыли на поляну близ деревни Васисово. Здесь штаб похода с помощью роты допризывной молодежи города Малоярославца уже начал строительство памятника-монумента героям. Строительство возглавили автор проекта Борис Коген и инструктор горкома комсомола Вячеслав Жученко. Из братских могил были извлечены для перезахоронения останки курсантов.

Когда роты прибыли на поляну, где был назначен слет, от каждой из них, сменяя друг друга, выделялись отделения для строительства памятника. А работы было много. Подвозка грунта и песка, трамбовка, укладка дерна, бетонирование... Откровенно говоря, мы не все предусмотрели, и теперь приходилось, наворачивая упущенное, работать буквально круглые сутки. Нытиков и «сачков» не было. Все понимали, что и для чего делают. Об этом хорошо сказал на митинге при открытии памятника бывший комиссар южной группы курсантов Д. В. Панков:

— От имени ветеранов войны, от имени всех тех, кто сражался в этих местах, я благодарю вас, дорогие товарищи, за этот памя-

тник, который вы построили, чтобы в этом творении, в бетоне и железе увековечить дела и героизм своих старших братьев и отцов.

Мы провели военную игру. И вот наконец наступил последний день слета. Роты выстроились на прощальной линейке. Медленно опускается флаг слета. Мы свертываем лагерь и четким строевым шагом движемся к памятнику. У него собралось все местное население, приехали пионеры из соседних лагерей. Выстраиваемся вокруг памятника. Перед ним обтянутый красным полотнищем гроб с останками курсантов. В почетном карауле — взвод военнослужащих.

Начинается митинг. Все наши мысли и чувства в эту минуту высказала секретарь Малоярославского горкома комсомола Клава Соскова:

— Поля — наши, рощи — наши и солнце — наше. Мы, молодежь 60-х годов, хорошо понимаем и всем сердцем чувствуем, какой ценой завоевано счастье жить на земле. Именем солнца, именем Родины, именем жизни клянемся павшим героям: то, что отцы не допели, мы допоем, то, что отцы не достроили, мы достроим.

«Клянемся, клянемся, клянемся!» — вторит строй. Звучит торжественный гимн. К гробу подходят замполиты рот, бережно поднимают его на плечи и в сопровождении воинского караула направляются к памятнику. Гроб опускается в могилу, над ней склоняется знамя Подольского горкома комсомола. Залп воинского салюта. Мимо могилы медленно движутся участники митинга. Каждый бросает горсть земли. Растет холм. А рядом четырехметровый обелиск со словами:

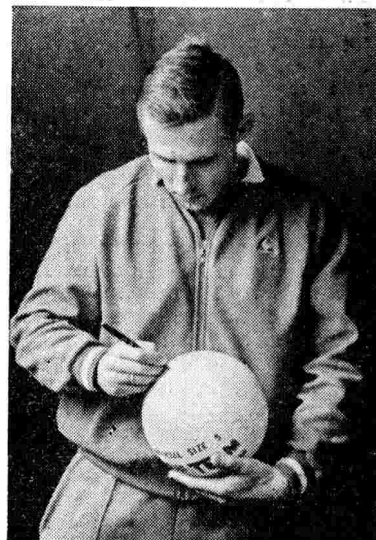
«Героям-курсантам, павшим в боях за независимость нашей Родины, от подольских комсомольцев. Июль 1966 г.»

Игорь ГУДКОВ,
внештатный секретарь
Подольского ГК ВЛКСМ,
начальник штаба похода.

● Альберт Шестернев

СЧАСТЬЕ— СОЮЗНИК СИЛЬНЫХ

Фото Б. Светланова.



Нас, «чилийцев», осталось в сборной ко времени Лондонского чемпионата восемь: Лев Яшин, Валерий Воронин, Игорь Численко, Слава Метревели, Галимзян Хусанов, Иосиф Сабо, Виктор Серебряников и я. Правда, меня можно назвать «чилийцем» только условно. В Чили я пользовался всеми благами, которые предоставляет мировой чемпионат игрокам, но ни разу не вышел на поле.

В футболе много трудных ролей. Точнее, в футболе нет ролей легких. Но самая тяжкая и неблагодарная — роль запасного. И если твой запас мышечных сил остается в целости и сохранности, то сил нервных ты расходует больше, чем самый азартный из участников матча. Можете мне поверить: я бывал и по ту и по эту сторону футбольного поля.

Но так или иначе я очевидец чилийского первенства мира. И хоть минувшие четыре года беспрерывно варился в футбольном соку, а потому не могу взглянуть на дело со стороны, все же уверен: на дистанции Чили — Англия футбол претерпел громадные изменения.

Бразильская система, ставшая за четыре года классической, резко изменилась. Это видно и невооруженному глазу. В Англии по схеме 1+4+2+4 играли разве что сами бразильцы. Играли, как вы знаете, без успеха. В большинстве

команд стало пятеро защитников. Лишнего своего коллегу мы позавидовали у форвардов. Даже в таких первоклассных командах, как сборные Венгрии, ФРГ, Португалии, их теперь только трое. А у новых законодателей футбольных мод — англичан — и вовсе лишь два ярко выраженных нападающих.

Но нельзя же в самом деле забивать голы сильным противникам, имея впереди только двух игроков! В том-то и дело, что Р. Чарльстон, Мэсей, Колуна, Беккенбауэр да и еще многие трудятся на защите своих ворот, а когда мяч перелетает на чужую половину поля, поспевают в ряды атакующих. Так в атаке участвуют тоже 5—6 человек.

Пеле и без выдающейся физической подготовки все равно остался бы Пеле. А те, кого я называл, хотя они тоже и техничные игроки и обладают большим тактическим кругозором, без своих атлетических качеств не смогли бы претендовать на положение звезд современного футбола. Пеле, конечно, остается первым футболистом мира. Но Пеле — уникал. Игроки лондонской «Ол старс» не уникалы и тем не менее звезды. И это, по-моему, знамение времени.

На турнире в Англии центрфорварды боролись за мяч в своей штрафной площади, а крайние защитники совершали рейды к чужим воротам и забивали голы. Разделение на защитников и полу-

защитников, так же как на полузащитников и нападающих, носит теперь чисто условный характер.

А это, в свою очередь, повысило требования к нам, защитникам. Чего мы только не должны теперь уметь делать! Держать форварда и отбивать мячи — это уже само собой разумеется. Но надо и обводить игроков, и точно пасовать, и, что особенно важно и трудно, организовывать наступление.

Вы, возможно, заметили, что в Англии вратари почти не выбивали мяч ногой. В былые времена, когда мяч попадал к вратарю, у нас, защитников, наступал короткий антракт. Мы поворачивались спиной к воротам и неторопливо брели к середине поля. Мы знали, что в это время делает наш голкипер: он взял мяч, постучал им несколько раз о землю, подошел к границе штрафной площади и выбил мяч как можно дальше: пусть форварды там за него дерутся.

Сейчас мяч в руках у вратаря — сигнал: нам начинать атаку. И мы разбегаемся в разные стороны в поисках свободного места. Надо обмануть противника, открыться, не теряя из виду вратаря, получить от него мяч и решать, что с этим мячом делать дальше. Без адреса отбить нельзя — «ценность» мяча резко возросла. В этом смысле футбол (я имею в виду большой футбол) все более сближается с баскетболом: всякая потеря мяча чревата крупными неприятностями.

В Англии в наиболее трудных играх я исполнял обязанности «чистильщика». Не скажу, что это занятие мне особенно по душе. Куда проще и спокойнее держать одного игрока: нашел к нему ключ и уже можешь особенно не волноваться. К тому же, когда твой подшефный не имеет мяча, ты можешь сделать передышку. «Чистильщик» во время матча не знает отдыха. Даже когда мяч у чужих ворот, я обязан быть начеку. Вот сейчас им завладеют противники, и я должен взять в поле зрения всю атаку, чтобы понять, как она будет развиваться, где окажется главное направление удара. Ошибусь в расчетах — и могу не успеть закрыть последнюю брешь в обороне. А это и есть главная обязанность «чистильщика» — закрывать последние бреши. Выматывает это и нервно и физически до предела.

Вообще-то «чистильщик» в нашей сборной — роль эпизодическая. Большинство наших защитников настолько хорошо освоило персональную опеку, что не нуждается в дополнительном помощнике. Даже самые лучшие и техничные иностранные форварды не любят играть против наших защитников. Им привычнее и удобнее действовать против «зоны». Техничный нападающий по-настоящему грозен, когда у него в ногах мяч. В условиях «зоны» ему легче получить и обработать мяч, персональный сторож мешает ему сделать это. Вы ведь заметили, что против нас даже такие виртуозы, как венгр Альберт, немец Зеелер, португалец Эйсебио, сыграли не очень ярко. Им не дала сыграть наша оборона. Причем персональные сторожа во главе с Валерием Ворониным действовали абсолютно корректно.

Но против Италии, ФРГ, Португалии мы все же выставляли «чистильщика». И не только потому, что придавали матчам особое значение. И те, и другие, и третьи играли против нас тремя нападающими. Мы просто не имели права оставить в защите такое же число игроков, потому что каждый из трех форвардов получил бы слишком большой оперативный простор. К тому же у всех этих команд превосходные полузащитники, которые не упустят момента ворваться в чужую штрафную площадь.

По-моему, защита сборной вообще сыграла в Англии хорошо. И будь у нас в матчах с ФРГ и Португалией чуть-чуть футбольного счастья, мы могли бы стать и выше на мировом пьедестале почета.

Футбольное счастье! Я не суеверен, но твердо убежден: футбольное счастье существует, но улыбається одним и отворачивается от других. Это относится и к игрокам и к командам.

Валерий Паркуян ехал в Англию, почти не надеясь сыграть хоть раз. Да, пожалуй, и не сыграл бы, не родился он в футболке. Для этого надо было, чтобы матч с чилийцами не имел для нас никакого значения, чтобы тренер решил дать передышку основным игрокам, чтобы команда испытывала дефицит в крайних нападающих. Да и сам матч сложился необыкновенно счастливо для Паркуяна. Он сыграл очень удачно и забил два гола. А ведь могло получиться и иначе. Не пошла же игра в тот раз у такого одаренного футболиста, как Эдуард Маркаров. И вернулся он на скамейку запасных до самого конца чемпионата. А Паркуян выходил на поле еще дважды и оба раза забил по голу. И только тренерский план — играть против португальцев тремя нападающими — вернул Паркуяна в дублеры.

Три матча — четыре гола. Разве это не счастье? Ведь что ни говорите, а Паркуян по уровню мастерства пока изрядно уступает, скажем, Игорю Численко или Славе Метревели.

А вот Метревели, кстати, здорово не повезло в Англии. В начале сезона он был в блестящей форме. Бессмысленная травма во время товарищеского матча в Швеции надолго вывела его из строя. И даже когда он сам был уверен, что здоров, что может играть, его все равно не торопились выпускать на поле. Тренеры опасались: вдруг Слава переоценил себя и его не хватит на игру. А замены-то запрещены.

И даже с таким мастером футбола, как Валерий Воронин, фортуна едва не сыграла злую шутку. Он поздно вошел в форму, куда позднее других. Еще во время игр в Швеции он был не тот. И тренеры считали, что Серебряников, не говоря уже о Сабо, в тот момент полезней для команды, чем Воронин. На матч с итальянцами должен был выйти Серебряников. А утром в день игры он вдруг захромал: неудачное столкновение на тренировке. Тренер вызвал Воронина: «Будешь играть». И если бы не эта случайная травма Серебряникова, кто знает, увидели ли бы мы Воронина на поле? А ведь после чемпионата, как вы знаете, Воронина включили в символическую сборную мира.

И целая команда может оказать-

ся в плену у судьбы. Я уже говорил, что, будь счастье к нам чуть милостивее, мы бы могли играть в финале. Правда, немногим раньше нам тоже сопутствовала удача...

Труднейший матч с венграми. Мы вышли на игру, настроенные решительно. Каждый был готов к борьбе до конца. Мы знали, что решать будут нервы, и чувствовали, что сегодня они у нас крепче, чем у венгров. Так и получилось. Уже на первых минутах венгерский вратарь дрогнул, выпустил из рук мяч, и счет стал 1:0. В начале второй половины мы уже вели 2:0. И тут, когда все вроде бы было кончено, венгры взяли себя в руки. А мы, особенно нападающие, потеряли игру. Мы гнали нападающих вперед, но какая-то неведомая сила притягивала их к своим воротам. Правда, венграм удалось забить только один гол. Но вы помните, что лишь чудо спасло нас, когда мяч в трех метрах от наших ворот соскользнул с ноги Ракоши. Не случись этого, все пришлось бы начинать сначала, а может, прибегать к помощи глупейшего из судей — жребия.

И все-таки счастье любит сильных. Счет 2:1 — по игре. Он весьма точно отразил соотношение сил на поле. Мы больше наступали, мы четче оборонялись, и за 5—7 минут до конца встречи венгры окончательно расстались с надеждой на успех.

Зато матч с ФРГ сложился для нас прямо-таки трагически. Вы помните: сначала травма Сабо, потом удаление Численко.

И в перерыве и после матча никто из нас не решился упрекнуть Игоря. Вам, может, это и не вполне понятно, но мы его если и не оправдывали, то понимали. Чтобы понять Численко, надо побывать в шкуре участника чемпионата. Надо самому почувствовать эту нервную перегрузку, бессонницы накануне игр, тупую головную боль после матча, боль, которая хуже всякой физической усталости, эти бесконечные, невидимые миру крохотные травмы, которые не успевают заживать.

Численко потерял мяч. Потерял не потому, что сыграл плохо, а потому, что противник применил запрещенный прием. И вот, сидя на бровке поля, пока врач перевязывает ему колено, Игорь видит, как противник распоряжается нечестно захваченным мячом. Мяч от него попадает к Халлеру, а затем — в сетку наших ворот. Игра начинается с центра. И снова мяч у «обидчика» — у Шнеллингера, примерно в той же точке, что ми-

нуту назад. А Шнеллингер свободен: над Игорем еще трудится врач. Но вот можно выходить. Численко мчится на помощь своим, торопится хоть чем-то помешать Шнеллингеру. Игорь опоздал. Он подоспел, когда мяч уже был передан вперед. Он ударил противника по ногам, не причинив ему, кстати, ни малейшего вреда. Это был одновременно жест отчаяния и протеста. Не надо было этого делать. Вина Игоря была очевидна, но мы не стали упрекать Численко. Кто знает, смог ли бы сохранить спокойствие любой из нас на месте Численко!

Так или иначе мы остались вдевятером. И даже тут еще не все было кончено. Когда немцы вели 2:0 и Паркуян отквитал один мяч, он мог тут же забить еще один, но промахнулся. Я уверен, что в добавочное время мы не дали бы немцам забить себе гол, я чувствовал настроение ребят. Мы просто не могли бы упустить шанс, добытый такой ценой. Но счастье отвернулось от нас.

И на матче с португальцами тоже. Они же ни в чем не превосходили нас. Чашу весов на их сторону склонил бессмысленнейший пенальти. плюс единственная ошибка защитников, которые на мгновение оставили без внимания Торреса. Видно, слишком уверены были ребята, как, впрочем, и публики, что в оставшиеся минуты основного времени счет сохранится.

Но вы вправе упрекнуть меня в том, что я противоречу себе. Я сказал: счастье — союзник сильных, — а теперь жалею на судьбу. Да, счастье — союзник сильных. И будь мы сильнее, нам не пришлось бы уповать на союзников.

Что я имею в виду? Прежде всего недостаточную силу нашего нападения. Если таких наших крайних форвардов, как Численко и Метревели, смело можно называть игроками международного класса, то главные действующие лица атаки — центрфорварды — все же не соответствуют, как теперь принято говорить, уровню мировых стандартов. Анатолия Банишевского и Эдуарда Малафеева не упрекнешь в недостатке трудолюбия, самоотверженности. Они и физически выглядели ничуть не хуже, а может, и лучше своих английских, португальских и немецких коллег. Но по технике, по тактическому кругозору, по умению точно бить по воротам с любых дистанций и из любых положений они явно уступают и тем, и другим, и третьим. Не случайно



После матча с португальцами. Воронин, Эйсебио и Корнеев.

на счету у наших центрфорвардов только три мяча из десяти, забитых командой. Да и те они забili в матче с КНДР. Как бы ни возросла в нынешнем футболе универсализация игроков, а разграничение обязанностей все-таки существует. Обязанность центрфорвардов — завершать атаки. Если бы они лучше справлялись с этим своим делом, нам бы не пришлось искать на поле счастья.

Чемпионат мира закончился триумфом европейской школы футбола. Неудачи аргентинцев, уругвайцев, чилийцев и мексиканцев можно было предвидеть. Лучшие команды нашего континента охотно учились у южноамериканцев техническому мастерству и многого достигли в этом. Те же, в свою очередь, не хотели изучать и перенимать тактический опыт европейцев — и понесли за это наказание. Южноамериканцы оказались в положении, которое было у англичан, веривших в свое время в незыблемость системы «дубль ве», в ее абсолютное превосходство над всеми прочими системами футбола.

С бразильцами дело посложнее. Команда Пеле, по существу, в первой же встрече осталась без Пеле. Это невосполнимая утрата. А кроме того, бразильцы были слишком уверены в силе своего нападения. Они верили, что, как и в прошлые годы, им будут забивать, сколько сумеют, а они — сколько захотят.

Мне жаль сборную Бразилии, которую в капут чемпионата, в

июньском номере «Юности», я назвал претендентом № 1. Англичане — новые короли мирового футбола — сильны. Но они первые среди равных. Бразильцы же были на голову выше всех, это была команда-эталон. Я не убежден, что, если бы сейчас чемпионат повторился снова, англичане сумели бы доказать свой приоритет. Тем более, если бы новый турнир проводился вне Англии, где, скажем прямо, хозяева поля были явно в привилегированном положении.

Еще одну мысль мне хотелось бы высказать в связи с английским турниром. О несправедливости формулы, о жестокости правил, не разрешающего замену, уже говорилось немало. С моей точки зрения, с точки зрения футболиста, который это все испытал на себе, это правило не просто несправедливо и жестоко, а бесчеловечно. Даже Эйсебио не хватило на весь турнир. Без того жесткая в современном футболе игра защиты становится все жестче от сознания, что противник боится травм.

В спорте существует благородный девиз: «Пусть победит сильнейший!» Нынешние правила ведут к тому, что решающим фактором победы порой становится не сила мастерства, а сила, с которой противники бьют по ногам друг друга.

И все же, что бы там ни было, Лондонский чемпионат был захватывающим турниром. Дни чемпионата я буду помнить всю жизнь,

● Лев Филатов

Чемпионы среди нас

В футболе нельзя отставать от жизни — недаром в характеристиках игры лучших команд все настойчивее появляется эпитет «современная». Законодателями футбольных мод, конечно же, становятся победители. Иные победители не нравятся, их игру перед всем миром уничтожительно анатомируют теоретики и эстеты, мир помалкивает, словно бы соглашаясь, а сам исподтишка норовит позанимствовать выкройку.

Бразильцы восемь лет (целая эпоха в наше время!) были объектом зависти, подражания, преклонения, изучения. Теперь они свергнуты. Теперь появилась возможность безбоязненно их лягать. Думаю, что отношение к бразильскому футболу сейчас станет лучшей проверкой добросовестности, объективности и, если хотите, чувства историзма.

Тренер бразильцев Феола, уезжая из Лондона, монотонно твердил, что его лучших игроков, как

злой рок, преследовали травмы и это единственная серьезная причина неудачи. К проигравшим тренерам надо быть снисходительным. Вряд ли есть другая профессия, где бы человеку вменялось в обязанность безропотно переносить оскорбления и унижения, где бы так часто колебалась его деловая репутация и где бы имел право усомниться в его знаниях и достоинствах каждый невежда в любую минуту. Не мудрено, что многоопытный, имеющий мировую известность Феола ссылался на «злой рок», зная, что для разгневанной толпы такое объяснение наиболее подходящее.

На самом же деле бразильцы, как мне показалось, перестарались, следуя житейскому правилу «от добра добра не ищут». Они



Бобби Мур, капитан англичан, с «Золотой богиней».

играют превосходно, и старые их друзья по-прежнему замирают от восторга. А молодые противники уже не замирают от страха. Все знают, как приятно в контрольной работе встретить задачку, которую уже решал. Примерно так же должны были себя чувствовать форварды, играя против защиты бразильцев.

Всего восемь лет назад на стадионах Швеции «линия Беллини» была откровением. Теперь она выглядит наивно. За эти годы люди привыкли к игре на бразильский манер. Некоторые даже считали футбол настоящим и серьезным лишь в том случае, если можно было на поле и «красненьких» и «голубеньких» пересчитать — «ать — четыре — два — четыре». И пересчитывали. Если же не находили заветную схему, то объявляли тренеров этих команд в лучшем случае дилетантами.

Но футбол не кегельбан, где шар катают по желобу. Футбол умирает от тоски повторений. Хотим мы того или нет, но игроки и мяч обречены вечно искать новые тропы на зеленом поле. И мудрый тренер помогает им в этом.

Мне трудно дался отчет для «Советского спорта» о финальном матче чемпионата мира. Переда-



Вот так шла борьба за «Золотую богиню». Матч Италия — КНДР. Момент у корейских ворот — итальянцы пытаются отыграться...

вать пришлось, как говорится, в номер, то есть диктовать, импровизируя, глядя на отрывочные заметки в блокноте. Но это полбеды — в конце концов не в первый раз. Трудность была в том, что рядом сидел и внимательно слушал мою импровизацию Виктор Александрович Маслов, тренер киевского «Динамо». Держался он безукоризненно, ничем не выдавал своего несогласия или неудовольствия. Он вообще добрый человек. И, крича в трубку какие-то слова о характерных особенностях английской сборной, я вдруг подумал, что примерно то же мог бы сказать и о «масловской» команде, которая мне давно нравилась, и что Маслов, пожалуй, меня контролирует по той простой причине, что победила-то на чемпионате его игра, что у него сегодня хороший день и, быть может, он надеется услышать этому хотя бы косвенное подтверждение...

Наверное, боевые порядки английских футболистов можно выразить арифметически. Это сделают. Но боюсь, что формула не выразит содержания, сути игры англичан. В самом деле, как

отметить, что у них обороняют ворота девять человек, а нападают десять? Может быть, так и писать: 9—10? Впрочем, это хлеб теоретиков. Мы же с вами лишь отметим главную тенденцию. Кончился период школярского подхода к системе четырех защитников, когда боялись отступить от букв цифр. Пришла пора свободного истолкования этой системы, пора поисков и открытий. Это проявилось в игре сборных Венгрии, Португалии, Западной Германии, Англии. Досадно, но нашу команду в этот перечень не впишешь. Она блеснула многими достоинствами и прежде всего стойкостью и мужеством. Она имела в своем составе таких выдающихся мастеров, как Лев Яшин, Альберт Шестернев, Валерий Воронин, Иосиф Сабо, которые приняли на свои плечи основную тяжесть борьбы. Но рисунок ее игры был традиционным, а временами и просто невнятным.

Может быть, мы отстаем в тактическом мышлении? К счастью, не отстаем. Нас мучает другой грех. Как выяснилось на чемпионате, мы не умеем должным образом ценить достижения собст-

венных специалистов, не рискуем удивлять и озадачивать футбольный мир. А чемпионы, кстати говоря, не просто одолевают противника, а создают образцы, модели игры, которые подхватываются другими.

Я не думаю, что сборная Англии, как эталон, просуществует столь же долго, как сборная Бразилии. Скорее всего, провозгласив «Да здравствует организованный беспорядок!», она даст себя обогнать. Все же она выглядит куда обыкновеннее, понятнее, чем сборная Бразилии в 1958 году. И, может быть даже, пример англичан скорее развяжет инициативу преследователей, чем пример бразильцев. Те стояли на возвышении, а англичане — бок о бок с остальными, и все видят, что они из той же плоти.

Вот и все, что мне захотелось сказать в связи с тем, что редакция «Юности» попросила меня отчитаться за прогноз о победителе чемпионата, который я дал в июньском номере журнала, предсказав победу сборной Англии. Теперь-то мне кажется, что я тогда ничем не рисковал.

Кто же финишировал первым?

Судьи различают их только по номерам на майках. Иначе не определишь, кто же финишировал первым: Арестенко-старший или Арестенко-младший? Впрочем, понятие «старший — младший» в данном случае относительно. Леня родился всего на четверть часа раньше Саши. Зато к финишу велосипедной гонки, состоявшейся прошлой осенью в Мелитополе, братья пришли секунда в секунду. Они показали время 1 час 16 минут и выполнили норму мастера спорта.

Братья начали тренироваться всего полтора года назад. До этого они усердно занимались в кружке баянистов, еще раньше — в кружке физиков.

— Я не могу выделить кого-либо из двоих, — говорит тренер обоих близнецов Владимир Барсук. — Оба отличные спортсмены, оба показывают на соревнованиях, как правило, одинаковые результаты, словно сговариваются. Даже когда выступают раздельно. Правда, выступая раздельно, они обычно показывают более низкие результаты. Поможет, здесь сказывается чисто психологический фактор, поэтому я стараюсь не разлучать их.

Близнецы имеют одинаковый рост — 180 сантиметров, весят по 68 килограммов, окружность грудной клетки у обоих — 101 сантиметр. Отличить близнецов друг от друга почти невозможно. Это часто служит причиной забавных приключений.

— На областных профсоюзных соревнованиях мы нечаянно обманули судей, — рассказывает Леня. — Мы участвовали в гонке с раздельным стартом. Я должен был стартовать семьдесят восьмым, а Саша — шестьдесят четвертым. У него в это время лопнул баллон, он стал его заменять и замешкался. Тогда я надел его майку и вышел на старт. А Саша выступил вместо меня. Когда потом объявили результаты, вышло, что я выиграл у Саши, то есть у самого себя, одну десятую секунды.

В этом году Леня и Саша закончили среднюю школу. Оба мечтают стать специалистами сельского хозяйства, оба мечтают добиться новых успехов в любимом спорте. Так что судьям еще предстоит гадать: кто же из братьев финишировал первым?

В. КАДЖАЯ

Братья Арестенко.

Фото автора.



С Л О Н И М О С Ъ К А

В большой северный город приехал Слон. Он приехал не то из Индии, не то из Африки и не как путешественник-турист — посмотреть разные разности, показать себя и вернуться домой. Нет, Слон решил навсегда поселиться здесь и прописаться в зоологическом саду.

Старожилы не помнили такого праздника. Многие жители вышли навстречу Слону.

Трамваи, автобусы, такси уступали ему дорогу.

Слон медленно шел по городу, вежливо покачивал головой и трубил:

— Ру-ру!.. Благода-ру за прием!

А со всех сторон неслись возгласы:

- Ну и громадина!
- Какие уши!
- А хобот!
- Вот это да!
- Добро пожаловать!
- Ура Слону!

Слон был растроган и доволен. Когда он приблизился к зоологическому саду, навстречу ему высочила лохматая кривоногая собачонка. Она была совсем немолода, но никто не называл ее по имени-отчеству, как, например, Полкана Полкановича. Даже щенки звали ее Моськой.

Моська обижалась на это. Она считала себя незаурядной личностью, хвасталась, будто в молодости несла сторожевую службу, получила дюжину медалей и сдала их в какой-то фонд, потом она выступала в цирке, имела огромный

успех и ушла оттуда, пострадав за критику, после того, как разоблачила фокусника на глазах у публики.

Но все это была собачья чушь. На самом деле Моська никогда не работала, терлась с утра и до вечера в очередях у мясных лавок, нюхала, где пахнет жареным, виляла хвостом перед поварами на кухнях, а когда пришла старость, устроилась в зоологическом саду и выхватывала из-под носа у львов и тигров самые лакомые кусочки.

Увидев Слона, Моська подняла шерсть, забрызгала слюной и завизжала:

— Гав!.. Гав!.. Гав!..

Это были очень грубые слова, но Слон не услышал и не увидел Моськи, продолжая идти вперед.

— Ну и Моська, ай да Моська! — заливалась подруга Моськи дворовая Шавка. — Моська лает на Слона!.. Как смешно, как забавно!..

— Посмотрим, кто будет смеяться последним! — огрызнулась Моська.

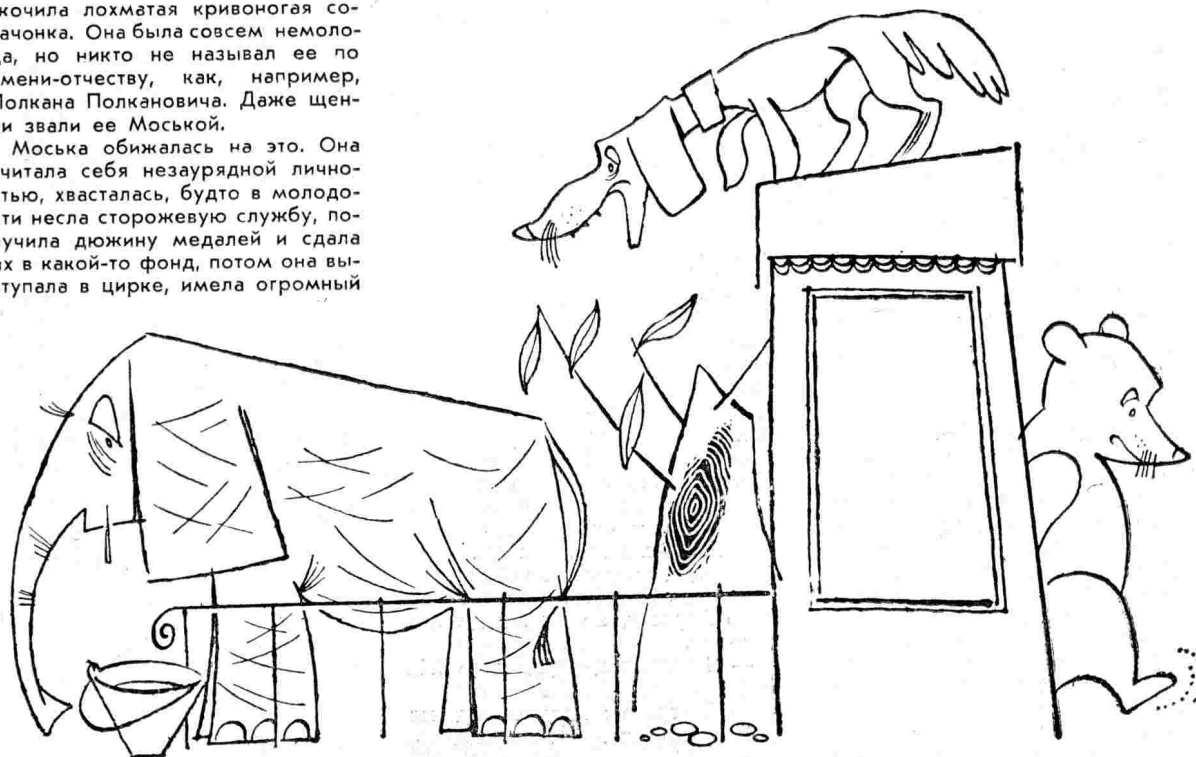
Слон поселился в зоологическом саду. Ему отвели просторное помещение, и каждый день взрослые и дети, местные жители и приезжие приходили полюбоваться красавцем великаном.

А Моська все злилась, бегая от одной клетки к другой.

— Послушай, — наскикивала она на Жирафа. — Ты самый высокий, у тебя длинная шея, широкий кругозор... Ты достоин быть первым среди других зверей, недаром раньше все часами любовались тобой, а теперь толпятся около этого неуклюжего животного... Неужели это справедливо?

Жираф вытягивал шею, оглядывался вокруг и обижался на взрослых и детей, на местных жителей и приезжих.

— Ваши африканские величества, — юлила Моська перед Львом и Львицей. — Скажите, можно ли терпеть такое?.. Вы бывшие царь и царица, ведете себя скромно, демократично, как рядовые звери. И что же?.. Вас кормят сырым мясом. А Слон?.. Чего только не да-



ют ему!!.. И какао, и кофе, и сахар, а после купания — ведро водки!.. Это же возмутительно — так поощрять пьяниц, в то время как мы боремся... Нет, ваш голос должен зазвучать...

Львица била хвостом, Лев рычал, а Моська мчалась еще дальше, к обезьяньей клетке.

— Милые мартышечки, славеньки гамадрильчики, хорошенькие орангутанчики! — лебезила Моська. — Кому не известно, что вы самые близкие родственники людей?.. Не будь вас, человек никогда не стал бы человеком... И вот благодарность!.. Вас семьями загоняют в тесную клетку, а холостяк Слон занимает огромные апартаменты. Его считают фигурой, а вас ничем... И это в наше время!..

— Позор, безобразие! — верещали гамадрилы, орангутаны и мартышки.

Бедный Слон был смущен и рас-

терян. Он похудел, кожа на боках обвисла, хобот поник.

А Моська кинулась к Медведю. — Проснитесь, проснитесь! — отчаянно затыкала она. — Посмотрите, как все в нашем саду возмущены Слоном. И только служители угождают этому африканцу. Это — низкопоклонство! Вы должны поднять лапу.

Медведь поднял лапу и рявкнул грубо, по-медвежьи:

— Ах ты, старая дрянь!.. Опять принялась за свое. А вы все слушаете ее?.. Разве вы, Лев и Львица, забыли, как она грызла вас за ваше происхождение? А у вас, гамадрилы, мартышки, орангутаны, память у вас отшибло, что ли?.. И вы не помните, как Моська обвиняла вас в клевете на людей, в том, что вы распространяете ложные теории, будто бы человек произошел от обезьяны? А ты, Жираф, запоматывал, как Моська требовала спустить с тебя шкуру

за то, что ты одеваешься по абстрактной западной моде?.. Теперь она травит Слона... И вы поддакиваете ей!.. Гнать ее нужно из нашего зоосада!

— Гнать, гнать!.. — затрещали мартышки, гамадрилы и орангутаны.

— Гнать, гнать! — замотал длинной шеей Жираф.

— Гнать, гнать! — зарычали Лев и Львица.

У Моськи от страха сердце ушло в пятки. Она пустилась наутек и спряталась в какой-то подворотне.

Прошло время, и Моська заскулила:

— Вы посмотрите, что делается!.. Старую, заслуженную собаку затравили.

И начала лаять, да так облаяла Медведя, что целый год ему пришлось доказывать, что он не Верблюд.



● **Вл. Панков**

ЖИРАФ, КОТОРЫЙ МОГ ПЕТЬ ПО РАДИО

Рассказали мне как-то такую историю.

Пришел однажды на радио Жираф и сказал:

— Я не умею говорить, но у меня приятный голос. Не могли бы вы меня прослушать?

— Мы могли бы вас прослушать, — как-то уж очень вежливо ответили Жирафу, — но ведь вы не умеете говорить.

— Да, но я буду петь.

— Иметь приятный голос и петь — это не одно и то же. Многие имеют приятные голоса и не поют и, наоборот, — поют, а голосов приятных не имеют.

— Но я несколько необычный жираф, — улыбаясь, возразил посетитель и потянул шеей так, как это обычно делают мужчины, когда им мешает галстук, — хотя бы одно то, что я могу петь...

— Вундержираф? — громко и остроумно крикнул Кто-то, и вся редакция померла со смеху.

Когда все отсмеялись, Жираф,нисколько не обидевшись, продолжал:

— У меня длинная и тонкая шея. Еще ни одному жирафу не

приходило в голову использовать эту естественную глубокую глотку-шахту для извлечения общественно полезных звуков...

— А вам пришло! — еще громче и остроумнее прежнего крикнул тот же самый Кто-то, и вся редакция вторично померла со смеху.

И снога Жираф не обиделся.

— В своем пении я использую некоторые достижения современной науки. Например, эхо...

— Молодой человек... — неожиданно сурово начал редактор.

— Я Жираф, — скромно поправил его посетитель.

— Да, молодой Жираф, — повторил редактор и даже поперхнулся от необычного словосочетания. — К нам очень часто прихо-

дят такие же вот, как вы, молодые люди, выдающие себя за Галли Курчи, Иосифа Кобзона, Робертино Лоретти, но вы же должны понять...

— Я понимаю, — прошептал Жираф.

— Поверьте моему опыту, молодой человек...

— Я Жираф.



● **ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС •**

— Простите. Да, молодой Жираф. Поверьте моему опыту. Я сразу вижу, есть ли в человеке что-либо необычное, так сказать, изюминка.

— Но то в человеке...

— Дело в принципе. Думаете, к нам вы первый такой приходите? Практически вся молодежь тянется к искусству, а половина этой молодежи тянется к благам, которые якобы в изобилии (по бытовательским понятиям) дает иску-

ство. А у вас вон какая шея, чтоб тянуться,— шутил окончил редактор.

Редакция для порядку померла со смеху еще раз, но Жираф, на этот раз обидевшись, повернулся и ушел.

Через несколько минут с улицы раздался томный, чарующий и глубокий голос. Это пел Жираф.

Редактор, переменявшись в цвете лица, тотчас послал за ним

младшего редактора. Но Жираф отказался наотрез.

Он вернулся в зоосад. В вольеры. В трудовые будни. Туда, где даже самые певчие птицы благодарно аплодируют его голосу. Туда, где его песня пробирает до костей самых толстокожих...

Вот какую историю мне как-то рассказали.

Впрочем, Жираф здесь ни при чем.

● Вл. Габелко

ГДЕ ХУДЯКОВ?

Федор Федорович, или, по-студенчески, «Ф в квадрате», а то и просто «Квадрат», сидел в деканате и просматривал экзаменационные ведомости. Лицо его то улыбалось, то хмурилось, то принимало и вовсе скорбное выражение. Он стал деканом недавно и поэтому все принимал близко к сердцу.

Взяв в руки ведомость группы «М-100» он подумал: «Ну, здесь-то уж полный порядок. Кто-кто, а математики не подведут!»

«Квадрат» с легким сердцем раскрыл ведомость, и... через десять минут староста математиков стоял перед грозным деканом.

— Где Петров? Почему на экзамен не явился? — спрашивал декан, тыча пальцем в ведомость.

— Петров на сборах. Первенство республики по боксу.

— А почему Сидорова нет?

— Сидоров за «Буревестник» плавает.

— А Халимов? — упавшим голосом спросил декан.

— В Болгарии, Федор Федорыч.

— Что он там делает?

— Борется!

— За что?

— За медаль! — с гордостью за товарища ответил староста.

— Так... А почему Желайтис не сдавал?

— Желайтис на спартакиаде!

— А Ниязов?

— На олимпиаде!

— Седых?

— На универсиаде!

— А Комаров? Где Комаров? Где этот вечный студент?

— В Сочи, Федор Федорыч.

— Что с ним? Переутомился?

— Подготовка к футбольному сезону! — отчеканил староста. И добавил с надеждой: — Могут взять в сборную. У Комарова и рывок,

и удар, и игра головой. И все что хотите.

— А почему нет оценок у братьев Гребельских?

— Так ведь хоккейный сезон, Федор Федорыч, — ответил староста.

— А где студентка Карасева? Тоже шайбу гоняет? — допытывался декан.

— На «Мосфильме» она, Федор Федорыч, — с грустью сказал староста. — Графиню играет. Гордость факультетской самодеятельности, надежда советского кино.

— Может быть, вы мне скажете, куда пропали вот эти десять человек во главе с Романовским? — затравленно спросил декан.

— Готовятся к финалу КВН! — радостно сказал староста.

— Скажите, — несмело спросил декан, — а кто же на факультете остался?

— Худяков, — вяло ответил староста. — Бездарная личность. Безнадежный для института человек. Ни к чему не имеет таланта. Ни тебе в хоккее, ни в водное поло, ни на лыжах! Даже штангу толкнуть толком не умеет, не говоря уже о КВН.

— А Худяков сдавал хоть что-нибудь? — с надеждой спросил декан.

— Нет. У него ангина, — был ответ.

— Ангина? Ну, этот номер не пройдет! Старо! Как сессия, так сплошной мор, катаральная эпидемия! — взорвался «Квадрат». — Никаких способностей и туда же — сачковать. Прогульщик! — негодовал декан.

Он сурово посмотрел на старосту математиков.

— Вот Худякова мы и снимем со стипендии. Чтоб другим неповадно было!



● Г. Жамитдин

ШТРИХИ

Впервые кукарекнул петушок
И думал, что его услышал мир...
Иной из молодых снесет стишок
И думает, что он уже Шекспир.

✱

Когда сатирик прочитал
Своим друзьям рассказ,
Никто из них, увы, не стал
Смеяться в этот раз.
Он дал банкет друзьям своим,
Прочел рассказ опять,
И все нашли рассказ смешным
И стали хохотать...

При обсуждении с вином
Всё в свете выглядит ином.

Перевод с аварского
А. ВНУКОВА.

● ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС ●

По залам
8-й выставки
книжной
графики.
1966 г.

(Смотри статью
Н. ЖУКОВА
в этом номере.)



И. ГАЛАНИН.
«Храбрый портной».
Иллюстрация
к сказкам
братьев Гримм.



М. РУДАКОВ.
Иллюстрация
к «Стихам и поэмам»
А. Блока.



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120